ТВАРДОВСКИЙ





Андрей Турков



ЖЗЛ — МАЛАЯ СЕРИЯ

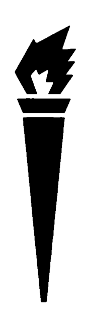
120 лет
биографической серии
«Жизнь замечательных людей»



Жизнь ®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



МАЛАЯ СЕРИЯ
ВЫПУСК
6

Андрей Турков

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2010

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8
Т 88

*Автор сердечно благодарен за советы, замечания и помощь
Валентине Александровне и Ольге Александровне Твардовским,
Наталье Николаевне Деевой,
Екатерине Васильевне Никаноровой
и Людмиле Федоровне Хонелидзе.*

ISBN 978-5-235-03330-6

Памяти Нины Сергеевны Филипповой

НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

Столетие со дня рождения Александра Твардовского недаром совпадает с иной исторической датой — шестидесятипятилетием победы в Великой Отечественной войне.

Александр Блок в 1919-м записал в дневнике, что искусство рождается из «вечного взаимодействия... музыки творческой личности и музыки, которая звучит в глубине народной души...». Судьба и творчество Твардовского вновь подтверждают справедливость этих слов.

Его детство и юность пришлись на годы огромных, зачастую драматических событий отечественной истории XX века.

Вот уж кто вышел из самой что ни на есть глубины России, родившись, как сказано в его стихах, «в захолустье, потрясенном всемирным чудом наших дней» — революцией!

Я счастлив тем, что я оттуда,
Из той зимы, из той избы.
И счастлив тем, что я не чудо
Особой избранной судьбы, —

сказано в поэме «За далью — даль», чье многозначное название обняло, кажется, всю жизнь авто-

ра, перед которым, как и перед всеми его современниками, действительно открывались новые просторы:

А там еще другая даль,
Что обернется далью новой,
А та, неведомая мне,
Еще с иной, большой, суровой,
Сомкнется...

Поэт жил и впрямь в суровую эпоху войн и революций, самых крутых переломов в общественном укладе и миллионах человеческих судеб.

Нет, жизнь меня не обделила...
....
Чтоб жил и был всегда с народом,
Чтоб ведал все, что станет с ним,
Не обошла тридцатым годом.
И сорок первым.
И иным...

(«За далью — даль»)

Тут что ни дата, то рубеж — и рубец в судьбе, душе, памяти. Последнее слово — оно из ключевых в поэзии Твардовского. Память запечатлела все пережитое, выстраданное, осиленное народом в минувшую эпоху.

И как запечатлела! В стихотворении «О Родине» поэт писал, что «...таинству речи родимой / На собственный лад приобщен», а в «Книге про бойца» — «Василий Тёркин» улыбчиво рисовал своего читателя, который обрадован и даже несколько удивлен, что — «Вот стихи, а все понятно, / Все на русском языке...».

Эта ясность поэтической речи была сродни прозрачности могучей реки, глубина которой даже не сразу ощутима.

Недаром великая книга Твардовского о войне «Василий Тёркин» при всей ее огромной популярности многим казалась просто незатейливыми байками про удачливого солдата-балагура, хотя она, как и задумывалось автором, исполнена «Правды сущей, / Правды прямо в душу бьющей, / Да была б она погуще, / Как бы ни была горька».

Да и сам поэт, жизнь которого была необычайно драматична, по сию пору, однако, представляется иным наивным читателем (а то и рисуется некоторыми отнюдь не наивными литераторами) этаким баловнем судьбы, преуспевавшим при всех режимах в непробиваемой броне орденов и лауреатских медалей.

Людям моего, старшего поколения известно, чтó и как было на самом деле, преодолевая какие преграды и препятствия Александр Трифонович «честно... тянул свой воз», по собственному горделивому выражению.

Но хочется, чтобы и новые поколения об этом знали и помнили.

Глава первая

«ОТЧИЙ КРАЙ СМОЛЕНСКИЙ»

«Мужик пришел из Починка...» — едва ли не впервые в литературе упоминает о родных местах героя этой книги в своих очерках-«письмах» «Из деревни» (1872) профессор-агрохимик Александр Николаевич Энгельгардт, бывший декан петербургского Земледельческого института, арестованный за то, что, по словам судей, внушал студентам демократические идеалы, и высланный в свое смоленское имение.

Более чем полвека спустя молодой поэт Александр Твардовский с нежностью напишет о «маленькой моей, глухой станции родимой» — Починке, «однофамилице» множества подобных российских поселений.

Но истинная его родина — в еще более глухих местах, куда и сейчас-то не так просто добраться. А раньше!.. Заглянем снова в энгельгардтовские «письма»:

«Моросил осенний дождик. Дорога, которую исправляет только божья планида да проезд губернатора, от постоянных дождей совершенно размокла[1].

[1] В ранних стихах Твардовского часты упоминания: «дорог израненные спины» («Родное», 1926), «до заморозка в город не пробиться» («В глуши», 1926), «только заморозок утра

Грязь, слякоть, тряская телега, промокший и как-то осунувшийся Никита (работник Энгельгардта... и тезка героя будущей поэмы Твардовского. — *А. Т-в*) в лаптях, порыжевшие луга, тощий кустарник». И вроде бы нелогичное заключение: «Невзрачная, но все-таки милая сердцу страна...»

Вряд ли, впрочем, губернаторские маршруты когда-либо пролегали вблизи хутора Столпова, где 21 июня 1910 года родится будущий поэт, — местности, как сказано в его автобиографии, «довольно дикой, в стороне от дорог». В книге «За далью — даль» тоже говорится о

...той небогатой, малолюдной,
Негромкой нашей стороне,
Где меж болот, кустов и леса
Терялись бойкие пути...

Эта невзрачная, «незавидная» сторона навсегда осталась близка Твардовскому. «Каждый километр пути, каждая деревушка, перелесок, речка — все это для человека, здесь родившегося и проведшего годы юности, свято особой, кровной святостью, — напишет он, очутившись там уже в годы войны. — Все это часть его собственной жизни, что-то глубоко внутреннее и бесконечно дорогое».

И еще много раз будет поэт возвращаться мыслью к «малой родине», своей для каждого, которая «со своим особым обликом, со своей — пусть самой скромной и непритязательной — красотой предста-

---

кладет дорогу по грязи» («Весенние строки», 1927); по словам персонажа стихотворения «Зима», «местной власти представителя», «зима уместна с точки зрения дорог». Да и десятилетия спустя в дневниковой записи поэта от 23 сентября 1962 года отмечалось, что один приезжий осенью «от Починка до Загорья... добирался по бездорожью 10 часов (15 километров)».

ет человеку в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатлений ребяческой души, и с нею, этой отдельной и личной родиной, он приходит с годами к той большой родине, что обнимает все малые...».

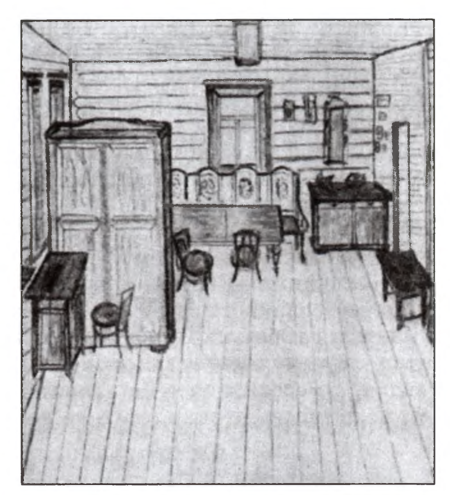
Что ж говорить о том «клочке земли» (12 десятин, болотистых, заросших лозняком), приобретенном отцом, Трифоном Гордеевичем, в 1909 году у потомков знаменитого адмирала Нахимова! «С ним (этим «клочком». — *А. Т-в*), — писал Твардовский, — связано все лучшее, что есть во мне — поэтическая способность. Более того — это я сам как личность».

И если в ранней молодости, пришедшейся на годы огромных и во многом катастрофических перемен, он еще не ощущал этой томительной связи (к которой мы еще вернемся), то потом, особенно в последнюю пору жизни, самый заветный, дорогой, волновавший его (и, увы, не осуществленный) творческий замысел был неразрывен с жаждой воскресить, художественно запечатлеть «неповторимый и сошедший с лица земли мирок», ставший истоком писательской судьбы.

Роман, о котором мечтал Твардовский, имел бы нескрываемо автобиографический характер и недаром должен был называться «Пан», как с насмешливым отчуждением именовали в округе Трифона Гордеевича за то, что всячески подчеркивал свою независимость, отличный от деревенского склад жизни.

Если отношения сына с отцом были очень сложны и часто мучительны, то нежное и благодарное чувство к матери он пронес через всю жизнь.

Она была одной из дочерей разорившегося, захудалого дворянина-однодворца Плескачевского. От его поместья Плескачи к началу XX века давно ничего не осталось. Семья вела чисто крестьянский об-



В доме
Твардовских
на хуторе Загорье
и общий вид
хутора.
Рисунки
И. Т. Твардовского.
1979 г.

раз жизни, и Мария Митрофановна «по крестьянству» умела все.

«Мать моя... была всегда очень впечатлительна и чутка ко многому, что находилось вне практических, житейских интересов крестьянского двора, хлопот и забот хозяйки в большой многодетной семье. Ее до слез трогал звук пастушьей трубы где-нибудь вдалеке за нашими хуторскими кустами и болотцами, или отголосок песни с далеких деревенских полей, или, например, запах первого молодого сена, вид какого-нибудь одинокого деревца и т. п.».

Этот маленький, любовно выполненный портрет заметно выделяется на общем, сдержанном и скуповатом на детали фоне автобиографии поэта и перекликается со стихотворением, посвященным ей же:

И первый шум листвы еще неполной,
И след зеленый по росе зернистой,
И одинокий стук валька на речке,
И грустный запах молодого сена,
И отголосок поздней бабьей песни,
И просто небо, голубое небо —
Мне всякий раз тебя напоминают.

Оно написано в пору, когда сама поэзия автора была «еще неполной», не развернувшейся во всю свою мощь и трагедийность, но по лаконизму, по выраженному здесь скрытному, но сильно ощутимому чувству стоит наравне с лирикой поздних зрелых лет.

Еще от одного человека в семье веяло на мальчика теплом и любовью. Судя по некоторым записям поэта 1950-х годов, «начальные слова» «Пана» могли быть таковы:

«Дед мой, Гордей Васильевич, служил... солдатскую службу в Варшаве, в крепостной артиллерии, в

звании бомбардира-наводчика. Помню его черный с красной окантовкой мундир, в который он обряжался, отправляясь пешком за 50 верст в город за своей немалой по тем временам пенсией — 3 руб. в месяц.

...Умер он глубоким стариком.

...Смерть деда произошла буквально на моих глазах, я помню ее до подробностей, хотя было мне тогда не больше четырех лет».

Это, одно из сильнейших впечатлений ранних лет запечатлено в стихах:

Мне памятно, как умирал мой дед,
В своем запечье лежа терпеливо,
И освещал дорогу на тот свет
Свечой, уже в руке стоявшей криво.

Мы с ним дружили.
Он любил меня.
Я тосковал, когда он был в отлучке,
И пряничного ждал себе коня,
Что он обычно приносил с получки.

И вот он умер,
И в гробу своем,
Накрытом крышкой, унесен куда-то.
И нет его, а мы себе живем, —
То первая была моя утрата...

И словно вдруг за некоей чертой
Осталось детства моего начало.
Я видел смерть, и доля смерти той
Мне на душу мою ребячью пала.

(«Мне памятно, как умирал мой дед...»)

В отличие от почти не умевшей писать Марии Митрофановны Трифон Гордеевич был не только грамотным, но, по выражению сына, «даже начитанным по-деревенски». Долгими зимними вечера-

ми читал детям вслух Пушкина с Гоголем, Лермонтова и Некрасова, Никитина и А. К. Толстого. Он и наизусть помнил много стихов, например, почти всего ершовского «Конька-Горбунка», и петь любил.

Твардовский, по его улыбчивому свидетельству, «считался вторым после отца грамотеем и книгочеем в семье», да еще и сам стал сочинять стихи (как будет вспоминать однокашница, «порог школы он переступил уже с рифмой»). Недаром именно ему Трифон Гордеевич, году в двадцатом, вручил том Некрасова, вымененный... на картошку на базаре, куда тот, видимо, попал из какой-нибудь барской библиотеки. Вскоре мальчик знал наизусть многое из этой «заветной», «самой дорогой» для него на всю жизнь книги.

Нескончаемым источником разнообразнейших впечатлений стала отцовская кузница, где Трифон Гордеевич, по свидетельству поэта, замечательный мастер, исподволь обучал делу и сыновей (старший, Константин, унаследует родительскую профессию):

На малой той частице света
Была она для всех вокруг
Тогдашним клубом, и газетой,
И академией наук.
И с топором отхожим плотник,
И старый воин — грудь в крестах,
И местный мученик-охотник
С ружьишком ветхим на гвоздях;
И землемер, и дьякон медный,
И в блестках сбруи коновал,
И скупщик лиха Ицка бедный, —
И кто там только не бывал!
Там был приют суждений ярых
О недалекой старине,
О прежних выдумщиках-барах,
Об ихней пище и вине;
О загранице и России,
О хлебных сказочных краях,

О боге, о нечистой силе,
О полководцах и царях;
О нуждах мира волостного,
Затменьях солнца и луны,
О наставленьях Льва Толстого
И притесненьях от казны...

Эта яркая страница прошлого возникнет перед читателями много лет спустя в книге «За далью — даль».

При всем своеобразии и неординарности Трифона Гордеевича его трудный, заносчивый, амбициозный, если не сказать склонный к авантюрам (он не раз был обуреваем всякими несбыточными проектами), характер наложил тяжкий отпечаток на судьбу сына.

Яблоки на самых низких ветках,
Камень .... у крыльца,
Боязливых игр праздник редкий —
Все покрыто в памяти, как сеткой,
Жилками отцовского лица, —

сказано в одном из стихотворных набросков середины тридцатых годов.

Слишком разными оказались жизненные устремления отца и сына. Юность поэта пришлась на время, когда, по его позднейшим словам, крестьянство было охвачено жизнедеятельным порывом. Одни, и в том числе Трифон Гордеевич, стремились к большему достатку; другие, а молодежь — в особенности, тянулись к книгам, газетам, участвовали в самодеятельных спектаклях и других культурных и общественных начинаниях. Вот и Александр Твардовский не только вступил в комсомол, но и стал селькором, сельским корреспондентом смоленских газет.

Четверть века спустя он следующим образом охарактеризует героя задуманной пьесы, во многом

«списанного» с самого себя прошлых лет: «идейный», фанатичный юноша, преданный всему новому, страдающий от отцовских собственнических навыков, замашек и фантазий.

«С 1924 года, — говорится в автобиографии, — я начал посылать небольшие заметки в редакции смоленских газет... Потом я отважился послать и стихи. В газете "Смоленская деревня" летом 1925 года появилось мое первое напечатанное стихотворение "Новая изба"».

Вскоре у юноши произошла встреча с Михаилом Васильевичем Исаковским. Их знакомство, впоследствии перешедшее в тесную дружбу, состоялось тогда, когда создавались стихи, определившие звучание книги Исаковского «Провода в соломе», принесшей ему известность.

«Он единственный из советских поэтов, — писал много позже Твардовский, — чье непосредственное влияние на меня я всегда признаю и считаю, что оно было благотворным для меня. В стихах своего земляка я увидел, что предметом поэзии может и должна быть окружающая меня жизнь советской деревни, наша непритязательная смоленская природа, собственный мой мир впечатлений, чувств, душевных привязанностей».

Пробуждая в детях тягу к чтению, Трифон Гордеевич никак не мог предугадать, что у одного из сыновей страсть к литературе достигнет такой силы, что помешает отцовским расчетам сделать и его своим подручным, как то было со старшим.

Отцовская «коса» нашла на камень! В сыновнем дневнике звучит решительное, не лишенное юношеской категоричности и максимализма, неприятие отцовских взглядов и поучений: «Мне тяжело его видеть, невыносимо с ним разговаривать». И да-

Смоленская Деревня.

ское—бытовое,— Крестьянин, сделай

овый быт.

...жном вы-
...ных пере-
...держали в
...вали вод-
...ртовщину:
...чепуху.
...семейный
...вождаемые
...причудами,
...живет и
...рым день
...народной
...а „приво-

Пришла революция. Она много внесла нового и в быт деревни.

Старые бытовые устои мало по малу рушатся и на развалинах их постепенно нарождается новый быт.

Красные свадьбы, октябрины, революционные праздниства, газета, изба-читальня,—все это явления нарождающегося нового быта.

Здесь все просто, понятно. Все это исходит из того—как бы так наладить отношения между людьми, чтобы каждый видел и чувствовал, что жить ему стало лучше.

За новый быт надо бороться—грамотностью, просвещением.

Изживать пережитки старины.

Клином клин вышибать.

А. Ник...ич.

...остки нового.

* * *

...о наряду с этим мы видим ростки нового быта. Из отдельных бытовых явлений вырисовываются очерки новой деревни.

...свежее, здоровое, бьющее ...одым задором, лицо.

...маленький факт, о котором ...щает крестьянин деревни ...шинино, Кардымовской волости, Ф. Емельянов: женились ...попа" двое беспартийных ...стьян. Но для того, чтобы ...ть эту простую вещь, нам было много пережить, передиться.

...ез попа и деревне Дуловке, Стодолищенской волости похоронили умершую комсомолку. Собралось до 200 человек. Разве и них не заявляли

Новая изба

Пахнет свежей сосновой смолою.
Желтоватые стенки блестят.
Хорошо заживем мы семьею
Здесь—на новый советский лад.

А в углу мы „богов" не повесим
И не будет лампадка тлеть.
Вместо этой дедовской лесенки
Из угла будет Ленин глядеть.

Александр Твардовский.

Детские ясли.

Ясли—большое облегчение для крестьянки.

(Стодолищенская вол. Росл. у).

12 июля в селе Новой Руднe открылись детские ясли.

Средства нашлись—их дали

Каждь... о нуждах д...

Трудно крестья... в газету, и особе... когда каждая мину... дороже зимнего д... еще и потому, ... желающие и даж... едва умеют дер... даш в руках и н... бумажки на цыга... для заметки.

А недостатки есть и крестьянин ...дит. Бывают не... стороны волостно... ва и самой дерев... оперившийся, зату... бевшего и тогда ...стьян просыпаетс... пожаловаться, пос... излить накипевшу... кому?

В волости,—ну, п... земкомиссия,—мож... слушать, как за соответствующего ...начению товарищ... за недостатком в... вает то и другое. ...стьянину надо пом... в волости есть че... но беседующий и ... на все вопросы—о... волостного комитет... нему всегда идит... говорите о всем н... волости.

Есть и другой ...



Первое опубликованное стихотворение «Новая изба».
Газета «Смоленская деревня». 19 июля 1925 г.

же: «На что только я не согласен, чтобы только выйти из проклятого семейства, в котором природа заставила меня подняться» (5 апреля 1927 года).

С горечью зафиксированы в дневнике и характерные колебания отцовских настроений и оценок — от «издевательств» (возможно, впрочем, преследовавших все же своего рода «педагогические» цели) над литературными планами сына до наивного хвастовства его дебютом в печати:

«Сейчас к нам приехал по кузнечным делам дьякон. Батя — ну-ка, Шура, покажи ту самую страницу. Дьякон почитал литстраницу, статью обо мне, стихи мои, молча перевернул газету и стал читать. Молча положил газету на стол. Батя, батя...» (2 мая 1927 года).

В последнем вздохе-восклицании — и стыд за отца, и укор ему, и в то же время, пожалуй, проблеск какого-то понимающего сожаления.

Но много еще лет пройдет, прежде чем отцовская судьба предстанет перед поэтом во всей своей драматической сложности и даже станет неким его литературным долгом (вспомним замысел «Пана»).

В очерке «Заметки с Ангары» (1959), рисуя портрет одного сибирского старожила, в частности его затылок — «сухощавый, разделенный глубоким рвом надвое вдоль, в перекрестных морщинах загорелой и подвижной кожи на двух как бы жгутиках в палец толщиной», Твардовский замечает: «Я невольно вспомнил затылок покойного отца, такой знакомый до последней морщинки и черточки».

При всем лаконизме в этих словах чувствуется сильное душевное движение, всколыхнувшаяся память о человеке, с которым некогда шла непримиримая война по причине, как будет сказано в позд-

нейших записях поэта, «полярной отчужденности психо-идеологической».

Тогда, на первых жизненных верстах, Трифон Гордеевич не только отталкивал сына своим деспотизмом, грубостью (порой и рукам волю давал), он и казался юноше явным противником новой, изменяющейся жизни. «Отцу-богатею» — озаглавлено одно из ранних стихотворений, хотя герой его мало похож на «прототип», а в поэме «Вступление» фигурирует даже кулак Гордеич, занимающийся кузнечным делом.

В пылу споров с отцом, накануне близящегося ухода из дома, и весь столповский хуторской уклад представляется враждебным. От него надо оттолкнуться, как отталкиваются от берега веслом, отправляясь вдаль. Юноша и позже намеревается раз и навсегда свести счеты с прошлым, «изжитым» — собственными сельскими детством и юностью.

«Я должен поехать на родину, в Загорье, — говорится в дневнике 26 ноября 1929 года, — чтобы рассчитаться с ним навсегда... Я должен увидеть Загорье, чтобы охладеть к нему, а не то еще долго мне будут мерещиться и заполнять меня всяческие впечатления детства: березки, желтый песочек, мама и т. д.».

Он не одинок в этих попытках. Так и Павел Васильев, послушно повторяя вслед за критикой, что «с промышленными нуждами страны поэзия должна теперь сдружиться», готов, пусть с болью в сердце и ясно ощутимым надрывом в голосе, покончить с дорогими лирическими темами (почти как тургеневский Герасим с Муму!):

...С лугов приречных
Льется ветр, звеня,
И в сердце вновь
Чувств песенная замять...

А, это теплой
Мордою коня
Меня опять
В плечо толкает память!

Так для нее я приготовил кнут —
Хлещи ее по морде домоседской,
По отроческой, юношеской, детской, —
Бей, бей ее, как непокорных бьют!

(«Павлодар»)

Знаменательно, однако, что именно те самые «всяческие впечатления детства», от которых открещивался юный Твардовский, впоследствии станут для него драгоценнейшими. Стоит вспомнить сказанное в дни Великой Отечественной войны в «Василии Тёркине»:

И годами с грустью нежной —
Меж иных любых тревог —
Угол отчий, мир мой прежний
Я в душе моей берег.
...Детства день, до гроба милый,
Детства сон, что сердцу свят,
Как легко все это было
Взять и вспомнить год назад.
Вспомнить разом, что придется, —
Сонный полдень над водой,
Дворик, стежку у колодца,
Где песочек золотой...

«Простецкое деревенское детство», как однажды выразится поэт, оказалось во всех отношениях богаче, чем думалось в ранние годы. «Это была его родная полоса, он ее по-своему и задолго до знакомства с литературными ее отражениями воспринял, впитал в себя, а этот золотой запас впечатлений детства и юности достается художнику на всю жизнь», — слова эти, сказанные о бунинской Орловщине, конечно же вобрали в себя и собственный опыт.

Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Всего с лихвой дано мне было
В дорогу — света и тепла.

И сказок в трепетную память,
И песен матери родной,
И старых праздников с попами,
И новых с музыкой иной.

И в захолустье, потрясенном
Всемирным чудом наших дней, —
Старинных зим с певучим стоном
Далеких — за лесом — саней.
....
Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
...Ни славы замыслом зеленым,
Отравой сладкой строк и слов;

Ни кружкой с дымным самогоном
В кругу певцов и мудрецов —
Тихонь и спорщиков до страсти,
Чей толк не прост и речь остра

Насчет былой и новой власти,
Насчет добра
И недобра...

(«За далью — даль»)

Однако до реального осознания этого «золота» и его художественного претворения было еще далеко. Твардовский, по позднейшей беспощадной самооценке, «писал... тогда очень плохо, ученически беспомощно, подражательно». Мучился своим «бескультурьем», затянувшимся перерывом в образовании после окончания сельской школы. Тяжело сказывалось и бродяжническое, бесприютное, полуголодное существование как в Смоленске, так и в Москве, куда он одно время, в 1929 году, по собственному ироническому выражению, «заявился», об-

надеженный публикацией своих стихов в журнале «Октябрь», осуществленной Михаилом Светловым.

«...Жил по углам, койкам, слонялся по редакциям, — сказано в автобиографии, — и меня все заметнее относило куда-то в сторону от прямого и трудного пути настоящей учебы, настоящей жизни».

Однако в любых условиях Твардовский «работал старательно» (слова из сохранившегося у Исаковского письма того времени из Москвы). И помимо Михаила Васильевича с его «добрыми, улыбающимися сквозь очки глазами» — «самым главным», что тянуло юношу в Смоленск в пору деревенского существования, — нашлись люди, оценившие эту «старательность», упорство в развитии своего таланта, точность деталей, взятых непосредственно «из первоисточника» — из самой, окружавшей его и близкой его сердцу действительности, жизни: «лошадь сытая в ночном отряхнулась глухо»; на пасеке «в лицо пчелы чиркали, как спички»; сторожа в саду «пробуют подпорки (под тяжелыми от яблок ветвями. — *А. Т-в*), словно в церкви поправляют свечи»; человек, доказывая свое, «выставил картуз, как щит, на уровне груди»...

Участник мировой и гражданской войн, сам литератор, Ефрем Васильевич Марьенков, вернувшись после демобилизации, работал корректором в газете «Юный товарищ» и не только заметил нового селькора, но, узнав о его желании перебраться в Смоленск, пригласил к себе.

Жили по-спартански — в проходной комнате, с минимумом мебели (стол да стулья) и домашней утвари, спали на полу, на толстом слое газет, скудно питались (хлеб, чай, сахар).

Зато книг в комнате полно. Оба запоем читают и напряженно работают.

Он сидит и повесть пишет
О ячейке, о селе,
И похаживают мыши
На писательском столе.

Эти шуточные стихи своего жильца Марьенков помнил и в преклонные годы.

Другой человек, которому Твардовский был, по собственным словам, «во многом обязан... своим творческим развитием», практически его ровесник (родился в 1909 году), критик Адриан Владимирович Македонов. Подружились они почти сразу после переезда поэта в город. Впоследствии в книге «Эпохи Твардовского» (1981) Македонов писал, что весь смоленский период его жизни «характеризовался особенно близкой дружбой» с поэтом, «систематическими обсуждениями почти всех новых стихов и даже всех вопросов жизни». Твардовский шутливо именовал друга Сократом, которого тот несколько внешне напоминал, и даже «своим университетом».

Македонов активно участвовал в местной литературной жизни, а вскоре стал печататься и в столичных журналах. Одним из первых он почувствовал творческий потенциал Твардовского и его человеческую значительность. «Сколько помню его личные беседы со мной, начиная с первых юношеских долгих бесед на диване в смоленском Доме работников просвещения... всегда они были так или иначе проникнуты чувством своего призвания и ответственности», — вспоминал Адриан Владимирович.

В развернувшихся вскоре дискуссиях вокруг стихов поэта критик часто (хотя, увы, отнюдь не всегда!) бывал на его стороне.

Что касается Москвы, там к Твардовскому сочувственно относились известный тогда писатель

Ефим Зозуля, способствовавший публикации его стихов, и в особенности критик Анатолий Кузьмич Тарасенков, его погодок. С ним быстро началась оживленная переписка и завязалась тесная дружба.

Страстный любитель поэзии, библиофил, Анатолий Кузьмич и нового знакомца приобщил к поискам стихотворных книг, которых недоставало в его все возраставшем, впоследствии знаменитом, собрании. Письма «дорогому Толе», «Анатолю», а то и просто «Тольке», часто содержат сообщения об обнаруженных в смоленских книжных магазинах изданиях.

А в числе любовно переплетаемых Тарасенковым сборников появляются и переписанные от руки стихи нового друга, которого он в своих статьях пророчески числит среди поэтов, «имеющих несомненное будущее».

Начинался период, который Твардовский считал «самым решающим и значительным» в своей литературной судьбе.

Поэт вернулся из столицы в Смоленск зимой, в январе 1930 года, в самый разгар «великого перелома», как окрестил коллективизацию сельского хозяйства Сталин, игравший в ней, как и в стране вообще, главную роль.

В позднейшей литературе о Твардовском обычно утверждалось, что «процессы коллективизации предоставили поэту обильный и *благодатный* (курсив мой. — *А. Т-в*) материал». На самом деле все было несравненно сложнее и драматичнее.

В качестве корреспондента областных газет он ездил по деревням, в колхозы и еще сохранявшиеся коммуны, писал заметки, очерки и статьи, «со страстью», как сказано в автобиографии, вникая во все происходящее.

«Руководящие инстанции» и редакции ждали и требовали от журналистов поддержки и одобрения наступивших перемен. Да и сам Твардовский был убежден в их необходимости и пользе.

В плане задуманной им годы спустя пьесы, имевшей явный автобиографический характер, говорится, что уже упоминавшийся выше юноша-комсомолец «страстно изо дня в день агитировал вступить к колхоз» родных, «рисуя волновавшие его и занимавшие его воображение картины социалистической жизни».

Этот энтузиазм подогревался встречами с действительно талантливыми организаторами и руководителями некоторых артелей. Например, с Дмитрием Федоровичем Прасоловым, возглавлявшим колхоз «Память Ленина», где поэт подолгу живал и которому посвятил несколько очерков, рассказ «Пиджак», стихотворение «Новое озеро». С увлечением писал об этом хозяйстве и Исаковскому; упомянув про местную хату-лабораторию, восхищался: «...какие два слова соединяет тире!»

Однако в других случаях, особенно на примере ближней к Столпову деревни Загорье (в стихах Твардовский именует себя «загорьевским парнем») и собственной семьи, поэт горестно подмечал, как поспешно, «нахрапом», якобы добровольно вовлекают крестьян в колхозы, как вместо обещанного процветания происходят упадок и разруха хозяйства, а под пресловутое раскулачивание попадают просто работящие, способные, собственным трудом добившиеся достатка люди.

С восторженным описанием, как «дом живого кулака... занят, оборудован под школу» («Стихи о всеобуче», 1930), соседствует «Гостеприимство», где хозяин «опрятного хуторка» показывает гостю (жур-

налисту? ревизору? начальственному лицу?) свое образцовое хозяйство в отчаянной надежде защитить его: «Поймите, хутор одинок, а зависть так сильна». Похоже, всем увиденным и тем, что может ожидать впереди «опрятный хуторок», озабочен и озадачен не только гость, который на обратном пути «произносит иногда одно-единственное: “Нн-да!..”, но и сам автор.

В стихотворении «Четыре тонны» (1930) «кулак Ивашин», поначалу сопротивляющийся крупному обложению, вроде бы обличен во лжи — утайке своих запасов. Однако вот какая сцена этому предшествует:

А жена подхватила из люльки ребенка
И — на крыльцо, на улицу, на народ.
А ребенок мучительно-тонко
На руках у нее орет.
Собрались бабы. И как начали:
— Да что же это такое?..
Дневной грабеж?..
И так человека уже раскулачили,
Не вникают они, молодежь.

Картина если не лично увиденная, то воспроизведенная по свидетельству (да и одному ли?) непосредственных очевидцев и сопровождавшая не только обложение так называемым твердым заданием, непосильным и окончательно добивавшим обреченные хозяйства, но и окончательное раскулачивание и высылку «кулака» с чадами и домочадцами.

Именно такой крестный путь прошла и семья Твардовских.

Не помогло и вступление в колхоз, где, как значится в плане пьесы, мать «отмыла и выходила за-

паршивевших свиней» (в более ранних, «около 30 г.», записях сказано, что и сданного в колхоз жеребца «загоняли без нужды» и он там «стоял день-деньской с гноящимися глазами»).

Попытавшись вступиться за родителей, поэт услышал от секретаря обкома назидательное и безжалостное:

— Бывают такие времена, когда нужно выбирать между папой-мамой и революцией.

«На днях узнал, что мать с детьми выслали месяца два тому назад неизвестно куда», — сообщил Твардовский Тарасенкову.

Марию Митрофановну с детьми выселили из дома 19 марта 1931 года, а 31-го их, вместе с присоединившимися Трифоном Гордеевичем и Константином, отправили в эшелоне на Северный Урал.

В краю, куда их вывезли гуртом,
Где ни села вблизи, не то что города,
На севере, тайгою запертом,
Всего там было — холода и голода.
....

В том краю леса темнее,
Зимы дольше и лютей,
Даже снег визжал больнее
Под полозьями саней.

(Из цикла «Памяти матери», 1965)

Тем временем еще 1 июня 1930 года Твардовского в Смоленске исключили из Ассоциации пролетарских писателей. И хотя эта мера пока что ограничивалась полугодием и мотивировалась бытовыми грехами (попросту «выпивками»), «на самом деле, — как пишет скрупулезно исследовавший ранний период биографии поэта Виктор Акаткин, — не устраивало... стремление самостоятельно думать и оценивать события».

«Не пора ли прямо сказать, — продолжает он, — критики начала 30-х годов, пусть не всегда понимая, а порой перевирая поэтические тексты... верно угадывали в Твардовском последовательного заботника и защитника трудящегося человека... Все его неясные внутренние протесты называли издержками роста, ошибками, идейными срывами, вылазками классового врага-подкулачника, шатаниями мелкобуржуазного попутчика и т. п. Однако в его ранних стихах и поэмах, еще несовершенных, по воле обстоятельств поддающихся пропагандистской правильне, вызревал народный поэт и самородный мыслитель, невольный противник тоталитарной системы...»

Есть в этих словах некоторое преувеличение, «выпрямление» творческой эволюции поэта, который мог бы, подобно своему будущему любимому герою, Тёркину, сказать:

> Я загнул такого крюку,
> Я прошел такую даль...

Но тенденция или, если воспользоваться словами Александра Блока, ч у в с т в о п у т и Твардовского определено верно.

* * *

«Может, я действительно классовый враг и мне нужно мешать жить и писать», — спрашивает поэт у Тарасенкова, который в письме в Малый секретариат Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП) горячо возмущается исключением «весьма одаренного» и «вдумчивого», «быстро растущего человека».

Жить и писать действительно мешают. В апреле 1930 года в столичном журнале «Резец» появляется

разносная статья одного из руководителей РАППа Селивановского о невиннейшем стихотворении «Пчелы» (или «Лето в коммуне»), описывавшем пребывание поэта на пасеке: «А. Твардовский некритически усваивает образцы старой, поместной, усадебной поэзии... Он думает, что революционным поэтом можно стать, не принимая участия в классовой борьбе».

«Грубой политической и творческой ошибкой» называют стихотворение «Четыре тонны» в смоленском журнале «Наступление» (1931, февраль). Журнал же, в котором оно было напечатано (Западная область. 1930. № 3, декабрь), при выходе в свет был изъят. Позже, в одном из доносов 1937 года, «Четыре тонны» квалифицировались как «наглая кулацкая клевета», откровенное «сожаление о ликвидируемом кулачестве», изображение рабочей бригады, явившейся к Илешину, как налетчиков. В третьем же смоленском журнале «На культурном посту» (1931. № 5) было заявлено, что стихи Твардовского, помещенные в сборнике «На стройке новой деревни», являются там «излишним балластом», потому что «показа новой деревни» в них нет.

Только благодаря рецензии Эдуарда Багрицкого в Москве выходит в 1931 году поэма «Путь к социализму», оцененная им как «единственное в настоящее время художественное произведение, в котором актуальная тема дана в настоящем поэтическом освещении», «первый опыт настоящего серьезного подхода поэта к теме сегодняшнего дня».

Уже отчаявшийся, по собственным словам, увидеть это произведение в печати, Твардовский «всегда с благодарным чувством» вспоминал о Багрицком, обладавшем не только добрым сердцем, но и «той обширностью взгляда... которая позволяла ему

отмечать своим вниманием работу, казалось бы, совершенно чуждую ему по духу и строю».

Но вот что примечательно. Еще недавно обещавший, что, если Анатолий Тарасенков поможет издать «Путь к социализму», он расцелует «Тольку на Красной площади», и «страшно» радовавшийся, что московский режиссер Варпаховский подумывает инсценировать поэму, автор вскоре после ее выхода книгой предостерегает Анатолия Кузьмича (13 сентября 1931 года): «Насчет “Путя к соц.” не пиши, *если собираешься хвалить* (курсив мой. — *А. Т-в*), ибо хвалить нечего. У меня уже прошел даже тот период, когда я мучился, что вот у меня такая дрянная вещь издана первой, — теперь я уже спокоен совсем, т. е. еще дальше ушел от нее (как видим, тарасенковские слова о «быстро растущем» человеке отнюдь не преувеличение! — *А. Т-в*). Но если собираешься как следует разругать, разобрать по-настоящему, чтоб и другим не повадно было, тогда — дуй!»

Он не обольщался ни «благословением» Эдуарда Багрицкого, ни «крайне восторженным», по свидетельству Тарасенкова, отзывом Бориса Пастернака. Зато остро ощущал, что в попытке рассказать о колхозе (носившем то же название, что и поэма), используя самые обычные, обиходные слова и интонации, он чрезмерно прозаизировал стих, как бы выпустив из рук ритмические «вожжи». Мало правдоподобия в изображении быстро достигнутого колхозом благополучия. Почти не отличимы друг от друга герои поэмы.

На рубеже тридцатых годов в жизнь Твардовского входит человек, необычайно много определивший в его дальнейшей судьбе.

В недатированном письме Тарасенкову Твардовский сообщает, что обещанные книги ему вышлет

Маня Горелова («которую прошу любить») и что к ней можно обращаться по адресу: Смоленск, улица Кашена, дом 1, квартира 9. Далее следует шутливая угроза: «Если ты не будешь писать Мане (ласково), то я постараюсь, чтоб книжки лежали в магазине на своих местах. Попомни!»

«Маня» — Мария Илларионовна Горелова — одна из трех дочерей рано овдовевшей Ирины Евдокимовны Гореловой (отец, отставной солдат из смоленских крестьян, умер, когда девочке исполнилось только девять лет). Жили трудно. Мария Илларионовна училась в педагогическом институте, но не закончила его, выйдя замуж за Твардовского. Работала в газете «Рабочий путь», но печаталась и в Москве, в таких солидных журналах, как «Красная новь» и «Новый мир». О ее немалых литературных способностях говорят и письма мужу, лишь недавно частично опубликованные.

Еще не получив от нее ни книжек, ни подробнейшего, очень деловитого письма, послушный «тов. Тарасенков» (как она его поначалу именует) послал на улицу Кашена такую открытку, что «М. Горелова» решила: «вы очень чудесный». «Маруся хвалит тебя! Улестил! — весело «встревает» в их завязавшийся эпистолярный дуэт Твардовский, возвратясь из командировки. — И я начинаю думать, что ты и в самом деле хороший малый».

Теперь «Маня» беседует с «Толей» (а то и «Толькой») раскованно и доверительно. Шутливо аттестует мужа как «поэта хоть и выявившегося (для своих знакомых), но молодого (это — с «высоты» собственных двадцати двух! — *А. Т-в*) и принципы марксизма-ленинизма мало усвоившего», и даже с комическим беспокойством спрашивает: «Не испортит ли мою биографию это легкомысленное существо?»

...Ах, сколько же в их, отныне общей, «биографии», судьбе будет трудного, опасного, даже трагического, что, однако, только теснее свяжет поэта с этой не просто любящей женщиной, но и вернейшим другом, делившим все его радости и горести, первым читателем и вдумчивым советчиком!

В сентябре 1938 года, в пору житейской неустроенности, умер их полуторагодовалый сын Саша. «...Подумал, почувствовал, что вот полжизни прошло», — записал в эти дни Александр Трифонович. И лишь немного ошибся... Он тяжело пережил случившееся. Об этом мальчике, бывшем утешением поэта в трудное время, не раз говорится в дневниках и стихах... А уж что пережила Мария Илларионовна?!

Но это случится позже, а пока молодожены держатся стойко. Поддерживаемый (если не подстрекаемый) женой, Твардовский в 1932 году поступает в Смоленский педагогический институт. Партийный работник и редактор журнала «Западная область» А. Н. Локтев («очень-очень понимающий», «чудесный человек», по благодарным отзывам Александра Трифоновича) добивается, чтобы недоучившегося в школе поэта приняли без экзаменов — с обязательством: в течение года сдать все их, ранее пропущенные.

Твардовский учится, испытывая, как сказано в автобиографии, «высокий душевный подъем». И плоды этого вскоре скажутся на его творчестве.

Уже поэма «Вступление» («Путь Василия Петрова», 1932) знаменует большой шаг вперед.

Василий Петров во многом предваряет образ героя будущей «Страны Муравии». Так же ласков к своему коню, так же завидует зажиточному соседу. Приходит он и к мысли о неизбежности вступать в колхоз.

Только не слишком ли уж рьяно отказывается герой от былых привязанностей и привычек? Став колхозником, забежал как-то домой и вдруг, будто новыми глазами оглядев свое хозяйство, подивился:

За что я держался здесь?
Что ж тут такого есть?
Ну, двор, ну, изба, ну, крыльцо,
Ну, сад, ну, колодец новый...
Ну, конь, ну, дуга, ну, кольцо,
Чересседельник пеньковый.

«Частнособственнические бельма» с его глаз явно сняты торопливой авторской рукой! (Тем не менее не только тогдашняя, но и куда более поздняя, конца 1950-х годов, критика оставалась недовольна изображением этого «ограниченного человека, серьезно раздумывающего над вопросом, решение которого было уже предопределено историей»!)

Куда реалистичнее показана колхозная действительность в прозаических опытах Твардовского начала 1930-х. В «Дневнике председателя колхоза» (1932) приезжему руководителю отнюдь не легко найти общий язык с крестьянами — настороженными, предубежденными, каждый со своими ухватками и норовом. Особенно же интересны увидевшие свет только много лет спустя, в пору перестройки, наброски повести.

В ней отчетливо запечатлены и явное форсирование производимых перемен, и вызванный этим «гомон сдержанного недовольства» на колхозном собрании, и драматические последствия нахрапистой спешки:

«Скотина ревет. Ревет!.. И я прямо скажу: когда врозь жили, как ни жили — крыши весной не раскрывали. Кроме только самых тяжелых годов», — ворчит, возясь с самодельной соломорезкой (пред-

назначаемой для измельчения соломы с крыш), Ефим Саушкин, который прежде, по его собственным словам, «жил остро, так остро, что другой раз — давнее дело — бабу в кусочки посылал» (то есть за милостыней, подаваемой хлебом, — это ярко описано в уже упоминавшейся книге Энгельгардта).

И ведь все это, говоря слогом будущего «Василия Тёркина», присказка покуда, сказка будет впереди. Еще не переходит «на басы» председатель сельсовета Быков в разговоре с «главой» колхоза Тихоновым об очередной сдаче хлеба, а только «с приятельским невниманием» на все его резоны твердит: «Ты брось, брось. А ты лучше нажми на них. У них есть. Брось...» Еще лишь смутно замаячила в повествовании фигура «озорника» и пакостника, «активиста» Лешки Петроченкова, который самодовольно хвалится сделанной «карьерой», радуясь, что не стал крестьянствовать. «Когда б вы хозяйством занимались серьезно, — угрюмо вставляет его собеседник, — вы тогда понимали б, как тяжело человеку. А так вы — что ж?.. От крестьянского труда вы отвыкли. А в колхозе вам — писчая должность. Вам колхоз — подай боже!»

Не подобные ли петроченковы и быковы вскоре начнут «править бал», выносить приговоры тем, кто, как будет сказано в последней поэме Твардовского «По праву памяти», «горбел годами над землей»?

Барахтаясь, по собственному выражению, с этой прозой, поэт одновременно нащупывает иной мотив и нового героя.

Глава вторая

ВЗЛЕТ СКВОЗЬ ТУЧИ

Со «Страны Муравии»... я начинаю счет своим писаниям, которые могут характеризовать меня как литератора.

А. Твардовский. Автобиография

Первоначальные записи о Моргунке (еще не Никите, а Филиппе, Фильке — таким мелькнет он и в неоконченной повести), персонаже «большого стихотворения, может быть поэмки» — «Мужичок горбатый» (24 сентября 1933 года), еще рисуют фигуру довольно жалкую и комическую — человека ленивого, праздного, даже нечистого на руку: «был он беспутным, бездельным и пр.».

Некоторые же важные, «опорные» пункты композиции будущей поэмы нащупываются быстро. Например, перекличка двух «гулянок» — кулацкой в начале и колхозной в конце, когда Моргунок уже «должен выступить новым человеком», перековавшимся, по ходкому тогда выражению. Но в целом работа подвигается медленно, и написанное часто вызывает разочарование у самого автора.

Определенную роль в развитии и уточнении замысла, в изменении самого подхода к изображению современной деревни сыграло его знакомство с поэмой Александра Безыменского «Ночь начальника политотдела», заканчивавшейся пространной картиной колхозной свадьбы.

Среди многочисленных замечаний, сделанных

Твардовским по поводу «политотдельской свадьбы», как он иронически переименовал поэму Безыменского, есть такие, которые явно не прошли бесследно для его собственного замысла:

«Общий тон по отношению к “деревне”, если разобраться, недостойный пролетарского поэта. Здесь... люди — немножко дурачки, и поэт не дает им думать и поступать более уважительно... Б. берет тем, что схватывает верхушки действительно существенных и волнующих моментов жизни, но в стихах так и нет того особенного, что нельзя подменить или подделать, — их можно подделать. Скучно все это доказывать. И трудно. Вероятно, доказать можно лишь иными стихами» (20 января 1934 года).

Так возникает важный побудительный стимул, активизирующий собственную работу, — доказать неверность и примитивность подобного изображения современной деревни иными стихами о ней.

Быть может, это побудило поэта форсировать темпы своей работы: примерно через неделю после приведенной записи «Мужичок горбатый» был завершен.

Завершен... и оставлен!

Видимо, подвергнув чужую поэму жестокой критике, Твардовский с неменьшей строгостью и на себя оборотился, остро осознав опасность сколько-нибудь небрежного и пренебрежительного по отношению к людям деревни тона, поверхностного, примитивного, схематического изображения серьезнейших современных событий.

В октябре 1934 года поэт сделал следующую пространную выписку из одной речи Александра Фадеева:

«Возьмите 3-й том “Брусков” (романа Ф. И. Панфёрова. — *А. Т-в*) — “Твердой поступью”. Там есть одно место о Никите Гурьянове, середняке, который, когда организовали колхоз, не согласился идти в колхоз, запряг клячонку и поехал на телеге по всей стране искать, где нет индустриализации и коллективизации. Он ездил долго, побывал на Днепрострое, на Черноморском побережье, все искал места, где нет колхоза, нет индустрии, — не нашел. Лошаденка похудела, он сам осунулся и поседел. Оказалось, что нет другого пути, кроме колхозного, и он вернулся к себе в колхоз в тот самый момент, как председатель колхоза возвращался домой из какой-то командировки на аэроплане. Все это рассказано Панфёровым на нескольких страничках среди другого незначительного материала. А между тем можно было бы всего остального не писать, а написать роман об этом мужике, последнем мелком собственнике, разъезжающем по стране в поисках угла, где нет коллективного социалистического труда, и вынужденном воротиться в свой колхоз — работать со всеми. Если внести сюда элементы условности (как в приключениях Дон Кихота), заставить мужика проехать на клячонке от Черного моря до Ледовитого океана и от Балтийского моря до Тихого океана, из главы в главу сводить его с различными народностями и национальностями, с инженерами и учеными, с аэронавигаторами и полярными исследователями, — то, при хорошем выполнении, получился бы роман такой силы обобщения, который затмил бы “Дон Кихота”...»

Этот момент можно считать переломным в работе Твардовского. Сам он писал в статье о «Стране Муравии» так:

«...Задумал я эту вещь под непосредственным

воздействием извне, она была мне подсказана А. А. Фадеевым, хотя эта подсказка не была обращена ко мне лично и не имела в виду жанр поэмы. Началом своей работы над "Муравией", первым приступом к ней я считаю 1 октября 1934 г., когда я занес в свой дневник выписку из появившейся в печати речи Фадеева».

Впрочем, как предложенный Пушкиным сюжет о ревизоре при всей его остроте и характерности не вызвал бы к жизни гениальную гоголевскую комедию, не обладай ее автор столь совершенным знанием тогдашней жизни и быта, так и рекомендованный Фадеевым фабульный поворот сам по себе отнюдь не предрешал успеха, не попади это «зерно» на такую благодатную, как бы поджидавшую его почву, как душа молодого Твардовского.

То, что поэт как бы сбрасывал со счетов предысторию «Страны Муравии», «барахтанье» в истории Филиппа Моргунка да и в повести, вряд ли справедливо, хотя фадеевская подсказка в огромной мере помогла ему, уже сильно настороженному в отношении своих прежних планов уроками поэмы Безыменского.

Употребленное Фадеевым сопоставление Никиты Гурьянова с Дон Кихотом, разумеется, не было воспринято поэтом как буквальный призыв «затмить» гениальную книгу Сервантеса, но надоумило перевести своего героя как бы в совершенно иное, по сравнению с прежним, измерение: сделать его фигурой по меньшей мере трагикомической и этим избежать самóй возможности «обидного» по отношению к деревне тона.

Думается, что без тех долгих и часто безотрадных трудов, какие были потрачены на «Мужичка...», было бы невозможно, чтобы Твардовский, еще 6 октяб-

ря не собиравшийся браться за «эпопею», два дня спустя «не выдержал, начал писать». Говоря словами из книги «За далью — даль»:

Взялся огонь, и доброй тяги
Бушует музыка в трубе.

Восемнадцатого октября как «проба размера» записываются некоторые строфы, вошедшие затем в измененном виде в окончательный текст «Страны Муравии». Еще через некоторое время — 16 декабря — в записи «Путешествие Никиты» (возможно, что это «рабочее» название поэмы) уже нащупывается эпизод, трансформировавшийся потом в сцену воображаемого разговора со Сталиным.

В этих планах и набросках еще много такого, что сам автор вскоре отбросит как «длинноты, размазывание и т. д.», и все же будущая композиция поэмы — уже узнаваема, как и вся ее художественная структура. Твардовский записывает, что «новые главки... обогащают трагичностью» и что лирические отступления надо «делать во что бы то ни стало».

Напряжение работы не ослабевает. И одновременно, несмотря на все увлечение ею, не оставляет автора настороженный, критический взгляд на сделанное: «Трудно, страшно и нет глубокой радости, — нет уверенности полной» (запись от 16 декабря 1934 года).

Не оставляя еще мыслей о второй или даже третьей частях поэмы, которые бы повествовали о путешествии Никиты буквально по всей стране (срабатывает инерция фадеевской подсказки), Твардовский, однако, реально занят работой над первой (ставшей единственной) частью. Его замысел тяготеет ко все большей простоте, реализму, отказу от соблазнявших было остросюжетных линий и

16. XII. 34

„Путешествие Никиты"

Дать после картины разоренья — слух о Сталине, будто бы проезжавшем перед ~~[illegible]~~ [illegible] по колхозам под видом уполномоченного. Путешествие Никиты, вернее(?), отклоняясь от основной цели: найти „край" — ~~[illegible]~~ встретиться со Сталиным — поговорить с ним начистоту. Постепенно эта задача отпадает и осуществляется много позднее; на 1м съезде колхозников („Осип Виссарионыч!..") Там же будут встречи с людьми, знакомыми по путешествию.

Вторая часть должна будет дать изменённую поиску изначальной цели.

Трудно, страшно и нет глубокой радости, — нет уверенности полной. Пишется немного.

Дал было в хорошей прозе цыганские анекдоты и задумал было цыганскую эпопею(?).

Страница рабочей тетради поэта. *Запись 16 декабря 1934 г.*

эпизодов (пожар, поимка Моргунком поджигателя — беглого местного кулака и т. п.).

Поэт стремится избежать всего, сколько-нибудь бьющего на эффект, и ввести повествование в более обыденное русло, когда и события, в сущности, крайне драматические, изображаются, по примечательному выражению одного из первых чутких слушателей поэмы, профессора Валентина Фердинандовича Асмуса, без «рыкания» и «оскаленных зубов».

Новый, причем довольно драматический поначалу, толчок к продолжению напряженной работы дала оценка поэмы А. М. Горьким, который прочел ее первую редакцию, переданную автором в возглавляемый им журнал «Колхозник».

В свое время именно отзыв Алексея Максимовича сыграл важную, если не определяющую роль в судьбе книги Михаила Исаковского «Провода в соломе» и самого́ ее автора. И вполне вероятно, что работавший в редакции «Колхозника» Михаил Васильевич, да и сам Твардовский и на этот раз рассчитывали на поддержку главного редактора журнала.

Надежды не оправдались. Высказав мнение, что в «Стране Муравии» «ясно видны... подражания то Некрасову, то Прокофьеву, то — набор частушек и т. д.», Горький посоветовал автору «посмотреть на эти стихи, как на черновики», и наставительно заключил, что поэмы такого размера «пишутся годами, и не по принципу: "тяп-ляп может будет корабль", или:

Сбил-сколотил — вот колесо!
Сел да поехал — ох, хорошо!
Оглянулся назад —
Одни спицы лежат».

Однако, знакомясь с рабочими тетрадями Твардовского, легко убедиться в том, что он трудился отнюдь не по рецепту, высмеянному знаменитым рецензентом, и был очень требователен к себе. Характерно, что еще до получения горьковского отзыва поэт записывает: «После читки у Исаковского в Москве мне стало понятно, что еще делать, делать и переделывать порядочно». И далее следует обширная программа «переделок, исправлений», которая затем неукоснительно выполняется.

Однако в записи, сделанной 23 августа 1935 года после ознакомления с горьковской «резолюцией», сказывается вся свойственная Твардовскому твердость, независимость характера и суждений:

«Подкосил дед, нужно признаться. Но уже прошло два дня. Обдумал. Обчувствовал. Переживем. И да обратится сие несчастье на пользу нам. Слов нет, теперь для меня более явственны сырые места. А что продолжает оставаться хорошим, то, видимо, по-настоящему хорошо. Испытание, так сказать. Все буду слышать: и восхищение, и такие отзывы, как “колесо”, а работа будет продолжаться. Дед! ты заострил лишь мое перо. И я докажу, что ты “ошибку давал”».

Авторитет т а к о г о критика был для молодого писателя огромен, но дело касалось того жизненного материала, которым автор поэмы, по его справедливому убеждению, «располагал с избытком». «Все то, что происходило тогда в деревне, — сказано в автобиографии, — касалось меня самым ближайшим образом в житейском, общественном, морально-этическом смысле».

Испытывая, по его словам, «настоятельную потребность... рассказать», что знает «о крестьянине и колхозе», Твардовский предпочитал доверяться собственному жизненному опыту.

Впоследствии он написал замечательное стихотворение, своего рода поэтическую декларацию:

Вся суть в одном-единственном завете:
То, что скажу, до времени тая,
Я это знаю лучше всех на свете —
Живых и мертвых — знаю только я.

Сказать то слово никому другому
Я никогда бы ни за что не мог
Передоверить. Даже Льву Толстому
Нельзя. Не скажет — пусть себе он бог.

А я лишь смертный. За свое в ответе
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.

Конечно, здесь выразился сгущенный опыт всей жизни, сказались и те драматические обстоятельства, в которых эти стихи создавались, но, быть может, есть в них и какой-то отголосок давнего спора с другим литературным «богом», спора, исход которого утвердил «смертного» в возможности и необходимости идти «дорогою свободной, куда влечет тебя свободный ум», как было завещано еще Пушкиным.

Возможно, нынешний читатель усомнится, что в то время и в тех условиях, в которых создавалась «Страна Муравия», была какая-либо возможность свободной дороги. Напомнит, что уже фадеевская подсказка диктовала вполне определенный взгляд на происходящее в деревне: конец, то бишь колхоз — делу венец!

И вот уже Моргунок гостит в процветающем колхозе Фролова, гуляет там на разveселой свадьбе, где «ударницы-красавицы» бойко распевают: «Неохота из артели даже замуж выходить», и, наконец, встречает «богомола», который сам раздумал идти к «святым местам», в лавру, и Моргунку втолковывает:

Зачем, кому она,
Страна Муравская, нужна,
Когда такая жизнь кругом, —

прекрасная, словом...

Есть в поэме и кулаки, которые даже нападают на Фролова, энтузиаста коллективизации и раскулачивания (но не припомнить ли тут о наивном негодовании старинного путешественника: «Сие животное столь свирепо, что защищается, когда его хотят убить»?).

И только в черновом тексте «Муравии» была горестная и яркая картина последствий «великого перелома» — обезлюдевшие деревни, опустевшие избы:

Дома гниют, дворы гниют,
По трубам галки гнезда вьют,
Зарос хозяйский след.
Кто сам сбежал, кого свезли,
Как говорят, на край земли,
Где и земли-то нет.

Кто сам сбежал... «...Эти годы, — писал Твардовский автору этой книги 12 декабря 1957 года, — характерны массовым бегством из деревни в город, на новостройки и т. п., по вербовке и так, с настоящими и фальшивыми справками, с семьями и без них, — словом, это как раз время отъездов и прощаний с дедовскими местами — “переселение народов” — в этом, по-моему, и типичность фантастического отъезда Моргунка из родных мест».

Между тем при своем появлении «Страна Муравия» была расценена в печати в фадеевском «духе» — как поэма о «последнем мелком собственнике» или «о последнем мужике», как было сказано на ее почти восторженном обсуждении в столичном Доме литераторов 21 декабря 1935 года, еще до публикации в журнале «Красная новь» (1936. № 4).

Иными словами — о чем-то единичном, даже исключительном и уж никак не типичном.

И потом целые десятилетия в статьях и книгах самых разных авторов утверждалось, будто в пору коллективизации «колебания, подобные Моргунковым, были для большинства позади», поскольку «духовный путь в колхоз, проделанный героем, основные массы крестьянства прошли в конце 20-х годов». Говорилось и писалось, что Твардовский выбрал главным героем повествования «крестьянина с наиболее отсталым сознанием».

«Юношеским задором и юношеским превосходством автора над колеблющимся героем брызжет полная заразительной веселости "Страна Муравия", — читаешь, например, в статье А. Макарова конца 1950-х годов. — Автор с сочувственной, но иронической улыбкой устраивает (!!! — *А. Т-в*) для своего героя "хождение по мукам", чтобы привести его к выводу, который самому поэту ясен с самого начала».

«...Как далек наш герой с его мечтами о маленьком личном счастье от бурной жизни страны!» — патетически сказано в книге того же времени, специально посвященной творчеству Твардовского. В действительности же, сами критики были безмерно далеки от этой бурной и бесконечно драматической жизни, которая весьма осязаемо выразилась именно в судьбе героя поэмы.

Если послушать их, выходит, будто читатель следит за путешествием Моргунка так же, как зрители на стадионе — за бегуном, который, безнадежно отстав от других, все еще трусит по дорожке, в то время как остальные давно финишировали!

Но почему же тогда вместо естественного в таком случае жалостливо-снисходительного сочувствия, а

то и беззлобной насмешки герой поэмы возбуждает к себе совсем иное отношение?.. Перечитаем ее!

Просто ли бытовой картинкой она открывается?

У перевоза стук колес,
Сбой, гомон, топот ног.
Идет народ, ползет обоз,
Старик паромщик взмок.
Паром скрипит, канат трещит,
Народ стоит бочком.
Уполномоченный спешит[1]
И баба с сундучком.
Паром идет, как карусель,
Кружась от быстрины...

Или эта переправа теперь в восприятии Моргунка ассоциируется с подступившей необходимостью отчалить от привычного, обжитого берега к другому, еще повитому туманом, загадочному? Кружение «от быстрины», туго натянувшийся канат, скрипящий под напором воды паром — все это как-то по-особому видится герою.

А его мир, который он вынужден покинуть, который у него из-под ног уходит (ославленный критиками как «узенькая дорожка», «маленькое счастье» и т. д. и т. п.), прост и вместе с тем поэтичен:

И дождь поспешный, молодой
Закапал невпопад.
Запахло летнею водой,
Землей, как год назад.
И по-ребячьи Моргунок
Вдруг протянул ладонь.
И, голову склонивши вбок,
Был строг и грустен конь.

Невпопад — потому что Моргунку теперь не пахать, не сеять. Покидает он родные места, а они то-

[1] Неслучайное словечко!

мят душу, не отпускают, призывно, как и год назад, напоминают о себе, зовут назад, к привычному труду.

И конь недаром построжел, погрустнел, того и гляди, как в сказке, человеческий голос подаст... А ведь и в самом деле, «в ночь, как ехать со двора, с конем был разговор», да и позже спросит его Моргунок: «По той, а, может, не по той дороге едем, друг?»

Не раз еще в поэме повеет сказкой, — например, когда встанет перед героем выбор — единоличная ли деревня Острова или фроловский колхоз.

Да и совсем уж «собственной персоной» объявится «сказка-ложь, да в ней намек» в довольно будничных обстоятельствах:

На огне трещит валежник
Робко, будто под ногой.
Двое возчиков проезжих
Сонно смотрят на огонь.
....
Спит не спит, лежит Никита,
Слышен скрип и хруст травы.
Глухо тукают копыта
Возле самой головы.

Поправляет головешки
Освещенная рука.

После этой предельно реалистичной картины, достигающей в последних строках зрительной яркости кинематографического кадра, и возникает сказка про деда с бабой.

Дед — такой же «отказчик» от колхоза, как и Моргунок. Ему бы — жить по-прежнему, «на отлете от села», но тут подоспел могучий весенний разлив...

И случилась эта сказка
Возле нашего села:
Подняла вода избушку,
Как кораблик, понесла...

И качаются, как в зыбке,
Дед и баба за стеной.
Принесло избу под липки —
К нам в усадьбу —
Тут и стой...
Спали воды. Стало сухо.
Смотрит дед — на солнце дверь:
«Ну, тому бывать, старуха,
Жить нам заново теперь...»

Сказка — подсказка, что и Моргунку судьбы не переупрямить. Да и не «понесло» ли и его «кораблик» с телегой, и ему только кажется, что он держит путь сам? Вынесет-то на колхозную усадьбу: тому бывать, чего не миновать!

И если рассматривать происходящее с героем всерьез, а не тешиться некоей байкой о незадачливом простофиле, бегающем от собственного счастья, которое ждет его в колхозе, то станет ясно, что молодой поэт близко подошел к проблемам, волновавшим уже его великих предшественников.

Очевидное, бросающееся в глаза и в значительной мере обманчивое сходство фабулы «Страны Муравии» и знаменитой поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»[1] так завораживало, что только немногими, да и то лишь в позднейших произведениях Твардовского, были расслышаны иные, пуш-

---

[1] В отличие от Моргунка некрасовские странствующие герои скорее наблюдатели, нежели действующие лица. Их путешествие — это сюжетная нить, на которую «нанизаны» рассказы встречных и попутные происшествия. Снабженные скатертью-самобранкой герои сказочно избавлены от всех мытарств реальной дороги (не то что Моргунок), но вообще-то сказочная атмосфера, как писал еще К. Чуковский, существует лишь в прологе некрасовской поэмы, а потом «выветривается без остатка». В «Муравии» же ничего заведомо сказочного, «чудесного» нет, но поэтика сказки, как подземный ключ, исподволь питает собой повествование.

кинские ноты. Между тем в самóй интонации еще его первой значительной поэмы порой воскресает мажорный склад пушкинских сказок («Площадь залита народом, площадь ходит хороводом, площадь до краев полна, площадь пляшет, как волна»), а уж столкновение скромной мечты Моргунка с грозной действительностью, как это ни кажется парадоксальным, в чем-то перекликается с «Медным всадником».

Казалось бы, «злые волны» петербургского наводнения — не чета вешнему паводку в «Стране Муравии», но представление о сложности и драматизме взаимоотношений личности, народа — и государства почти неосознанно уже намечается в поэме, выбивающейся из строго предначертанных фадеевской подсказкой рамок на большой простор.

Впоследствии Твардовский говорил, что авторы книг о коллективизации считали, будто вступление крестьян в колхозы диктовалось «необходимостью самого единоличного хозяйства»: «“Мол, из нужды не выйти” и т. п.».

«И это тогда, как мужик имел Советскую власть, — писал поэт Александру Григорьевичу Дементьеву 18 декабря 1953 года, — получил землю, построил хату из панского леса, пользовался сельскохозяйственным кредитом и т. п., но главное, конечно, земля. Он только начал жить, только поел хлеба вволю. И в этих условиях он мог, по моему глубокому убеждению, воздерживаться от “коммунии” лет 200—300».

Вспоминаются мне и слова, сказанные Твардовским в одном разговоре осенью 1956 года, о том, что коллективизация была нужна не самому крестьянству, а государству. Та же мысль повторяется в более поздних рабочих тетрадях поэта.

«Не из нужды крестьянского двора», по его словам, произошла сталинская коллективизация, которая попрала, отбросила, уничтожила естественно складывавшиеся формы сотрудничества, совместного труда.

«Коллективизация (сплошная) смыла кооперацию, все эти маслозаводы, успешную конкуренцию с кулаком и т. д. Кооперация — экономический, хозяйственный путь, но коллективизация пошла другим путем — государственным, политическим, административным. Весь предшествующий путь кооперации (артели, маслосырзаводы и т. п.) она объявила кулацким путем» (запись от 1 декабря 1963 года).

А в наши дни уже и польский славист Петр Фаст следующим образом размышляет о «Стране Муравии»: «Произведение, признанное своеобразной апологией коллективизации, сегодня мы были бы склонны трактовать как симптом осознания едва ли не трагедийной доли крестьянства, для которого, кроме колхоза, другой дороги в ту пору не существовало. Неизбежность пути к коллективному хозяйству... Твардовский представляет таким образом, что сквозь апологию пробивается ощущение трагического фатума».

«Муравия» рождалась в очень сложных и противоречивых условиях.

В апреле 1934 года, выступая на первом областном съезде смоленских литераторов, представитель оргкомитета Союза советских писателей, критик Корнелий Зелинский не только сообщил, что как редактор столичного издательства «Советская литература» отклонил предложенный Твардовским сборник стихов, но обнаружил в них «душок не нашего представления о бедняке» и что это у автора не случайно.

Семнадцатого июля 1934 года давний преследователь поэта, сверхбдительный критик В. Горбатенков, резко отзывавшийся о нем уже и на апрельском съезде, напечатал в газете «Большевистский молодняк» статью «Кулацкий подголосок», после чего, как писала Мария Илларионовна Тарасенкову, в районных центрах «выносятся резолюции о том, что стихи Твардовского не помогают строить социализм», а некий «читатель» в письме, помещенном в той же газете, выражает недоумение, почему «подголоска» не выслали вместе со всей его семьей. Горбатенков же стал распускать «порочащие» поэта слухи, будто он хлопочет о возвращении родителей из ссылки.

Восемнадцатого августа Тарасенков в столичной «Литературной газете» оценил происходящее как травлю и «критическую порку» «одного из наиболее интересных и талантливых поэтов области» («О загибах по-смоленски»). Однако несколько месяцев спустя «Большевистский молодняк» снова опубликовал статью в прежнем духе, авторами которой были Горбатенков, И. Кац и Н. Рыленков.

Но на этот раз на состоявшемся в те же дни совещании областных поэтов в защиту Твардовского выступили московские критики Марк Серебрянский и Сергей Кирьянов. Они, в частности, первыми положительно отозвались о «Муравии», известной им по черновикам.

Вскоре, выслушав первые главы поэмы, к этому мнению присоединились Владимир Луговской, Михаил Голодный («Ничего подобного в советской поэзии нет»), Михаил Светлов (в своей улыбчивой манере: «сукно добротное»), а также философ, профессор В. Ф. Асмус, который к тому же 12 декабря 1935 года опубликовал в «Известиях» очень одобри-

тельную рецензию на сборник стихов Твардовского, вышедший в Смоленске.

«Можно сказать, что это праздник нашей советской поэзии», — начал свое выступление на обсуждении «Страны Муравии» в Москве 21 декабря 1935 года первый же оратор, сатирик Сергей Швецов. Высоко оценили поэму и Вера Инбер, Луговской, Тарасенков, Владимир Ермилов (уже готовившийся печатать ее в журнале «Красная новь»), критик Дмитрий Мирский, сказавший, что поэма «возвращает к очень хорошей и, в сущности, забытой традиции... Некрасова и народных баллад Пушкина»[1], а в числе других... Зелинский, быстро перестроившийся и накануне приславший Твардовскому, как тот иронически сообщал Тарасенкову, «трехаршинное письмо... в весьма поощрительном духе».

И уж совершенно «взахлеб», по словам Твардовского, хвалил «Муравию» Пастернак. Он говорил, что «эта поэма живой организм», все в ней «проникнуто народным духом», бурно предостерегал от излишней редактуры, возражая осторожничавшему Ермилову.

— Спасибо, товарищ Твардовский! — закончил он.

— Вам спасибо, — откликнулся «именинник».

«Бедный Горбатенков вынужден будет в своем очередном труде записать в “друзья” мне не только тебя», — писал поэт Тарасенкову.

---

[1] «Князь... упрекнул меня только в одном: что я все же (!) покамест несколько (!) уступаю Некрасову (!!!)», — с доброй иронией писал жене Твардовский о понравившемся ему в целом выступлении этого человека высокой культуры (действительно князя, сына либерального царского министра П. Д. Святополк-Мирского), вскоре исчезнувшего в кровавых волнах ГУЛАГа.

Между тем после обсуждения — и наверняка под впечатлением его — секретарь правления Союза писателей, видный партийный деятель А. С. Щербаков уже докладывал в письме Сталину о радующем появлении новых имен: «...в поэзии — Твардовский».

Журнальная публикация поэмы вызвала множество хвалебных печатных откликов — и верного Тарасенкова, и других критиков — Е. Златовой, М. Серебрянского, Ю. Севрука, Е. Усиевич (писавшей, что «это — событие на общем фоне всей нашей поэзии последних лет»), а также писем. Письмо К. Чуковского, потом, к сожалению, утраченное, запомнилось Твардовскому на всю жизнь.

«Если у нас существовали бы премии за лучшую книгу стихов, самые строгие судьи присудили бы премию А. Твардовскому, — писал Николай Асеев, подобно Багрицкому, объективно и высоко оценивший «инакопишущего» автора. — ...Трудно рассказать о том, с какой тщательной любовностью, с каким добросовестным старанием отделана в ней каждая строфа... Кажущаяся простота “Страны Муравии” на поверку является большой и сложной культурой стиха» (Октябрь. 1937. № 2).

Для примера остановлюсь на одном эпизоде поэмы:

Спал Моргунок и знал во сне,
Что рядом спит сосед.
И, как сквозь воду, в стороне
Конь будто ржал под свет...

Вскочил, закоченелый весь,
Глядит — пропал сосед.
Телега здесь, и мальчик здесь.
А конь?.. Коня — и нет...

Никита бросился в кусты,
Выискивая след.
Туда-сюда. И след простыл.
Коня и вправду нет.

И место видно у огня,
Где ночью спал сосед,
В траве окурки. А коня
И нет. И вовсе нет.

Какая вроде бы «бедная», однообразная рифмовка: сосед — свет, сосед — нет, след — нет, сосед — нет; и в следующих строфах — опять: рассвет — свет, лет — нет.

Однако именно эта рифмовка и повторяющаяся с нехитрыми вариациями фраза «коня нет» выразительно передают страшный испуг, оцепенение, сковавшее Никиту, его сосредоточенность на одной ужасной мысли, беспомощность, бессмысленность уже бесполезных поисков. А в дважды повторенной рифме «сосед — нет», кажется, даже угадывается боязливое старание отогнать догадку, что украл коня именно он.

Кому другому услышанные и прочитанные похвалы могли бы вскружить голову. Но не Твардовскому! Прочитав рецензию Асмуса, он написал ликующему Тарасенкову, что «она очень серьезная, очень хорошая, настолько хорошая, что жалко даже: книжка-то плохая...». А на самóм обсуждении утверждал, что здесь «и четверти не сказано» о том, чтó в поэме слабо. Затем решительно воспротивился намерению выпустить ее с иллюстрациями, считая, что для первого издания это «претенциозно».

Не случайно через несколько дней Пастернак сказал близкому другу Асмусу:

— Это настоящий человек!

Успех «Страны Муравии» позволил Твардовскому продолжить учебу, прерванную было в Смоленске. В сентябре 1936 года он стал студентом четвертого курса знаменитого МИФЛИ — Московского института истории, философии и литературы.

«Там, в МИФЛИ, что расположился в тылу Сокольников на берегу Яузы, я впервые увидел Александра Трифоновича, — вспоминал Алексей Кондратович, впоследствии один из близких сотрудников Твардовского-редактора. — Он стоял во время перемены между лекциями у широкого проемного окна, которым кончался коридор четвертого, последнего этажа институтского здания, этажа литературного факультета. Коридор бурлил взрывами смеха, шумной молодой разноголосицей. Твардовский стоял один, высокий, стройный, спокойный, курил папиросу. Стоял и посматривал не очень внимательно на студенческую колготню, занятый своими мыслями. Красивый, светловолосый, голубоглазый — попозже, уже на войне о нем кто-то остроумно скажет: "помесь добра молодца с красной девицей".

В его одиночестве не было ничего особенного и тем более показного. Легко было заметить, что Твардовский просто намного старше всех этих говорливых юнцов и девиц. Ему было тогда 27 лет».

По свидетельству одного из ифлийских преподавателей, философа Михаила Александровича Лифшица, с которым поэта вскоре связала тесная дружба, Твардовский «заметно выделялся в массе слушателей». Отнюдь не только по возрасту, но и по серьезному отношению к учению, что отмечают и другие мемуаристы. Его семинарская работа о Некрасове была оценена как одна из лучших. Позже ставился вопрос о ее публикации, осуществленной

уже после смерти поэта (он, в соответствии со своим характером, этому противился, считая написанное «школярской работой, с простительной для школяра претензией на нечто»).

Не остался незамеченным его интерес к «Житию протопопа Аввакума». (Десятилетия спустя в разных драматических ситуациях он нередко вспоминал и повторял знаменитое, скорбное и стойкое: «...ино еще побредем».)

Вспоминают об ощущавшейся в Твардовском уже тогда «большой скрытой силе», самостоятельности суждений, которые он не колебался отстаивать, даже рискуя порой показаться собеседнику «консервативным» и «старомодным».

«Это был подчас ершистый, колючий, ироничеcкий человек, трудный для самого себя, но очаровательный в минуты радости и редкой удовлетворенности сделанным и достигнутым, — пишет часто не соглашавшийся с Александром Трифоновичем и тогда, и впоследствии поэт и переводчик Лев Озеров. — Конечно, он знал себе цену, у него было сложное чувство собственного достоинства, которое некоторым казалось гордыней, “шляхетской” неприступностью».

В эту пору у Твардовского завязываются новые дружбы, которые пройдут через всю жизнь.

— Ну, представь себе, — рассказывал он Л. Озерову, — ты приезжаешь издалека, у тебя еще не напечатанная в центре поэма, обстоятельства твоей жизни смутны, и ты не знаешь еще, на каком ты свете. И вот в вестибюле, возле гардероба, к тебе подходит человек, известный тебе по портретам и намного старше тебя, и говорит, не то спрашивая, не то восклицая: «Вы Твардовский?» — «Да, — отвечаю, — Твардовский». Он переспрашивает несколь-

ко раз: «Вы Твардовский?» — «Да», — говорю. Он... целует меня в лоб, обнимает и говорит: «Я давно ждал появления такого поэта, и вот вы пришли».

То был Самуил Яковлевич Маршак, совершенно восхищенный «Муравией».

Твардовский же по характеру своего детства, которое, по его словам, «вообще обошлось без детской литературы и слишком далеко отстояло своими впечатлениями от специфически городского мира маршаковской поэзии для детей», оценил ее «высокое мастерство» много позже, сначала став великим почитателем его переводов, особенно из Роберта Бёрнса.

При близком знакомстве Маршак завоевал его не только своим отеческим отношением к младшему коллеге, не только увлеченными и тонкими суждениями о литературе, но и редкой прямотой, с которой он, явно страдая, но «с непререкаемой убежденностью» жестоко раскритиковал детские книжки, выпущенные Твардовским в Смоленске:

— Голубчик, не нужно огорчаться, но это написал совсем другой человек, не тот, что «Страну Муравию»... Здесь нет ничего своего, все из готовых слов.

По сравнению с Маршаком, возрастная разница с которым составляла почти четверть века, Александр Альфредович Бек, с кем тогда же сошлись Твардовские, был ровесником не ровесником, но всего на семь лет старше. Вошедший в литературу еще шестнадцатилетним, он, по нежно-улыбчивому уверению одного из друзей, таким же всю жизнь и оставался. Простодушный, искренний, доверчивый, при всей своей позднейшей известности не умевший даже казаться маститым, сам Бек считал себя великим хитрецом, но по этой части недалеко ушел от Твардовского, которому, как считал Кон-

дратович, всю жизнь не давалась обычная житейская дипломатия.

Бек рассказывал, что тогда, во второй половине тридцатых, они с Александром Трифоновичем встречались чуть ли не каждый день. По его словам, молодой поэт был «ослепительно талантлив и умен», «по десять-двенадцать часов в день просиживал над учебниками, светясь внутренней чистотой, проникновением в жизнь, душевной ясностью». После их бесед Александр Альфредович порой досадовал, что «в передаче его слов (в бековском дневнике. — *А. Т-в*) нет той глубины, которая была у него».

Годы спустя вновь очутившись в подмосковном Доме творчества (название, которое Александр Трифонович всегда высмеивал) Малеевке, поэт с горечью и грустью вспомнит их, двадцатилетней давности, долгие разговоры на прогулках: «Как нам все казалось тогда просто и ясно наперед, хоть уже и нависла тень тридцать седьмого года, но мы ее отгоняли. Мне казалось, что всё уже — промышленность и деревня и т. д., — на ходу — всё на ходу».

Между тем наступала пора жестоких испытаний. В ощущавшейся зловещей атмосфере вновь появился спрос на разнообразнейшие политические обвинения. А спрос, как известно, рождает предложение.

И летом, когда у Твардовских родился сын, Саша, а счастливый отец «с грехом пополам» сдал экзамен по истории, последняя уже готовила ему волчью яму.

Нисколько не унявшиеся, а наоборот, крайне озлобленные триумфом «Муравии» противники поэта продолжали активно совершенствоваться в ставшем весьма популярным «жанре». 1 июля 1937 года отправляется донос, то бишь «заявление писателя

Горбатенкова» в ЦК комсомола «О редакции газеты "Большевистский молодняк"».

На девяти печатных страницах рьяно разоблачается прямо-таки сказочное количество (33!) «врагов народа», не только главный редактор Н. И. Приходько, сразу же арестованный и вскоре расстрелянный, но в числе других и Твардовский с Македоновым.

Однако «заявителю» этого показалось мало, и через полтора месяца в местное управление НКВД поступает новое сочинение, уже на пятнадцати страницах. Главная мишень здесь — Македонов (хотя не забыты ни «троцкистский последыш Тарасенков», ни Марьенков, «не написавший почти ни одного произведения без клеветы на партию»). Другой же «ярко освещенной» в доносе фигурой был, как нетрудно догадаться, Твардовский, «выгораживаемый (вестимо, Македоновым! — *А. Т-в*) от какой бы то ни было критики» «сын крупного кулака», который как «начал с открытых кулацких стишков», так и до сей поры занят «утверждением кулачества в жизни» (что это значит, непонятно, зато как звучит!).

Мужественно пытавшийся опровергнуть горбатенковскую напраслину на срочно созванном писательском собрании, Македонов спустя неделю был арестован, и коллеги уже стали говорить о нем как о «ныне разоблаченном враге народа», который «у нас орудовал» и т. д. и т. п. в лексике той эпохи.

А на новом, тоже незамедлительно состоявшемся сборище Горбатенков потребовал «в самый наикратчайший срок выявить связи с Македоновым Твардовского», который в прошлый раз был единственным, кто стал на защиту критика.

«Он <Твардовский> приехал утром, — записал Бек 1 сентября 1937 года, — и сразу позвонил мне. Оказалось, дела его плохи, тревожны. В Смоленске

арестовали его ближайшего друга Адриана Македонова. (Эта атмосфера арестов, в которой мы живем, гнетет. То и дело слышишь: арестован такой-то, такой-то... Кажется, целому поколению или слою людей ломают сейчас хребты. Ощущение такое, что вокруг разрываются снаряды, которые кучками вырывают людей из рядов. И ждешь — не ударит ли в тебя.)».

Дневник Бека позволяет нам остро ощутить и тягостный «дух» этих сентябрьских дней, и то, что чувствовал, думал и как вел себя попавший под огонь друг. «...Тв<ардовский> сильно взволнован и угнетен этим. Его угнетает и общая, принципиальная сторона вопроса (почему берут людей, не объясняя нам, за что? Почему такая бесправность?), и своя личная обида. Он не хочет, чтобы его называли в печати проходимцем...»

Тогда была в ходу фраза-формула, прозвучавшая с самых «верхов», претендовавшая на то, чтобы объяснить и оправдать даже грубейшие несправедливости, так называемые перегибы: «Лес рубят — щепки летят».

— Но я не хочу, чтобы щепки летели, — упрямо сказал поэт.

«Он говорил, — продолжает Бек, — об изувеченных судьбах, о людях, погибающих, как щепки, из-за разных негодяев».

— Я хотел бы даже, чтобы меня арестовали, — отчаянно вырвалось у поэта, — чтобы узнать все до конца, но племя свое жаль.

Между тем к этому шло!

Дело о «вскрытой контрреволюционной группе среди смоленских писателей» растет как на дрож-

жах, производятся новые аресты, в том числе — Марьенкова.

Из Смоленска не преминули сигнализировать, как тогда выражались, о «связях» поэта с «врагами народа» и о том, что он «упорно защищал» одного из них, не скрывая, что дружил с ним. Внес свою лепточку и присутствовавший на смоленских судбищах московский представитель, очеркист И. Жига, написавший в «Литературной газете» 10 сентября 1937 года, что «хвалебная критика вскружила голову Твардовскому», а «между тем даже в его расхваленной “Стране Муравии” немало политически сомнительных мест».

— Машина пришла в движение, — сказал другу Александр Трифонович.

«...Над ним тяготеет предчувствие ареста», — пишет Бек.

— Знай, если бы я задержался в Смоленске еще на один день, меня взяли бы. Я тебе признаюсь, после моего отъезда за мной приходили.

«...Ему постоянно кажется, что кто-то подслушивает у дверей, он среди разговора распахивает дверь».

Тем не менее поэт твердит: Македонов «чист как слеза».

«...Позиция Тв<ардовского> такова, — говорится в дневнике далее, — он не может отказаться от Македонова, не может признать его врагом народа. И я, — прибавляет сам летописец страшных дней, — одобряю эту позицию. Это единственно правильная и правдивая. Я сказал, что и люди это оценят. Тв<ардовский> ответил:

— Ты, Бек — идеалист... Может быть, поэтому я чай с тобой пью».

И, право, зная, в какое время, в какой удушливой

атмосфере клеветы, страха, готовности отступиться от друзей и близких происходит разговор, можно залюбоваться обоими идеалистами (в лучшем смысле этого слова)!

Призванный к ответу в Союзе писателей, Александр Трифонович стоял на своем. Бек оказался свидетелем его разговора с одним из тех, кому поручено было «разобраться», — поэтом Джеком Алтаузеном: «Тв<ардовский> говорил настолько убедительно (и убежденно), обстоятельно, горячо, и вместе с тем спокойно, что я удивился...»

Мария Илларионовна неизменно поддерживала мужа. «Держись, как подсказывает тебе твоя совесть», — писала она из Смоленска, где по-прежнему шла газетная вакханалия[1] и в пресловутых органах, где особенно усердствовал некий Гуревич, от арестованных добивались сведений «об антисоветских действиях поэта Твардовского Александра Трифоновича».

Не вспоминались ли ему тогда строки любимого поэта:

Зато с каким зловещим тактом
Мы неудачу сторожим!
Завидев облачко над фактом,
Как стушеваться мы спешим!
...Как негодуем, как клевещем,
Как ретроградам рукоплещем,
Как выдаем своих друзей!

---

[1] «Вражеское охвостье в Союзе писателей» — под таким заголовком вышла статья в том же «Большевистском молодняке» 30 августа 1937 года и т. п. Уже и начальник смоленского Главлита («псевдоним» советской цензуры) поднимал вопрос о запрещении переиздания «Страны Муравии», где «автором протаскивается не что иное, как бухаринско-кулацкий тезис — “коллективизация — результат административного нажима”».

Какие слышатся аккорды
В постыдной оргии тогда!
Какие выдвинутся морды
На первый план! Гроза, беда!
Облава — в полном смысле слова!..
Свалились в кучу — и готово
Холопской дури торжество,
Мычанье, хрюканье, блеянье
И жеребячье гоготанье —
— А-ту его! А-ту его!

(Н. Некрасов «Медвежья охота»)

«Постарел он, — горестно записывает Бек, — от глаз идут морщинки...»

Твардовский был уже готов ко всему. «Ну, пусть, — как-то сказал он. — Пусть всё грохнет. “Муравия” останется, а лет через пять я опять напишу хорошую вещь». После паузы: «А может быть, и не напишу».

«Срубили» же, по его горькому выражению, Марьенкова на столичном писательском секретариате: исключили из Союза (вскоре и арестовали). И при этом один из самых ярых и зловещих «литературных» деятелей Владимир Ставский, вскоре поспособствовавший гибели Мандельштама, всё сверлил да сверлил Твардовского глазами: а вдруг «встрянет», вступится еще за одного кандидата во «враги народа»!

«Промолчал как проклятый, — с болью исповедовался поэт перед Беком, — хотя все внутри кричало от зрелища расправы».

И — в который раз: «...Ох, если бы не семья...»

К вящему огорчению улюлюкавших, столичное писательское руководство ограничилось всего лишь «решительным осуждением» поведения Твардовского на собрании, обязав его «своей дальнейшей творческой работой и своим общественным поведением исправить допущенные им ошибки». «Иди, работай», — «смилостивился» Ставский.

Поэт был «прощен» (возможно, некоторые из московских «судей» не только подивились его «упрямству», но в глубине души даже позавидовали столь редким тогда поступкам — и впрямь, как надеялся идеалист Бек, «оценили»).

Несколько лет спустя, в первые дни войны, садясь в поезд, шедший на запад, к фронту, Твардовский скажет одному из попутчиков — Алтаузену:

— Знаете, Джек, не защити вы меня тогда, может, пришлось бы мне ехать совсем в другом направлении...

Окончательную — и неожиданную — точку в этой истории поставило то, что в начале 1939 года Твардовский, выпустивший к тому времени новые книги стихов, оказался в числе писателей, получивших правительственные награды.

Сам он был награжден орденом Ленина — наравне с такими, давно и хорошо известными мастерами, как Асеев, Фадеев и Шолохов. И возникавшие по этому случаю разговоры порой были очень похожи на позже запечатленные в «Василии Тёркине»:

— Вот что значит парню счастье!
Глядь — и орден, как с куста!

Забегая вперед скажем, что подобные, сопутствовавшие и дальнейшей судьбе поэта толки напоминали то, как иногда завистливо считают красующиеся на груди солдата ордена и медали, не обращая внимания на соседствующие с ними скромные нашивки, напоминающие о полученных в боях ранениях!

Но, если вернуться к тридцатым годам, не может не поражать и не озадачивать нечто совсем другое: как на диво благополучно — на редкость по тем временам! — разрядилась, сошла на нет опаснейшая

ситуация, которая легко могла завершиться абсолютно по-другому — заведением следственного дела персонально по Твардовскому, подобно массе сфабрикованных тогда и имевших самые трагические последствия для обвиняемых.

Казалось бы, выше и в специальных работах исследователей уже прослежено течение разыгранной «шахматной партии». Однако все ли фигуры, в ней участвовавшие, нам действительно известны?

Вспомните, кого извещал о появлении среди новых имен Твардовского позабытый ныне партийный функционер Щербаков?

По резонному предположению дочери поэта, Валентины Александровны Твардовской, эти слова докладной записки не остались без внимания адресата, который и без того был внимательным читателем разнообразнейшей литературы, в том числе и художественной.

Более чем вероятно, что вскоре после щербаковской канцелярщины на сталинском столе появилась «Страна Муравия» (вождю нетрудно было умозаключить, что слова записки о «нескольких крупных произведениях, появившихся в поэзии», находятся в несомненной связи с упомянутым конкретным именем).

Вы скажете: да «Муравия» еще не напечатана! Однако уже размножена для предстоящего обсуждения.

Откажемся от соблазнительно-детективного предположения, что один из этих машинописных экземпляров мог попасть на «высокий» стол даже еще до самогó обсуждения по каким-то другим «каналам». Хотя бы в качестве... доноса на антисоветское произведение, которое недоумки из Союза писателей вознамерились обсуждать, хвалить и даже

печатать. (Чем черт не шутит! И разве не было в столице, среди «жадною толпой стоящих у трона» своих горбатенковых и гуревичей?) А сановный читатель прочел и оказался совсем другого мнения (оценил же он раньше «Дни Турбиных» Михаила Булгакова!), которое стало известно и отразилось в ходе обсуждения (вспомните-ка «метаморфозу» Зелинского!).

Впрочем, уймем столь буйную фантазию и ограничимся более скромным сюжетом. Пусть не до обсуждения, а потом, по щербаковской подсказке, прочел человек, — но ведь ему определенно понравилось! Не быть бы иначе ни публикации, а может быть, и столь единодушных откликов, да и ордена Ленина.

Иосиф Виссарионович был великим ловцом человеков — увы, во многих смыслах слова, но в частности — и душ человеческих. Умел нравиться, покорять, завоевывать любовь и доверие.

Он и молодого поэта хотя и не приблизил, как некоторых его коллег, но — приметил. Особенно поддержку не афишировал. Но тем не менее и орден, и премия — не «с куста».

И впрямь ведь — тронул, надолго завоевал.

«...С той, да и до той поры, как он сказал, что сын не ответчик за отца, — откровенно писал Твардовский уже в свои последние годы, давно разочаровавшись в «великом и мудром», — я был преисполнен веры в него и обожествления, не допускающего ни йоты сомнения или, тем паче, скепсиса. А после того, как он и раз, и два, и три отметил меня, ввел в первый ряд, то и говорить нечего. Я был сталинистом, хотя и не дубовым...»

Что это конкретно — «и раз, и два, и три»? С чего пошел отсчет?

С ордена, далее премии, потом — второй? Или с одобрения «Муравии» еще тогда, в 1936-м, которое и поставило прочный заслон всем попыткам отправить вслед за смоленскими друзьями и самого поэта? Как теперь дознаться? Да и вряд ли это столь существенно.

Много важнее то, как повел себя столь беззаветный «сталинист» и как «воспользовался» явственным попутным ветром в виде публикаций, похвал, ордена.

По выражению В. А. Твардовской, «выждав необходимый интервал» после награждения, он подбил другого орденоносца, Исаковского, на довольно рискованный поступок: они направили прокурору Смоленской области письмо о необходимости пересмотреть дело Македонова!

В составлении этого документа Александр Трифонович, как говорится, играл первую скрипку. Начав с признания, что «был даже в близких дружеских отношениях с А. В. Македоновым с 1928 г. вплоть до ареста последнего», он и далее часто переходит на прямую речь от себя: «Что же касается многолетнего личного общения А. В. Македонова со мною, А. Т. Твардовским, то я могу лишь сказать, что, как поэт, во многом обязан ему своим творческим развитием», и далее в том же духе.

Когда же этому заявлению был дан ход (как никак известные люди, «поэты-орденоносцы» ходатайствовали!), Твардовский в беседах со следователем и о деле Марьенкова поднял вопрос, разыскал и представил для рассмотрения его рукописи.

И были все основания думать, что обнаружившиеся в ходе пересмотра дела явная фальшь, подтасовка фактов, предвзятость смоленских чекистов поведут к оправданию и освобождению мнимых врагов народа, если бы не начавшаяся война с Германией.

В последние мирные годы (впрочем, то и дело прерывавшиеся вооруженными конфликтами с Японией) Твардовский выпустил несколько поэтических сборников — «Стихи» (1937), «Дорога» и «Про Данилу» (1938), «Сельская хроника» (1939; позже под этим названием будут объединены все стихи 1930-х годов), «Загорье» (1940). Они получили положительную оценку в критике.

По позднейшему признанию поэта, стихи «Сельской хроники» были рождены «восторженной и безграничной верой в колхозы, желанием видеть в едва заметном или выбранном из всей сложности жизни то, что свидетельствовало бы о близкой, незамедлительной победе этого дела». (Он был не одинок: чуть раньше и Пастернак писал о «необоримой новизне» происходящего и восклицал: «Ты рядом, даль социализма!»)

В «Дороге», программном стихотворении одноименного сборника, поездка на родину не только изображена в самых радужных красках («...дорога, сверкая, струится... / Я дорогою сказочной мчусь. / Сквозь туннель пролетаю гудящий, / Освещенный, как зала дворца»), но и откровенно символизирует счастливый ход наступившей жизни.

Вспоминая покойного деда, поэт патетически возглашал:

Подождал бы ты, дед мой, немного
И пришел бы сюда на дорогу...
Рассудил бы, наверно, ты здраво,
Что дорога — хоть боком катись,
Поглядел бы налево, направо
И сказал бы ты: «Вот она, жизнь!»

Возможно, те, кто знал о судьбе семьи автора, как-то спотыкались, читая:

Замелькал перелесок знакомый,
Где-то здесь, где-то здесь в стороне
Я бы крышу родимого дома
Увидал. Или кажется мне?

Что кажется — то кажется. Родимого дома в помине нет.

«Никогда не забуду, — писал друг поэта художник Орест Верейский, десятилетия спустя побывавший вместе с ним в Загорье, — как он стоял там на пустом месте, угадывая по одному ему заметным следам, где был дом, сарай, где росло заветное дерево... Мы расступились, отошли, оставив его одного; я и сейчас вижу, как он стоит там на взгорке и ветер играет его волосами. За ним только светлое полуденное небо и высокая гряда облаков.

...Что он думал, не гадаю,
Что он нес в душе своей...

Мы долго стояли поодаль, пока он не взглянул в нашу сторону, и тогда мы подошли. Этот пригорок, заросший ольхой, окруженный кольцеобразной канавой — “копань”, как назвал ее Александр Трифонович, — и был единственным следом того, что здесь было когда-то жилье. Много лет назад кузнец Трифон Гордеевич решил вырыть на своей усадьбе небольшой прудик, чтобы скапливалась там дождевая вода. Старшие сыновья — Саша и Костя — помогали отцу. Когда рыли канаву, землю сбрасывали в середину. Сооружение это так и не было завершено, но теперь только по его следам удалось найти то место, где был когда-то теплый, обжитой дом, пока жестокая судьба не согнала отсюда семью, строившую, обживавшую и согревавшую его».

Слава Богу, что вскоре Твардовский сумел вызволить родных из ссылки и вернуть в Смоленск.

Далее в старых стихах говорилось:

По дороге, зеркально блестящей,
Мимо отчего еду крыльца.

И несоответствие с реальностью снова выступало наружу...

Вспомним стихотворение того же времени «Станция Починок» (1936), где краткая, проездом, встреча со знакомыми с детства местами изображена во всей своей естественности, непосредственности, с жадной и нежной приметливостью на всё, там за какой-то миг увиденное:

И успел услышать я
В тишине минутной
Ровный посвист соловья
За оградой смутной.

Так и встает перед глазами эта «смутная», еле видная сквозь утренний туманец станционная оградка. Сильнейшее душевное движение угадывается в этом «пейзаже»!

«Дорогу» же, если воспользоваться уже знакомыми читателю словами Маршака, как будто другой человек писал. Не тот, что — «Страну Муравию» или трагическое стихотворение «Братья» (1933):

Лет семнадцать тому назад
Были малые мы ребятишки.
Мы любили свой хутор,
Свой сад,
Свой колодец,
Свой ельник и шишки.

Нас отец, за ухватку любя,
Называл не детьми, а сынами.
Он сажал нас обапол себя
И о жизни беседовал с нами.

— Ну, сыны?
Что, сыны?
Как, сыны? —
И сидели мы, выпятив груди,
Я с одной стороны,
Брат с другой стороны,
Как большие, женатые люди.

Но в сарае своем по ночам
Мы вдвоем засыпали несмело.
Одинокий кузнечик сверчал,
И горячее сено шумело...

Мы, бывало, корзинки грибов,
От дождя побелевших носили.
Ели желуди с наших дубов —
В детстве вкусные желуди были!..

Лет семнадцать тому назад
Мы друг друга любили и знали.
Что ж ты, брат?
Как ты, брат?
Где ж ты, брат?
На каком Беломорском канале?..

Стихи, о которых можно сказать поздними словами Твардовского: «Тут ни убавить, ни прибавить»...

Но автор «Дороги» приписал к ним благостную, успокоительную концовку, или, как скажет Александр Трифонович в 1960-х годах, «фальшивый довесок»:

И сидит он сейчас предо мной,
Помужалый, смущенный и милый.
....
Мы, как прежде, похожи с лица,
Подходящие с виду ребята.
Два, по правде сказать, молодца,
Два бойца,
Два родимые брата.
Вместе слышим мы голос страны,
Слышим ласково-строгое слово:

— Ну, сыны?
Как, сыны?
Что, сыны?
— Ничего, — отвечаем, — готовы...

Не только «Дорога», но и вся «Сельская хроника» была «где-то в стороне», проходила «мимо» и «отчего крыльца», и многого, что никак не вписывалось в «зеркально блестящую» картину счастливой колхозной жизни, рисовавшуюся тогда поэтом, как он горестно признавал позже, с «мужественным» стремлением к «радостной теме», стремлением «представить дело так, как нам всем тогда казалось — нужно его представить».

Конечно, благодаря большому опыту и познаниям Твардовского как газетчика, бывавшего в самых разных хозяйствах, в «хронике» есть и вполне правдивые портреты прекрасных работников, истинных умельцев, и картины их труда, доброго соперничества друг с другом («Рассказ Матрены», «Подруги»). Колоритен цикл стихотворений о деде Даниле, великом труженике и весельчаке, своенравном, способном и на всякие причудливые выходки, и на раздумья о «проклятых вопросах» бытия.

Оказавшись как бы предтечей ставшего трафаретным в позднейшей, 1940—1950-х годов, литературе образа «в коммунизм идущего деда» (фигуры, едко высмеянной Твардовским в книге «За далью — даль»), Данила, при некоторой идилличности отдельных стихотворений о нем («Зимний праздник»), куда жизненнее своего «потомка». Этот цикл в чем-то предварял будущую «Книгу про бойца» — «Василий Тёркин».

Лесков некогда печально заметил, что о мужиках, крестьянах некрологов не пишут. Об этом вспоминаешь, читая стихотворение «Ивушка» — о скромнейшем человеке с его незатейливыми приба-

утками, уходящем из жизни с шутливой «автоэпитафией»: «Дескать, хватит, покурил». Но люди всё поминают его и его словечки, и как долговечный памятник Ивушке «морозными утрами... дым за дымом тянет ввысь» из сложенных им печей.

В стихах об Ивушке и Даниле уже пробивалась мысль, мощно и победно зазвучавшая в послевоенной лирике Твардовского, — о том, что смерть может оборвать жизнь человека, но не властна над делом его рук и памятью о нем.

Хороши женские портреты — материнский («Песня», 1936) и несколько других, в особенности — людей нелегкой, драматической судьбы — «С одной красой пришла ты в мужний дом...» (1935) и «Кто ж тебя знал, друг ты ласковый мой...» (1936).

Встретились двое, когда-то любившие друг друга. У него имущества всего и было, что сумка да кнут, у нее — «одна краса».

Сказано было — иди да живи, —
Только всего, что жила без любви.
Жизнь прожила у чужого стола, —
Только всего, что забыть не могла.

А жизнь-то вдруг повернулась по-иному, и «не своею судьбой» зажил былой пастух. Жаль только, все слишком поздно.

Вот посидим, помолчим над рекой,
Будто мы — парень и девка с тобой.
Камушки моет вода под мостом,
Вслух говорит соловей за кустом.
Белые звезды мигают в реке,
Вальсы играет гармонь вдалеке...

Это печаль, так долго таимая, что, кажется, и слезы давно выплаканы, сухи глаза, и можно даже грустно улыбнуться тому, что ушло, чего уже не навер-

стать, и почти без зависти прислушаться к чужому счастью. Как тихий вздох, звучат повторяющиеся слова: «Кто ж тебя знал... Только всего... Знать бы...»

Лирические же сценки, герои которых принадлежат уже новому поколению, улыбчивы. У молодежи совсем иные планы на будущее. Юноши и девушки раскованнее, самостоятельнее («Невесте», «Соперники», «На свадьбе», «Случай на дороге»).

Во многих произведениях того времени об «отцах и детях» безусые «новаторы» неизменно посрамляли седых «консерваторов». «Тонкий лирический такт» Твардовского, отмеченный В. Ф. Асмусом еще в рецензии на смоленский сборник стихов, счастливо избавлял его от подобных штампов, подсказывая, что новое вполне способно возобладать в жизни без насмешки и надругательства над старым, прежним (в позднейших воспоминаниях Евгении Антоновны Рыленковой сказано, что Твардовский в тридцатые годы говорил, что «и старое не все было плохо»).

Асмус полагал также, что автор «Сельской хроники» «далек от преувеличенного представления о легкости, беспечальности, беспротиворечивости новой жизни». Однако в этом смысле «хроника» все же значительно уступала «Стране Муравии». Даже благожелательно настроенные к поэту критики упоминали о «некотором однообразии впечатлений» от прочитанного, об «игре на одной струне», чрезмерном «ликующем оптимизме», изображении некоего «золотого века».

При этом нельзя сказать, что рисуемое Твардовским не было правдой. Но это было лишь одной ее стороной.

Например, он гордился тем, что «по всем путям своей страны... идут крестьянские сыны, идут ребята наши»:

Кто вышел в море с кораблем,
Кто реет в небе птицей,
Кто инженер, кто агроном,
Кто воин на границе.

Или позже:

Всюду наши да наши,
Как в родимом дому.

Но то, что «многих нынче дома нет, они живут далече... а в их родном поселке тишь», объяснялось не только возросшей «социальной мобильностью», но и последствиями коллективизации и раскулачивания.

Уже в цикле о поездке в родное Загорье не стало излишне восторженных нот об этом «переселении народов», как было сказано в упомянутом выше письме. В этих стихах послышалось нечто другое, озадачившее критиков, которые стали иронически отзываться о некоей «элегичности» их. Сама интонация рассказа о родных местах отдает неясной тревогой, если не печалью, далеко не полностью объясняемой собственным прощанием автора с молодостью:

За недолгие сроки
Здесь прошли-пролегли
Все большие дороги,
Что лежали вдали.
....
Подрастут ребятишки,
Срок пришел — разбрелись.
Будут знать понаслышке,
Где отцы родились.
И как возраст настанет
Вот такой же, как мой,
Их, наверно, потянет
Не в Загорье домой.

Уже не стало в Загорье былых ровесников. «Большие дороги» не только приводили и привносили новое, но и уводили и уносили многих и многое. Война и ее разнообразные последствия надолго оттеснят эту мысль, но спустя десятилетия об этом во весь голос заговорит, закричит новая, «деревенская» проза.

Еще со времен «Муравии» критика норовила видеть в Твардовском «певца колхозной деревни». Однако случайно ли «Сельская хроника» не получила продолжения? Стихи о деревне появлялись у него после войны все реже — и были отнюдь не в мажорном духе.

А подготавливая в середине 1960-х годов собрание сочинений, Александр Трифонович, по собственному, правда, тут же слегка смягченному, выражению, «с огнем и мечом прошелся» по «Сельской хронике», много стихов исключив или сильно исправив, подсократив (например, «довесок» к «Братьям» и цитированные выше строки о деде из «Дороги»).

Редкий — но не для героя этой книги! — пример строжайшей самооценки!

Разумеется, Твардовский 1960-х годов не таков, каким был в 1930-е!

Тогда он еще полон «безоговорочной веры» и в колхозы, и в другие совершавшиеся перемены, и в то, что «отдельные» просчеты и ошибки (вроде ареста смоленских друзей) будут исправлены.

Прозвучало же на всю страну, что сын за отца не отвечает, — слова, которые, как гору с плеч, сняли клеймо «кулацкого подголоска» (что, однако, как мы знаем, не помешало примеривать к поэту новое «дело»). Удалось же, пусть и собственными немалыми трудами и с помощью верных друзей, и образо-

вание получить (МИФЛИ окончен в 1939-м), и выйти в первый литературный ряд, даже свою несчастную семью выручить и в Смоленск перевезти!

Похоже, талант Твардовского, как говорится, ко двору пришелся. И не к новому ли, сталинскому?

Свойственные его стихам традиционность, близость к фольклору, ясность и простота формы позволяют критике противопоставлять Твардовского ряду поэтов, периодически осуждавшихся в советской печати за так называемый формализм (понимаемый чрезвычайно расплывчато), в качестве образца «народности», «партийности» и «социалистического реализма».

Не открывается ли перед ним «зеркально блестящая» дорога к головокружительной карьере?

Конечно, время рассудит. Но нечто уже и в молодом Твардовском не располагает к положительному ответу на сей вопрос.

Словно какой-то врожденный иммунитет у него существует ко всем похвалам, возвеличиванию, к соблазну удовлетвориться достигнутым и сладко опочить на лаврах. В самый разгар повсеместного прославления «Муравии» автор пишет Беку 18 апреля 1937 года:

«Впереди жизнь, которую надо делать сначала, *медленно* и *кропотливо*, *смиренно* заканчивать вуз, набираться ума... потом, если не будет каких-либо непредвиденностей, идти в люди, на несколько лет» (курсив мой. — *А. Т-в*).

И годом позже — Маршаку: «Дело в том, что я все больше страдаю от своей тоскливо-повествовательной манеры, давно хочу писать иначе, но все еще не могу». Твардовский даже говорит о «кризисе», которого со стороны не видно и из которого он «должен выйти» (18 августа 1938 года).

Наконец, уже «поэтом-орденоносцем», не столько родственника, начинающего литератора М. Г. Плескачевского наставляет, сколько формулирует собственную «линию поведения», если не всей будущей жизни:

«...Нужно выработать в себе прямо-таки отвращение к "легкости", "занятности", ко всему тому, что упрощает и "закругляет" сложнейшие явления жизни... будь смелей, исходи не из соображения о том, что будто бы требуется (как то было в «Сельской хронике». — *А. Т-в*), а из своего самовнутреннего убеждения, что это, о чем пишешь, так, а не иначе, что ты это твердо знаешь, что ты так хочешь...»

Без малого двадцать лет отделяет эти слова от уже известного читателю программного «Вся суть в одном единственном завете...», но как перекликаются слова давнего письма с финалом этого стихотворения:

О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу. И так, как я хочу.

Вглядимся напоследок в один прекрасный портрет Твардовского этой поры:

«Он был очень хорош собой, белокурый, с ясными голубыми глазами. Он был знаменитым поэтом, и слава его была не схваченная на лету, а заслуженная, обещающая (запомним это слово! — *А. Т-в*).

Он держался несколько в стороне, точнее сказать, между ним и собеседником сразу же устанавливалось подчас незначительное, а подчас беспредельное расстояние. Возможно, что это связано с прямодушием Твардовского: из гордости он не желал скрывать свои мнения (не о том ли писал и Лев Озеров? — *А. Т-в*).

...Для него — это сразу чувствовалось — литература была священным делом жизни — вот почему тех, для кого она была всего лишь способом существования, точно ветром от него относило.

Я бы солгал, уверяя, что уже задумался над хранившейся в душевной глубине силой Твардовского, может быть невнятной еще для него.

...Я только смутно заподозрил, что за резкостью его литературных мнений таится застенчивость, а за мрачноватостью и немногословностью — мягкость и любовь к людям».

Правда, это Твардовский уже весной сорок первого года, после первой тяжелейшей «непредвиденности» (помните сказанное в письме Беку?) — войны с Финляндией (впрочем, вообще-то войны давно ждали, но не этой и уж вовсе не такой, какой она оказалась!).

Но уже в нее он вступал таким, каким здесь увиден старшим коллегой Вениамином Кавериным, еще очень далеким тогда от Твардовского, но на редкость чутким человеком.

Глава третья

ПРЕДГРОЗЬЕ

«Однако ты и тогда уже был гуманистом...» — сказал Константин Симонов при появлении в печати в 1969 году дневниковых записей Твардовского «С Карельского перешейка. Из фронтовой тетради» (Новый мир. № 2).

Речь в них шла о тяжело складывавшейся для Советского Союза войне с Финляндией в 1939—1940 годах.

Первые победные реляции советского командования вскоре сменились однострочными сообщениями о том, что на фронте ничего существенного не произошло. Командовавший войсками Ленинградского военного округа К. А. Мерецков впоследствии в своих мемуарах признал, что нашей армии «пришлось буквально упереться» в мощную оборонительную линию Маннергейма, «чтобы понять, что она собой представляет». Прорвать же ее удалось лишь многие месяцы спустя после подвоза и сосредоточения большого количества крупнокалиберной артиллерии.

Только в самое последнее время, в начале XXI века, в нашей печати появились подробные свидетельства непосредственных, рядовых участников этой

кровопролитной войны (например, воспоминания А. Н. Деревенца)[1].

Тем значительнее записи, сделанные по горячим следам событий Твардовским. Они, писал впоследствии Константин Симонов, «открыли мне все скрытое напряжение духовной жизни, какою жил он тогда, в преддверии надвигавшегося на нас трагического будущего, ту нелегко давшуюся ему духовную подготовку к этому будущему, которая без прикрас, во всей своей трезвой суровости, встает со страниц записей»[2].

Примечательны первые же, сугубо «конспективные»:

«Третья поездка — в 43-ю дивизию. Ощущение великой трудности войны...

Четвертая. Наступление и его печальные последствия. Раненые. Глухая неясность: как же все-таки быть дальше?.. Медсанбат».

Далее следуют более подробные, не чурающиеся и глубоко личных впечатлений. Так, в начале рассказа о поездке в 90-ю дивизию слышен отголосок давних, детских воспоминаний: «Шла артподготовка. Возле батарей пахло кузницей...» (Напомним, что возле отцовской кузницы прошло детство поэта.)

Но вот запись, заслуживающая быть воспроизведенной полностью:

«На командном пункте дивизии мы были в момент наступления. Дела шли явно плохо... Командир дивизии грозил командирам полков, командир

---

[1] Подробнее см. мою статью «На той войне незнаменитой...» // Третьи Твардовские чтения [Сборник]. Смоленск, 2008.

[2] Воспоминания об А. Твардовском [Сборник]. М., 1978. С. 327.

корпуса, присутствовавший в землянке, вмешивался в каждый телефонный разговор, добавлял жару:

— Вперед. Немедленно вперед...

Вскоре же картина целиком выяснилась. Наши лежали на снегу у проволоки, продвинувшись на несколько десятков метров. Они не могли ни продвинуться вперед из-за исключительно точного огня из укреплений, ни уже отойти назад. Они лежали, и противник их расстреливал постепенно. Танки помочь не могли. Они сразу же выводились из строя».

Эти и подобные впечатления вскоре отзовутся в «Балладе о Красном знамени», хотя там речь пойдет и об успешном бое:

...мы — в снегу сыпучем —
Ничком лежали на земле
У проволоки колючей.
И смельчаки из наших рот,
Бесценные ребята,
С рукой, протянутой вперед,
С винтовкой, в ней зажатой,
В сугробах сделав шаг, другой,
Навек закоченели,
И снег поземкою сухой
Присыпал их шинели.

Однако продолжим запись: «К вечеру же мы видели, как потянулся поток всякого транспорта с передовой — везли раненых. Их везли на машинах, на танках, на санях, на волокушах, несли на носилках. Запомнилось на всю жизнь: везет боец раненого. Лежит он в санях на животе, протянув вперед темные, окоченевшие, должно быть, руки, и тихо, невыразимо жалостно стонет. Как собака, — пусть и недопустимо такое сравнение. А возчик почмокивает на лошадь, подергивает вожжами и будто бы сурово и даже недовольно к лежащему:

— Больно, говоришь? Руки, может, замерзли? Сказал бы, что замерзли. Я тебе вот рукавички дам. Дать? А то возьми. Они с рук — теплые. Возьми, слышь».

Это запомнилось на всю жизнь: несколько лет спустя, «среди большой войны жестокой», в знаменитой главе «Книги про бойца» «Смерть и Воин» солдат «команды похоронной», вынося раненого Тёркина с поля боя, повторит сказанное тем давним возчиком:

— Что ж ты, друг, без рукавички?
На-ко теплую, с руки...

Даже до того, как побывать на передовой и ощутить «великую трудность войны», поэт уже предугадывал ее и всей душой сострадал тем, кого потом, в «Тёркине», назовет «нашими стрижеными ребятами»:

«Запомнился концерт плохонькой бригады эстрадников... Концерт шел в комнате, забитой до отказа бойцами (сменой одной). Ни сцены — ничего. И лица, лица, лица красноармейцев. Иные с таким отпечатком простоватости, наивного ребяческого восхищения и какой-то подавленной грусти, что сердце сжималось. Скольким из этих милых ребят, беспрекословно, с горячей готовностью ожидающих того часа, когда идти в бой, скольким из них не возвратиться домой, ничего не рассказать... И помню, впервые испытал чувство прямо-таки нежности ко всем этим людям. Впервые ощутил их, как родных, дорогих мне лично людей».

В этих записях, где уже предчувствуется «масштаб» будущего автора «Василия Тёркина» и «Дома у дороги», проявилась и свойственная поэту величайшая совестливость:

«Нужно еще сказать, что меня до сих пор не покидает соображение о том, что мое место, в сущно-

сти, среди рядовых бойцов, что данное мое положение "писателя с двумя шпалами" (то есть в звании майора. — *А. Т-в*) — оно не выслужено (не то слово). Я то и дело ставлю себя мысленно на место любого рядового красноармейца».

Поэт не только как бы стесняется отличия собственной участи от солдатской, но и откровенно, без утайки, нередко с иронией фиксирует свое поведение, поступки, душевные движения, которые «выдают» в нем новичка в боевых условиях:

«Виник (политработник. — *А. Т-в*)... должен был идти в батальон, лежащий на снегу у самого переднего края. Я тоже решил с ним идти, хотя и не очень решительно... Вообще говоря, я вернулся быстренько (в блиндаж во время обстрела. — *А. Т-в*)... Вдруг канонада усилилась, как внезапный порыв грозы... Мы, штатские люди в военных полушубках — как я... даже сидя в блиндаже, пригнули головы...»

Столь же характерно для Твардовского очень требовательное отношение к себе, постоянное недовольство сделанным: «Скоро должны прийти из редакции за стихами, а стихи страшно плохие — в них нет ни этой ночи, ни этих людей, ни себя». Или в другом случае: «...искренне подумал, что эти документы так и остались более сильными, чем мои стихи, написанные по ним...»

Между тем и его вроде бы беглые, неприхотливые записи, и некоторые тогдашние стихи таят в себе зерна мыслей, тем, образов, впоследствии определивших характер и своеобразие поэзии Твардовского военных и послевоенных лет.

Выше было сказано о горестном предвидении поэтом вероятного будущего многих слушателей немудреного концерта. Позже ему пришлось не раз

столкнуться с этой жестокой реальностью: «Сжималось сердце при виде своих убитых. Причем особенно это грустно и больно, когда лежит боец в одиночку под своей шинелькой, лежит под каким-то кустом, на снегу. Где-то еще идут ему письма по полевой почте, а он лежит. Далеко уже ушла его часть, а он лежит. Есть уже другие герои, другие погибшие, и они лежат, и он лежит, но о нем уже реже вспоминают. Впоследствии я убеждался, что в такой суровой войне необыкновенно легко забывается отдельный человек. Убит, и все».

Зрелые, богатейшие плоды этих чувств и размышлений еще впереди. Вспомним хотя бы строки «тёркинской» главы «Переправа» (пусть вобравшие уже и впечатления новой, огромнейшей войны), посвященные погибшим:

...еще паек им пишет
Первой роты старшина.

Старшина паек им пишет,
А по почте полевой
Не быстрей идут, не тише
Письма старые домой,

Что еще ребята сами
На привале, при огне,
Где-нибудь в лесу писали
Друг у друга на спине...

Но не явственным ли протестом скорому забвению звучит и написанная еще в самый разгар финской войны «Баллада о Красном знамени»?

Был первый Шилов, командир, —
Запомним это имя!

...Когда ж убитым он упал,
Бежавший вслед с другими

Схватил древко боец Лупан, —
Запомним это имя!

...И третий знамя подхватил,
Как в беге эстафету.
Героем третьим Зубец был, —
Запомним имя это!

Неотступной мыслью о павших проникнуты и многие другие тогдашние записи поэта:

«...Говорил, между прочим, с одним танкистом лейтенантом... спрашивал его о том, о сем. Женат ли? Женат. А дети? Да нет, какие же дети. Мы еще недавно совсем, перед войной только. Сколько вам лет? Двадцать два. Я подивился его молодости...

— А вот он еще моложе был, — показал лейтенант ногой на фанерную дощечку, торчащую из снега у самой стежки. "Геройски пал... 1921 г. рождения". Я не заметил раньше этой дощечки. Сколько их, между прочим, этих дощечек с карандашными надписями, по пути от реки Сестры до Выборга. Сколько братских могил».

В публиковавшихся тогда во фронтовой печати очерках поэта ничего такого не было, да и быть не могло. Даже вроде бы совсем «невинные» черточки событий решительно отсеивались редакционно-цензурным «ситом»: очерк о нескольких прославленных танкистах, которые выглядели отнюдь не богатырски — «мал мала меньше», по выражению автора, — был первоначально озаглавлен «Экипаж малышей», но в газете превратился в «Экипаж героев» и подвергся таким изменениям, что Твардовский «ахнул и для себя отказался от него».

Зато живая запись рассказа командира танка Д. Диденко (Героя Советского Союза, как и весь экипаж) сохранила всю жестокость происходивше-

го, вплоть до мучительнейших подробностей: «Надо было вытащить с поля боя другой, сгоревший танк. Полез я туда, — сказал Диденко, — дотронулся рукой до механика — он и рассыпался. Зола».

Подобная правда даже тридцать лет спустя будет «шокировать» и возмущать вышестоящие инстанции.

В марте 1940 года Твардовский, встретившись в Ленинграде с «Бекушей», как он ласково называл Бека, очень откровенно и горько рассказывал ему о виденном и пережитом на только что окончившейся войне.

Александр Альфредович был поражен происшедшими в поэте переменами. Он был, записывал Бек, «как-то отделенным от меня какой-то серьезностью, как бы находящимся на другой ступени». Несколько раз повторил, что не было в этой войне, «не нашлось» Суворова — настоящего полководца. Зато (и это он тоже твердил) сами офицеры и солдаты сделали в этих условиях невозможное.

Благодаря бековским записям известно о том, что поэт мало кому поведал: «Он мог погибнуть двадцать раз. Однажды ночью проводник вывел их по ошибке к финской линии. Стрельба, они лежали, потом бежали, согнувшись».

В другой раз наблюдательный пункт, на котором находился Твардовский, был сбит снарядом минут через десять после того, как он ушел оттуда.

Как-то, оказавшись на перевязочном пункте возле передовой, держал фонарь над операционным столом, где, как выразился поэт, «умирали и оживали».

Неудивительно, что он, как писал Бек, не только «до краев наполнен впечатлениями», но «как-то взбаламучен и много пил».

Значительность и точность очеркового свидетельства Твардовского о финской войне ныне подтверждена появившимися из-под спуда лет и цензурных запретов воспоминаниями ее непосредственных участников, которые порой прямо перекликаются со сказанным автором «С Карельского перешейка».

Так, уже упомянутый выше А. Н. Деревенец пишет об одном из павших: «Из головы у меня не выходит вмерзший в лед раненый мальчишка».

И как памятник этим «нашим стриженым ребятам» выглядит стихотворение «Две строчки» (1943):

Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.

Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Шинель ко льду мороз прижал,
Далеко шапка отлетела.

Казалось, мальчик не лежал,
А все еще бегом бежал,
Да лед за полу придержал...

Среди большой войны жестокой,
С чего — ума не приложу, —
Мне жалко той судьбы далекой,
Как будто мертвый, одинокий,
Как будто это я лежу,
Примерзший, маленький, убитый
На той войне незнаменитой,
Забытый, маленький, лежу.

В поисках кратчайших путей к солдатскому сердцу группа писателей, работавших той зимой в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины», изобрела некий условный, лубочный пер-

сонаж, который из номера в номер появлялся в серии занятных картинок с незатейливыми стихотворными подписями. Это был Вася Тёркин.

Твардовский написал вступление к этому циклу фельетонов, но в дальнейшем основным автором «Васи» сделался давний сотрудник газеты, поэт Николай Щербаков.

«Недостаточность “старого” “Тёркина”, как я это сейчас понимаю, — писал впоследствии Александр Трифонович, заметно охладевший к этому герою, — была в том, что он вышел из традиции давних времен, когда поэтическое слово, обращенное к массам, было нарочито упрощенным применительно к иному культурному и политическому уровню читателя и когда еще это слово не было одновременно самозаветнейшим словом для его творцов, полагавших свой истинный успех, видевших свое настоящее искусство в другом, отложенном на время “настоящего” творчества».

Тот «Вася» скрашивал солдатам трудности жизни, являясь в минуты отдыха, краткой передышки, или как бы служил веселым подспорьем в тяжелой солдатской науке, занимательным приложением к деловитым параграфам воинских уставов. Масштаб же новых и драматических размышлений Твардовского о воочию увиденном на войне был попросту противопоказан рамкам газетного фельетона.

Казалось бы, поэту было суждено расстаться со своим «крестником» Васей. Уже рисовалась ему какая-то поэма, которую он будет писать «всерьез»: «...уже представился в каких-то моментах путь героя. Переход границы, ранение, госпиталь, следование за частью, которая ушла далеко уже. Участие в решительных боях... Но ни имени, ни характера в конкретности еще не было».

И вдруг — как озарение!

«Вчера вечером или сегодня утром, — записал Твардовский 20 апреля 1940 года, — герой нашелся, и сейчас я вижу, что только он мне и нужен, именно он, Вася Тёркин! Он подобен фольклорному образу. Он — дело проверенное. Необходимо только поднять его, поднять незаметно, по существу, а по форме почти то же, что он был на страницах "На страже Родины". Нет, и по форме, вероятно, будет не то».

Парадоксальность обращения к прежнему герою для воплощения нового содержания — чисто внешняя. Как война увидена несравненно глубже, чем прежде, — по-новому осветилась и фигура героя, в которой обнаруживаются черты, которых прежде недоставало.

«Мороз, иней, разрывы снарядов, землянки, заиндевелые плащ-палатки — все это есть и у А. и у Б., — писал Твардовский о первоначальных поэтических картинах военных действий. — А нет того, чего и у меня покамест нет или есть только в намеке, человека в индивидуальном смысле, "нашего парня" — не абстрагированного (в плоскости "эпохи", страны и т. п.), а живого, дорогого и трудного».

Все любовнее, внимательнее, вдумчивее всматривается поэт в проступающий перед ним облик этого героя: «Соврать он может, но не только не преувеличит своих подвигов, а наоборот — неизменно представляет их в смешном, случайном, нестоящем виде».

Еще в начале тридцатых Твардовский мечтал о «веселой, увлекательной, жизнерадостной литературе». «...дух захватывает от желания написать такую книгу», — сказано в дневниковой записи 26 декабря 1933 года. Жизнь внесла серьезные поправки в эти планы.

«Это будет веселая армейская штука, но вместе с тем в ней будет и лиризм, — размышляет Александр Трифонович. — Вот когда Вася ползет, раненый, на пункт и дела его плохи, а он не поддается — это все должно быть поистине трогательно». Здесь, кажется, уже брезжит эскиз будущей главы «Смерть и Воин».

«Нет, это просто счастье — вспомнить о Васе», — радуется поэт. И это очень в его духе — вернуться к уже решенной, казалось, теме, чтобы разглядеть новые, прежде не использованные возможности.

Однако работа подвигалась медленно, а с началом войны с фашистской Германией и совсем было прервалась.

Глава четвертая

«ПОВЕСТЬ ПАМЯТНОЙ ГОДИНЫ»

О начале новой войны Твардовский узнал в подмосковной, возле Звенигорода, деревне Грязи, где, по его воспоминаниям, «только что устроился... с надеждой на доброе работящее лето со своими бумагами и тетрадками».

Потом он с редкой подробностью опишет «это тихое, немного даже печальное место» — старые «щеповатые» крыши соседних изб, видневшиеся за окном, и небольшую елочку над огородом, почти как в родном Загорье, и долгую, очень красивую дорогу по вóду, к ключу, осененному ивами и березами.

Опишет, уже зная, что страшный вал вражеского нашествия докатился и туда, смял и уничтожил жителей и всю эту красоту: «...На снимке (в газете. — *А. Т-в*) ничего узнать нельзя: какие-то пожарища, торчаки обгорелых и полуобвалившихся печных труб — то есть то, что сливается с тысячами подобных картин, виденных в натуре...» за годы последующей кочевой жизни военного корреспондента.

Назначенный, как гласило командировочное предписание, «литератором газеты редакции Киев-

ского Особого военного округа», Александр Трифонович 23 июня выехал туда и на какой-то станции, уже неподалеку от Киева, столкнулся с волнами огромного народного бедствия:

«...Поле было покрыто лежавшими, сидевшими, копошившимися на нем людьми с узелками, котомками, чемоданами, тележками, детишками. Я никогда не видел такого количества чемоданов, узлов, всевозможного городского домашнего скарба, наспех прихваченного людьми в дорогу... Поле гудело. И в этом гудении слышалась еще возбужденность, горячность недавнего потрясения и уже глубокая, тоскливая усталость, онемение, полусон, как раз как в зале забитого до отказа вокзала ночью на большой узловой. Поле поднялось, зашевелилось, тронулось к полотну дороги, к поезду, застучало в стены и окна вагонов, и казалось — оно в силах свалить поезд с рельсов».

А рядом с этим ошеломительным впечатлением было иное, тоже разрывавшее душу болью, жалостью, состраданием — и в то же время являвшее собой силу и красоту человеческого духа. Нарушив все запреты, поэт со спутниками втянули в вагон женщину с детьми и были совершенно поражены и растроганы, что, кое-как устроив измученных, сразу уснувших ребятишек, она «не только не жаловалась на судьбу, но всячески старалась, чтобы люди, не видевшие, не испытавшие того, что уже довелось ей, не были слишком потрясены», и чуть ли не утешала их, убеждая, что у нее все уладится.

«Как будто в образе этой маленькой матери-беженки первых дней войны, — вспоминал Александр Трифонович, — дано было увидеть нам все величие женского, материнского подвига в этой войне...» (И не первый ли это был смутный проблеск

образа героини поэмы «Дом у дороги» с ее еще более трагической судьбой?)

Добираясь до места назначения, Твардовский сразу получил свою долю того, что обрушилось на страну и народ. Бомбежки, часто почти непрерывные, во время одной из которых лишь чудом уцелел. Разгром Днепровской военной флотилии, свидетелем чего оказался (в позднейшей повести сотрудника газеты «Красная Армия», где стал работать поэт, Виктора Кондратенко «Без объявления войны» кратко упомянуто о встрече с украинским писателем Саввой Голованивским и Твардовским, вернувшимися с кораблей, и о горькой шутке Александра Трифоновича: «Планшеткой голову от бомб прикрывал. Помогло»). Последние встречи с товарищами — Аркадием Гайдаром и Юрием Крымовым (один вскоре погибнет, другой пропадет без вести).

Уж кажется, было «хвачено горячего» позапрошлой зимой, но — «это не Финляндия», как скупо и многозначительно сказано в письме жене. Твардовский даже вызвал недовольство главного редактора «невыполнением боевого задания»: «В первой поездке я с непривычки (потому что ничего подобного не видел в Финляндии) немного опешил и вернулся без единой строчки...»

На снимке, сделанном после выхода из окружения под Каневом (шевченковские места, два года назад шумные от торжеств в честь поэта, чьи стихи Твардовский тогда с увлечением переводил), Александр Трифонович сидит, прислонясь к дереву, задумчивый, даже сумрачный. Как будет сказано в «Тёркине»: «Что он думал, не гадаю, / Что он нес в душе своей...» — Возможно, что-то похожее на запи-

санное в тогдашнем черновике, — по словам поэта, «наброске осеннем, под живым впечатлением "окруженческих" рассказов»:

Быть может, кто-нибудь иной
Расскажет лучше нас,
Как тяжко по земле родной
Идти, в ночи таясь...

«Не в письме, — пишет поэт жене в эту пору, — рассказывать о том, что довелось видеть и т. п. при совершении "драп-кросса" из Киева. Не все мы вышли. Много осталось где-то в лесах, а то и в плену или убитыми и ранеными. Но ничего. Немцев побьем-таки, в этом я уверен, несмотря на все горькие и обидные вещи, которые приходилось наблюдать...»

Пришел черед оставить Харьков, редакция перебралась в Валуйки, потом в Воронеж.

Уже в следующий раз, после вышеупомянутой осечки, Твардовский вернулся из поездки с «богатым материалом». Возможно, он считал это своим, «первым боевым днем» (так назывался один из его июльских очерков). «Я пишу довольно много, — говорится в августовском послании в далекий Чистополь, куда были эвакуированы Мария Илларионовна с дочерьми. — Стихи, очерки, юмор, лозунги и т. п.». И чуть позже: «Если исключить дни, когда в поездках, то на каждый день приходится материал»[1].

И хотя у поэта «все-таки есть чувство, что нечто для родины в такие трудные (небывало трагические) для нее дни делаешь и ты», он со все обостряющей-

---

[1] Например, стихи «Боку — в бок» (об известном немецком военачальнике фельдмаршале фон Боке, командующем группой армий «Центр» при вторжении в СССР), многочисленные фельетоны о подвигах «донского казака Ивана Гвоздева» и т. п.

ся совестливостью терзается тем, как несоизмеримо это с лежащим на солдатских плечах:

«Мы живем по обочинам войны. Мы быстренько подъезжаем к тем ямочкам и окопчикам, в которых сидят воюющие люди, быстренько расспрашиваем их, прислушиваясь к канонаде и невольно пригибая голову, когда свистит мина. А потом, провожаемые незабываемыми взглядами этих людей, убираемся восвояси...»

Ощущение великой трудности происходящего передано уже в первых летних стихах поэта:

Да, все иначе на войне,
Чем думать мог любой,
И солью пота на спине
Проступит подвиг твой.

Щетиной жесткой бороды
Пробьется на щеке
И кровью ног босых следы
Отметит на песке...

(«Сержант Василий Мысенков»)

Однако по всем тогдашним обстоятельствам — не только по загруженности газетной поденкой, но и по тяжелому положению на фронте, огромности жертв и потерь, невозможности усугублять и без того невероятное напряжение человеческих душ, — Твардовский, по собственному выражению, и «десятой доли» того, что испытал, видел, слышал, думал, еще не мог выговорить, «выписать» в своих стихах.

«...Пока что, — делится он с Марией Илларионовной в тяжелейшие дни, 12 октября 1941-го, — я должен находить в себе силы для ободряющего слова, это слово, которое либо заключенной в нем доброй шуткой, либо душевностью своей согревает чуть-чуть, расшевеливает то инертное, тягостное

безразличие, которое незаметно уживается в сознании усталого от боев и тягот человека. А каких слов он стоит, этот человек!»

Еще в написанной по следам финской войны и напечатанной во время короткой передышки между войнами (6 ноября 1940 года) «тёркинской» главе «Гармонь» картина веселой пляски сопровождалась примечательной оговоркой:

И забыто — не забыто,
Да не время вспоминать,
Где и кто лежит убитый
И кому еще лежать.

Перед поэтом вставала, казалось бы, неразрешимая дилемма: возможно ли сочетать «ободряющее слово» и «добрую шутку» с таким честным изображением войны, которое в основном и главном совпадало бы с ее восприятием самими воюющими людьми, столько уже испытавшими и перенесшими, и что сделало бы из него не мимолетного визитера, а постоянного собеседника и друга?

Между тем писать «по-гвоздевски» или в духе казенного оптимизма под «незабываемыми взглядами этих людей» становилось, как признавался Твардовский, невмоготу.

В связи с этим возникают конфликты в редакции. «Чтоб иметь успех и прочее, — поясняет Александр Трифонович жене, — нужно писать так, как я уже органически не могу писать». Несмотря на все возникшие неприятности, он принял дерзкое решение: «...больше плохих стихов писать не буду, — делайте со мной что хотите... Война всерьез, поэзия должна быть всерьез».

Весной сорок второго года, откомандированный из газеты «Красная Армия» и не знавший, к

добру это или к худу, Твардовский приехал в Москву и здесь вернулся к оставленному «Тёркину». Подо всеми ходившими над головой тучами (присланная из редакции характеристика скорее напоминала донос и вызвала необходимость в тягостных объяснениях со столичным начальством) поэт целиком погрузился в эти тетради. «Я желаю одного, — говорится в письме жене, — месяца, двух недель, недели сосредоточенной работы, а там хоть на Сахалин».

Уже появляются строки, очень похожие на те, что откроют будущую книгу, — о том, что на войне как без пищи не прожить, так и без прибаутки. Однако в этих ранних набросках еще нет «ключевых» слов, ставших знаменитыми, поистине «программными» не только для рождающейся «Книги про бойца», но и для всего дальнейшего творчества ее автора, слов, выразивших цель, задачу, мечту поэта (тут каждое слово к месту):

А всего иного пуще
Не прожить наверняка
Без чего? Без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей,
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька

Слово было найдено, произнесено. И пошло! Черновые наброски быстро преобразились в такие основополагающие главы, как «На привале», «Переправа», а также некоторые другие, пополнившись совсем новой главой, вобравшей драматические впечатления минувшего лета, — «Перед боем».

«Когда я отделывал “Переправу”, — писал поэт жене 27 июня 1942 года, — еще не знал, что впрягаюсь в поэму, и потом все сильнее втягивался, и вско-

ре у меня было уже такое ощущение, что без этой работы мне ни жить, ни спать, ни есть, ни пить».

Мощный и грозный зачин «Переправы»:

Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, —
Ни приметы, ни следа, —

и вся страшная картина гибели «наших стриженых ребят» настраивали на мужественное осознание всей трудности борьбы с лютым врагом, неизбежности напряженных ратных усилий и горчайших потерь.

А картины прошлогоднего отступления перекликались с драмой нового отхода наших войск «во глубину России», и строки: «То была печаль большая, как брели мы на восток», отзывались в читателях свежей, острой болью.

Случилось так, что первые главы поэмы появились в печати в сентябре, в труднейший, трагичнейший час войны, когда враг рвался к Волге, вскоре после известного сталинского приказа от 28 июля 1942 года № 227. Это, может быть, облегчило путь книги к читателю, поскольку драматизм ситуации побудил и самого автора приказа к необычно горькой правде, весьма жесткой характеристике поистине отчаянного положения, сложившегося на фронте от Сталинграда до кавказских гор: «Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. <...> Ни шагу назад!»

Но какая же огромная разница была между зачитывавшимся в воинских частях приказом и тем, что говорилось в «Книге про бойца» (и д л я бойца!).

Конечно, приказ был продиктован суровой военной необходимостью, однако вместе с тем нес

черты, вообще присущие его автору и созданной им системе.

На истекавшую кровью армию обрушивались обвинения в «позорном поведении» («Часть войск Южного фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа из Москвы, покрыв свои знамена позором») и даже в «преступлениях перед Родиной». И эти обличительные ноты возникли в некоторых стихах той поры, например, у Константина Симонова:

Опять мы отходим, товарищ.
Опять проиграли мы бой...
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной.

(*«Безымянное поле»*. Курсив мой. — *А. Т-в*)

«Тёркин» же был разговором с солдатами по душам, задуманным автором задолго до грозных событий лета сорок второго, но удивительно пришедшимся к месту в эти тяжелейшие дни.

Поэт не осуждал, а воистину восславлял простого бойца, подлинного героя и вместе с тем великого мученика этой войны, который с лихвой расплачивался не только за собственные промахи, неопытность, неумелость, но и за все просчеты, ошибки, даже преступления, совершенные самим Верховным и накануне войны, и в ее ходе.

Шел наш брат, худой, голодный,
Потерявший связь и часть,
Шел поротно и повзводно,
И компанией свободной,
И один, как перст, подчас.

Такого солдаты о себе еще не читывали! Это был на редкость реалистический портрет многомиллионного «адресата» сталинского приказа:

Шел он, серый, бородатый,
И, цепляясь за порог,
Заходил в любую хату,
Словно чем-то виноватый
Перед ней. А что он мог!

Герой книги — сам из тех, кто «дорогою постылой» отступления прошел «в просоленной гимнастерке сотни верст земли родной».

Вышло так, что, нимало не задаваясь этой целью (тем более что начал писать «Тёркина» до приказа), поэт, в сущности, вступал в полемику с ним. Много позже, уже на пороге победы, Твардовский вновь припомнит злоключения рядового бойца в первые годы войны:

Приходилось парню драпать,
Бодрый дух всегда берег,
Повторял: «Вперед, на запад»,
Продвигаясь на восток.

Между прочим, при отходе,
Как сдавали города,
Больше вроде был он в моде,
Больше славился тогда.

И по странности, бывало,
Одному ему почет,
Так что даже генералы
Были будто бы не в счет.

Срок иной, иные даты.
Разделен издревле труд:
Города сдают солдаты,
Генералы их берут.

Вряд ли можно предполагать тут сознательный намек на давний приказ, но, даже помимо авторской воли, стрела этой горькой и гневной иронии угодила куда выше, чем непосредственно метил поэт.

К сожалению, «Василий Тёркин» долго казался части читателей, критиков да и коллег автора просто веселой и даже незатейливой историей бывалого и удачливого солдата.

Искренняя и страстная почитательница Анны Ахматовой, Лидия Чуковская горестно засвидетельствовала ее сказанные с «неприятной... презрительностью» слова: «“Тёркин”?! Ну, да, во время войны всегда нужны легкие солдатские стишки». Другую великую поэму, «Дом у дороги», она, по убеждению Лидии Корнеевны, вовсе не читала (как, думается, и большинство глав «Книги про бойца»!). В полном согласии с Ахматовой и будущий нобелевский лауреат Иосиф Бродский тоже говорил о «плясовой» «Тёркина». Что это за «легкие стишки» и «плясовая», мы уже частично видели и еще множество раз ощутим.

Да и для некоторых других литераторов и простодушных читателей новый Тёркин — чуть ли не двойник своего предшественника — Васи, лубочного персонажа, в создании которого Твардовский в финскую войну принял весьма малое участие.

Потом, как это в подобных случаях уже бывало в литературе, поэт решительно «присвоил» его и претворил совсем в другую фигуру, несравненную по глубине проникновения в судьбу и характер героя.

Вася Тёркин был «богатырь, сажень в плечах», расправлявшийся с противником запросто («врагов на штык берет, как снопы на вилы»).

Василий же — «парень сам собой... обыкновенный... Не высок, не то чтоб мал». Никаких умопомрачительных подвигов не совершает.

Однако, утратив богатырские стати, новый герой «не прогадал»: душа у него богатырская, щедрая уже не только на удалую выходку и лихое словцо, но чем

дальше, тем больше проникновенно отзывающаяся на все происходящее вокруг, или, говоря словами поэта, на «всю огромность грозных и печальных событий войны».

В послевоенной статье Твардовского «Как был написан "Василий Тёркин"» (1951) сказано: «Я недолго томился сомнениями и опасениями относительно неопределенности жанра, отсутствия первоначального плана... слабой сюжетной связанности глав между собой. Не поэма — ну и пусть себе не поэма, решил я; нет единого сюжета — пусть себе нет, не надо; нет самого начала вещи — некогда его выдумывать; не намечена кульминация и завершение всего повествования — пусть, надо писать о том, что горит, не ждет, а там видно будет, разберемся. И когда я так решил, порвав все внутренние обязательства перед условностями формы и махнув рукой на ту или иную возможную оценку литераторами этой моей работы, — мне стало весело и свободно».

Свобода — второе после правды «ключевое» слово, определившее звучание книги и ее успех у самых разных читателей.

Впоследствии Твардовский вернется к этим размышлениям:

«Каково бы ни было ее собственно литературное значение, для меня она была истинным счастьем. Она мне дала ощущение законности места художника в великой борьбе народа, ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся непринужденной форме изложения».

Не менее важно, что этой, так сказать, профессиональной свободе предшествовала и обусловливала ее свобода самого́ взгляда на жизнь (вспомним:

«О том, что знаю лучше всех на свете, /Сказать хочу. И так, как я хочу!»), страстный, самозабвенный порыв к художественному воплощению правды о войне, обо всем, что она принесла с собой, что открыла, о чем заставила задуматься.

И как знаменательно, что в самом, быть может, драгоценном для поэта отзыве на эту книгу, дошедшем до него уже после войны из парижской эмиграции, — письме одного из любимейших авторов Александра Трифоновича и чрезвычайно взыскательного судьи — звучат те же «мотивы»!

«...Я только что прочитал книгу А. Твардовского (“Василия Тёркина”), — говорится в письме Ивана Алексеевича Бунина старому другу Николаю Дмитриевичу Телешову, — и не могу удержаться — прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом, — это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова».

Вернемся еще раз к рассказу поэта о том, как он «пускался в путь»: «не поэма — ну и пусть... нет единого сюжета — пусть...» и т. д. — вплоть до «там видно будет, разберемся». Не напоминает это вам знакомое — пушкинское?

И даль свободного романа
Еще неясно различал.

Не то же ли испытал Твардовский счастливое ощущение — открывающейся впереди дали (слово, которое так же, как «переправа», или ее «муравский»

предок — «перевоз», как «память», станет потом вечным спутником его поэзии) и свободы?

Свободы небывалой, подчас трагической, сталкивающей с чем-то неведомым, неожиданным, даже озадачивающим самого поэта?

Помните, какую «штуку удрала» с Пушкиным Татьяна своим, не предусмотренным автором, поступком — выскочила замуж?

Вот и Тёркин, хотя Твардовский и предчувствовал еще в самом начале работы, что «этот парень пойдет все сложней и сложней», вдруг оборачивался такими новыми сторонами, которые и не предугадать было.

«Я порой стою, как над пропастью, — страшно и сладко думать, что еще удастся в ней («Книге про бойца». — *А. Т-в*) повысказать», — признавался поэт жене.

Василий Тёркин — подлинный, поразительно верно нарисованный русский национальный, народный характер.

Есть такая точка зрения, будто наиболее верное свидетельство народности героя — это простота, если не простоватость его натуры. Между тем, как напомнил один из исследователей творчества Твардовского, П. Выходцев, Щедрин считал необходимым для художника, изображающего людей из народа (причем речь шла еще о крепостном или только что освобожденном крестьянстве), «разглядеть то нравственное изящество, которое они в себе заключают».

И, даже знать не зная щедринского выражения, самые разные читатели «Книги про бойца» были привлечены и покорены этим постоянно и разнообразно проявляющимся свойством тёркинской натуры.



Василий Тёркин. *Рисунок художника А. Каневского*

Начать с того, что герою в высшей степени присуща именно такая любовь к родине, о которой с восхищением писал Толстой, — «...чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого» (в другом случае Лев Николаевич скажет о «скрытой теплоте патриотизма»).

Тёркин, которому не надо лезть в карман за острым словцом, не больно горазд на лирические признания или «гражданские» декларации. Громкое слово, «героическая» поза ему так же не пристали, как одежда с чужого плеча. И читатели, в особенности солдаты, это чувствуют.

Когда при вести о мнимой гибели Тёркина кто-то передает приписываемые герою предсмертные слова, эта трафаретно-патетическая фраза звучит так неправдоподобно и фальшиво, что сам рассказчик мнется:

— Говорил насчет победы,
Мол, вперед. Примерно так...

И недоверчиво выслушав эту версию, все зато с полным ощущением истинности принимают другую:

— Жаль, — сказал, — что до обеда
Я убитый, натощак.
Неизвестно, мол, ребята,
Отправляясь на тот свет,
Как там, что: без аттестата
Признают нас или нет?

Читательское, солдатское сердце чутко: если Тёркин умер — то точно так же, как жил, просто, быть может даже — с прибауткой, но уж без всякой «картинности».

Ведь они и сами такие! Девушка, запечатленная Твардовским в очерке «Костя», ответила на вопрос

о причине ее патриотического поступка чисто по-тёркински:

«— Первое время я была санитаркой, а потом... запросилась в спецшколу — захотела к партизанам. А то на фронте — и убьют, не увидишь, кто в тебя стрелял...

И она опять засмеялась, словно желая отстранить всякое предположение об особых, высших мотивах ее желания попасть к партизанам и свести все к причуде».

На чрезвычайно жестокой войне и герой, и читатель, да и сам автор — ровня друг другу, почти родня:

Ветер злой навстречу пышет,
Жизнь, как веточку, колышет,
Каждый день и час грозя.
Кто доскажет, кто дослышит —
Угадать вперед нельзя.

Этим, в частности, определялась такая особенность «Книги про бойца», как стремление к известной законченности каждой отдельной части, главы: как пояснял автор, воюющий читатель «мог и не дождаться... следующей...».

Тёркинскому поведению в этих грозных обстоятельствах свойственна поистине «неслыханная простота» (если воспользоваться словами другого поэта), совершенное отсутствие какой-либо мысли о производимом впечатлении или о том, что совершенное тобой может остаться никому не известным:

Не затем на смерть идешь,
Чтобы кто-нибудь увидел.
Хорошо б. А нет — ну что ж...

Эта драматическая обстановка может внезапно разрядиться озорной, довольно забористой сценкой.

Вот среди наступающих упал снаряд, все — и Тёркин тоже — ничком в снег. Смерть буквально — в двух шагах, жизнь — на волоске. А снаряд все не рвется, томит душу, и эта оторопь страшит, парализует.

И вдруг:

Тёркин встал, такой ли ухарь,
Отряхнулся, принял вид:
— Хватит, хлопцы, землю нюхать.
Не годится, — говорит.

Сам стоит с воронкой рядом
И у хлопцев на виду,
Обратясь к тому снаряду,
Справил малую нужду...

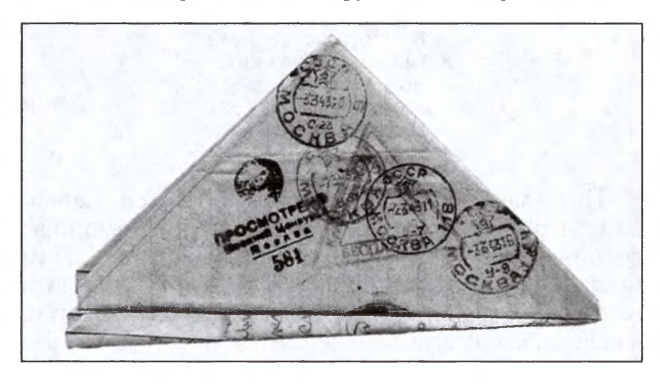
Вряд ли этот дерзкий вызов смерти мог быть занесен на чопорные скрижали истории, но его столь «несолидное» величие и озорное обаяние — совершенно в духе солдатских соленых баек, устных народных преданий, от которых веет силой и жизнерадостностью.

А на другом «полюсе» повествования, в сáмой «дали свободного романа» возникает высочайшего драматического накала поединок Тёркина со Смертью, в котором этот, недавно выглядевший этаким «сорвиголовой», герой подымается во весь свой подлинный рост.

Короткими, как бы через силу произносимыми фразами (словно последними оставшимися пулями) отбивается тяжело раненный воин от Смерти, отталкивая ее слабеющей рукой, вырываясь из тягучих словесных тенет, которые плетет страшный вкрадчивый голос, сливающийся с воем вьюги, уже, кажется, заживо погребающей героя:

Иллюстрация к главе «Смерть и Воин» из «Книги про бойца».
Рисунок художника О. Верейского

Фронтовое письмо-треугольник –
из множества приходящих автору «Василия Тёркина»



Все равно идешь на убыль, —
Смерть подвинулась к плечу, —
Все равно стянулись губы,
Стынут зубы...
— Не хочу.

— А смотри-ка, дело к ночи,
На мороз горит заря.
Я к тому, чтоб мне короче
И тебе не мерзнуть зря...
— Потерплю.

Притворно-ласковые, лицемерно-жалостливые уговоры наталкиваются на отчаянное сопротивление человека, который, по сути дела, «и не жил-то еще», как в ту пору многие из нас.

Смерть коварна! Она вроде бы и правду говорит, улещая солдата сменить на вечный покой его трудную нынешнюю жизнь и явно не сладкое будущее. Она жестоко понуждает его пристальнее вглядеться в то, что еще скрыто за неопределенно-манящим понятием «после войны», — и отнимает обманчивую надежду на мирный отдых:

Догола земля раздета
И разграблена, учти.
Все в забросе.
— Я работник.
Я бы дома в дело вник...
— Дом разрушен.
— Я и плотник...
— Печки нету.
— И печник...

Не сумев застращать воина и на сей манер, Смерть рисует картину его возвращения домой калекой, который не то что ближним — «сам себе и то постыл». И лишь эта, впрямь ужасная угроза стать обузой для других в тягостной и без того жизни чуть не сломила солдата.

Но о чем же он теперь пытается уговориться со Смертью, чтó говорит — без малейшей надежды, «чтобы кто-нибудь увидел», услышал, запомнил?

— Я не худший и не лучший,
Что погибну на войне.
Но в конце ее, послушай,
Дашь ты на день отпуск мне?
Дашь ты мне в тот день последний,
В праздник славы мировой,
Услыхать салют победный,
Что раздастся над Москвой?
Дашь ты мне в тот день немножко
Погулять среди живых?
Дашь ты мне в одно окошко
Постучать в краях родных?

Он словно сам стесняется, стыдится этой просьбы, торопясь признать, что, дескать, ровно ничем не заслужил особого, отдельного от других погибших, жребия. Но ему так хочется мокрыми от счастливых слез глазами увидеть этот первый мирный день, немножко — как с просительной робостью тут же спешит он добавить — побыть с живыми и, наконец, прийти на горькое, сладкое, секундное свидание.

И как выйдут на крылечко,
Смерть, а Смерть, еще мне там
Дашь сказать одно словечко?
Полсловечка?

Так и видишь, как моляще вглядывается Тёркин в бесстрастное лицо Костлявой и, предугадывая отказ, торопится согласиться на сущую малость — «полсловечка»...

В начале книги, при появлении главного героя в новой для него роте и вскоре после первых же сказанных им — таких «тёркинских» слов, —

Смерть и Тёркин

В снежном поле на пригорке,
Одинок и слаб и мал,
На снегу Василий Тёркин
Неподобранный лежал.

~~Голый ствол березы белой,
Обезглавленной огнем,
[illegible] / так похоже,
Под откосом — кверху дном —
Снеговых [illegible]
И [illegible] развилок,
[illegible] земли, —
Все [illegible] было [illegible],
Бой ушел уже далеко...~~

Кровь ~~[illegible]~~ давно застыла коркой,
Отходила боль и страх...
И в тоске почуял ~~[illegible]~~ Тёркин:
Смерть ~~[illegible]~~ / присела в головах.

~~[illegible]~~

И смекнул, что дело худо,
Чуть повел он головой:
— ~~Уходи ты~~, Смерть, голуба,
Я солдат еще живой.

Рукопись первого варианта главы «Смерть и Воин»

«Свой?» — бойцы между собой, —
«Свой!» — переглянулись.

Так произошло и после сентябрьской публикации начальных глав «Книги про бойца» еще даже не в «большой» прессе, а во фронтовой газете «Красноармейская правда», где стал работать автор, и в журнале «Красноармеец».

Отклики начали поступать сразу.

«Первое чувство, какое вызывает поэма Твардовского, — радость.

Радость — потому, что совсем неожиданно появился у тебя и у твоих фронтовых товарищей единственный в своем роде, неунывающий, простой и верный друг. Он будет надежным, милым спутником на трудных дорогах войны» — так начиналась появившаяся уже 8 октября 1942 года в газете «Литература и искусство» статья «Образ русского воина».

«Поэма Твардовского покоряет своей естественностью, глубочайшей правдивостью, честностью и простотой... Прочитайте поэму, — взволнованно продолжал критик Даниил Данин. — Перед вами предстанет живая душа воюющего народа».

И, охарактеризовав Тёркина как «храбреца без позы... философа без хитроумия», смело — и прозорливо! — заключал: «Твардовский создал неумирающего героя».

Особенно же дóроги были поэту всё умножавшиеся незабвенные треугольнички солдатских писем, порой наивных, но сердечных и трогательных:

«По литературной незрелости нам трудно описать впечатление, оставленное поэмой, но мы хотим сказать, что Вы своей цели добились вполне. “Василий Тёркин” зовет вперед, воодушевляет нас... За

нашу критику неопытную просим извинить, но поверьте, что она искренна» (28 сентября. Обратный адрес — полевая почта 335.589);

«Ваша поэма стала событием в жизни нашей части. С нетерпением ожидают бойцы и командиры прибытие газеты с новыми главами... Тёркин стал нашим любимцем» (4 октября, п/почта 1773);

«Я получил от Вас точно какую-то награду... Конечно, Ваш Василий Тёркин куда лучше того, который появился в финскую кампанию...» (12 октября, п/п 812).

И это были еще первые капли, струйки того эпистолярного потока, который будет теперь долгие годы устремляться к поэту.

Десятки лет спустя Твардовский вклеит в свою рабочую тетрадь (и понятно, с каким чувством!) безыскусное, почти без знаков препинания, письмо, начинающееся словами: «*Дорогой мой* Александр Трифонович, я солдат прошел всю отечественную войну читаю ваше произведение *люблю вас как душу свою* (курсив мой. — *А. Т-в)*» и подписанное: «Солдат Беликов Николай Федорович».

А в трагические для поэта февральские дни 1970 года, о которых речь далеко впереди, один былой фронтовик повинится перед Александром Трифоновичем, что «в долгу» перед ним: не написал раньше об одном эпизоде последних недель войны, связанном с героем книги, который «пришел на выручку» в трудный час. И подпишется: «Ваш Д. Белкин, навсегда солдат из роты Тёркина!»

Однако между этой высочайшей читательской, а по существу — народной, и официальной оценками существовал явный, порой резко обозначавшийся зазор.

Писательница Маргарита Алигер вспоминала,

как всё в том же сорок втором встретила в Москве Твардовского, который привез тёркинские главы:

«Через два-три дня позвонил и спросил, не приду ли я послушать его в ЦК комсомола.

— Там и обсуждение будет... — как-то невесело добавил Твардовский, и мне показалось, что он чего-то недоговорил, замялся и оборвал разговор.

Случилось так, что я пришла на читку в последнюю минуту, когда все уже заняли места и приготовились слушать. На ходу успела поздороваться с Твардовским, и снова мне на какое-то мгновение показалось, словно он что-то хочет мне сказать, но почему-то не говорит. Впрочем, и возможности не было, он уже садился к столу и листал страницы рукописи, готовясь начать чтение.

На меня произвели огромное впечатление прочитанные им главы, — я запомнила главу о воде ("От автора"), "Гармонь", один из первых вариантов "Переправы".

Но аудитория приняла его сдержанно, обсуждение началось кисловато-вяло. Удивленная, я тут же попросила слова и произнесла весьма горячую, я бы даже сказала, счастливую речь, — очень уж мне понравилось услышанное. Раза два встретившись взглядом с Твардовским, я заметила, что он словно бы сдерживает улыбку. Впрочем, наверно, мне просто показалось... После моей речи разговор стал заметно живее, и так как я хвалила стихи безоговорочно, всем приходилось от этого отталкиваться, и обсуждение пошло явно по восходящей. И все-таки некое необъяснимое сопротивление я определенно ощущала.

— Погодите чуть-чуть, — сказал он, когда я подошла к нему проститься.

Но его тут же окружили и куда-то увели, а я отправилась домой... Был уже вечер, зимний, ранний,

долгий. И вдруг зазвонил телефон. Это был Твардовский.

— Вы дома? Замечательно! Нельзя ли к вам приехать? — спросил он сразу.

...Оказалось, что смутные ощущения не обманули меня. Кому-то что-то не понравилось в его тёркинских главах, — а может быть, и не в них, а в нем самом, — и обсуждение было задумано как разнос. Приглашая меня, он хотел рассказать о такой возможности и даже попросить, если главы понравятся, выступить — он ведь понимал, как я отношусь к нему как поэту. Но в последний момент раздумал — уж больно мы мало знакомы — и решил все предоставить естественному ходу событий.

— Однако же не ошибся! — веселился он. — Вы ведь им всю музыку испортили! Поперек дороги легли! И хорошо, что я вас ни о чем не упредил, что вы сами...»

Этот случай был не единственным. Книгу уже начали публиковать — и не только в военной, но и в центральной печати, даже в «Правде», уже замечательно читал по радио ее главы актер Дмитрий Николаевич Орлов, справедливо считавший это событием в своей жизни; уже, как с радостью и гордостью писал поэт жене, была книга «явно принята разнообразным читателем» и запланирована к изданию...

И вдруг возникла, по выражению Твардовского, «какая-то противнейшая возня» вокруг нее, и было непонятно, чем дело кончится. «Ходят какие-то слухи, что в Политуправлении (Красной армии. — *А. Т-в*) говорят о том, что в ЦК (а не в ПУ) читают поэму, имеют замечания. Все так глупо и обидно, что во мне все клокочет. Я вынужден действовать, стучаться куда-то, хлопотать, — о чем — неизвестно» (из письма жене от 20—21 ноября 1942 года).

Слава Богу, обошлось, как говорится, малой кровью. Вызвали в ЦК, сказали, что книга очень одобрена и будет издана двухмиллионным тиражом, но — есть «пожелания» (это слово поэт в письме жене иронически подчеркнул).

В одном случае, «“дескать, получается, что у нас народ очень трудно жил до войны”, в другом — “мол, слишком безнадежно” (это по адресу строк: “Многих наших нет в живых, что ж, и нас не будет...”)» и т. п.

«...Я не придумал ничего лучшего сделать, — писал поэт, — как только изъять хирургически... А местечек-то жалко».

Ларчик открывался просто. Самого Твардовского безмерно радовал «честный, бездирективный» успех «Тёркина», но было кому от этого «незапланированного» успеха свободного романа бдительно насторожиться.

«...Самая большая моя провинность, — писал поэт месяц спустя, — что я “без ведома” и “указаний” пишу эту книгу. Нужно быть готовому ко многим мелким и не очень мелким неприятностям».

Они и замаячили.

От поэта продолжали требовать, по его выражению, «“календарно-юбилейных всплесков поэзии”. “Новогодняя глава” не пошла нигде — ни в моей “Красноармейской правде”, ни в “Комсомолке”, где у меня ее выпрашивали целый месяц, — извещал Твардовский Марию Илларионовну 15 января 1943-го, — ибо она не была, по их понятиям, “Новогодней”, не говорила о том, что в этом году мы добьемся (надо понимать, новых побед, если даже не окончательной. — *А. Т-в*), будем и т. д. и т. п.» (речь шла о «простой» главе «Тёркин — Тёркин»).

Недовольные «заказчики» организовали было в редакции «Комсомолки» чтение главы, нацеленное

на последующий разгром, однако оно обернулось восторгом непредубежденных слушателей.

И все же, как сообщал поэт жене, «по-прежнему радости мешаются с огорчениями»: «Днями я получил новую порцию... в связи с "указаниями" по моей книге. Три дня ходил как больной».

В ЦК предлагали очередные сокращения, даже дружески настроенный по отношению к автору и его детищу Фадеев вдруг заговаривал, что книга «нуждается в критике». «В эфире полное отсутствие твоих стихов», — замечала и жена.

Всё это даром не проходило. «Трудно писать, то и дело озираясь на строчки, которые "могут быть поняты не так", — жалуется поэт «Машеньке». — Я уже боюсь, что начинаю следить за собой...» (Не здесь ли впервые возникает зловещая тень своего собственного, внутреннего редактора, который будет яростно описан и изобличен в послевоенной книге «За далью — даль»?)

Твардовский вынужден был обратиться на самый «верх» — к Маленкову.

«На "Тёркина", — писал он, — пала тень неизвестного, но столь авторитетного осуждения, что он был вдруг запрещен к передаче по радио, вычеркнут из плана издания в Воениздате, и журналы, обращаясь ко мне за стихами, стали просить "что-нибудь не из Тёркина". Редактор фронтовой газеты, где я работаю и где Тёркин печатался по мере написания новых глав, попросту сказал мне: "Кончай".

Понятно, окончить книгу независимо от собственного моего плана я не мог. Я продолжал работать, но печатать новые главы было все труднее».

«Зловещий шум и толки» сопровождали как раз лучшие страницы книги, например, главу «Смерть и Воин». Вообще всякие упоминания о потерях, гибели,

убитых встречались в штыки и нередко изымались при публикации. Мария Илларионовна саркастически вспоминала, что «с точки зрения военной редакции, советская армия представляла собой в полном смысле слова коллектив бессмертных бойцов».

Публикация новых глав стопорилась, чтение по радио обрывалось, и само имя автора исчезало из статей и докладов того времени о поэзии. Видный партийный деятель Щербаков, тот самый, кто некогда докладывал Сталину о появлении нового имени — Твардовского, теперь вообще «спустил указание» кончать «затянувшуюся» книгу, и фронтовой начальник поэта, как попугай, повторял его.

В это трудное время огромнейшее значение для поэта имела неизменная поддержка Марии Илларионовны. То была, действительно, как сказано в «Книге про бойца», «та любовь, что вправе ободрить, предостеречь, осудить, прославить». Жена не только хвалила автора за «озорство», по ее выражению, с каким он гнул свою линию, но прямо высказывала в письмах появлявшиеся у нее сомнения и опасения по поводу происходившего или только намечавшегося «сбоя» в сюжете, а иное даже подсказывала, но весьма деликатно, нимало не навязывая своего мнения. «Если у тебя планы другие — следуй им. И не смущайся тем, что читатель у тебя на кухне сидит. Ну так что ж? Этот читатель должен понимать, что в дыму походного костра, конечно, легче испечь картошку, нежели пирог, например», — умно и весело заключает Мария Илларионовна одно из своих серьезных раздумий над очередными главами «Книги про бойца» и наметками дальнейшего повествования. А между тем дорогого стоят одни только ее размышления о неизбежности и плодотворности назревшей эволюции главного героя книги: «...По-

умнеть он должен, как другие за 10—20 лет. Поумнеть, внутренне подтянуться, посуроветь, поугрюметь, может быть, — словом, он тот же, да не тот».

«Смерть и Воин» — кульминация книги, ее вершина, горный перевал, с которого уже открывается новая даль — дорога к победе.

Конечно, она потребует нового напряжения сил. Твардовский писал Исаковскому, что происходящее в ознаменованном многочисленными успехами 1944-м «по внешним признакам передвижения, усталости и т. п. ...напоминает первое лето, только по существу все совсем иное». «Я счастлив, что своими глазами вижу этот заключительный этап того, что так перегрузило мою душу в своем начале».

Да, все иное! Давняя, зимняя переправа, описанная в знаменитой главе, была полна трагизма: в «глухой ночи» «люди теплые, живые шли на дно, на дно, на дно...». Нынешняя же, через Днепр, освещена поднимающимся солнцем, а вместо темного «неподступного» леса, хранившего недоброе, угрожающее молчание:

...ребятам берег правый
Свесил на воду кусты.

Подплывай, хватай за гриву,
Словно доброго коня.
Передышка под обрывом
И защита от огня.

Роли изменились, и вражеские солдаты с лихвой расплачиваются по давнему счету:

А на левом с ходу, с ходу
Подоспевшие штыки
Их толкали в воду, в воду,
А вода себе теки...

В чем мать родила, шатаясь от усталости, губами шевельнуть не в силах, представал перед нами переплывший морозную реку Тёркин, — но не был он жалок, он не спасался, а воевал. И какой же контраст с ним составляет принявший вконец отрезвившую его днепровскую «ванну» гитлеровец:

К штабу на берег восточный
Плелся стежкой, стороной
Некий немец беспорточный,
Веселя народ честной.

— С переправы?
— С переправы.
Только-только из Днепра.
— Плавал, значит?
— Плавал, дьявол,
Потому — пришла жара...
— Сытый, черт!
Чистопородный.
— В плен спешит, как на привал...

Однако поэт оставался верен «правде сущей» и зло высмеивал мифические картины легких побед, например в главе «Бой в болоте»:

Заключить теперь нельзя ли,
Что, мол, горе не беда,
Что ребята встали, взяли
Деревушку без труда?

Что с удачей постоянной
Тёркин подвиг совершил:
Русской ложкой деревянной
Восемь фрицев уложил?

Нет, товарищ, скажем прямо:
Был он долог до тоски,
Летний бой за этот самый
Населенный пункт Борки.

При долгожданном форсировании Днепра совсем не исключен трагический исход:

И еще в разгаре боя
Нынче, может быть, вот-вот
Вместе с берегом, с землею
Будет в воду сброшен взвод.

(«А вода себе теки...» — жестко подсказывает нам память...)

Но даже несмотря на то, что все обошлось, «любимец взводный» Тёркин не склонен к веселым шуткам. Совсем другие слова у него на устах:

— Мать-земля моя родная,
Ради радостного дня
Ты прости, за что — не знаю,
Только ты прости меня!..

С этим, как предсказывала жена поэта, поугрюмевшим Тёркиным, который теперь куда больше «знал и видел, потерял и уберег», читатель (да и не сам ли автор) действительно встречается «наново».

«Я тот самый, не иной»? Так ли?

Он и прежде говорил такому же солдату, как сам: «Мы с тобой за все в ответе...» И пояснял: «За Россию, за народ и за все на свете».

Но теперь он просит у родины прощения — и вряд ли только за то, в чем корил армию приказ № 227. Он еще не знает, за что.

Может, за то, что «загнул такого крюку» и «прошел такую даль», пока ощутил свою вину? И в чем? В том, что творили с деревней, страной, людьми?

А жизнь подкидывает новые вопросы. Как ни радовался Твардовский близящейся победе, он попрежнему всем сердцем болеет за простого бойца. В середине 1943 года поэт писал жене: «Солдат сейчас не в моде. Он должен занять подобающее ему место. Это все трудно объяснить, но это все так примерно и еще хуже, и об этом не хочется».

Это была пора, когда, ощутив победный перелом в войне, вождь уже заметно поворачивался спиной к тем «братьям и сестрам», к кому взывал в первые, страшные недели. Все должны знать свое подобающее место.

Возвещенное революцией равенство, уже во многом фиктивное, стало отмирать — и в обществе, и в армии. Людям «надлежало» расслаиваться. Тем, кто был слоем выше, — это понравилось.

Поэту, однако, «подобающее место» виделось иным — высоким. Быть может, в главе «Про солдата-сироту» он имел в виду не только конкретную горькую судьбу человека, потерявшего семью и дом (сюжет другой поэмы — «Дом у дороги»), но и новый солдатский «статус». И он настойчиво повторял, что именно рядовой боец — это главный герой и мученик войны: «...должны мы помнить о его слезе святой... И за той большой страдой / Не забудемте, ребята, / Вспомним к счету про солдата, / Что остался сиротой... Но и в светлый день победы / Вспомним, братцы, за беседой / Про солдата-сироту»...

Между тем и на самого Тёркина посматривали косо, а то и сверху вниз. Происхождение героя считали жанрово «низким», «шутейным», в нем видели совершенно статичную фигуру, в книге же — «иллюстративность», серию газетных фельетонов, лубок.

Слышались упреки (или обвинения?) в том, что Тёркин совершенно традиционен, не современен, лишен характерных черт советского человека, недостаточно «передовой», а то и вовсе отсталый[1].

---

[1] «Что же касается “Василия Тёркина”, то это произведение могло бы относиться и ко всякой другой войне — нет здесь особенностей нашей войны» (*Асеев Н.* О чувстве нового // Литература и искусство. 1943. 3 апреля). «Новых черт советского человека» не увидел в герое Твардовского Николай

Помимо того, что в конкретных политических условиях подобные упреки порой попахивали доносцем, поражает полнейшая глухота тёркинских «судей» к его, порожденной реальным временем, свободной, раскованной речи, абсолютной естественности, с которой в ней иной раз возникает слово именно тех лет, используемое совершенно свободно, а то и не без улыбчивых оговорок, избавляющих его от идеологической прямолинейности («Я ж как более идейный был там как бы политрук»).

И какой же это «вневременной» персонаж «всех войн и времен» (Ф. Гладков), если его мысли и чувства предельно близки автору, человеку той же эпохи, с теми же заботами и болью?!

В цитированной выше главе «О себе» на этот счет даже происходит некое задорное объяснение поэта с читателем, который, дескать, скажет:

— Где же про героя?
Это больше про себя.

Про себя? Упрек уместный,
Может быть, меня пресек,
Но давайте скажем честно:
Что ж, а я не человек?

...И заметь, коль не заметил,
Что и Тёркин, мой герой,
За меня гласит порой.

Да не за автора ли говорил и внезапно объявившийся «двойник» героя, когда весело отводил упрек Тёркина, почему он не Василий, а Иван:

Тихонов (Отечественная война и советская литература // Новый мир. 1944. № 1—2), а позже и Федор Гладков: «...Изображаются как будто советские люди, а перед читателем сермяжные мужички чересполосной России» (Там же. 1945. № 4).

И уже с усмешкой глядя,
Тот ответил моему:
— Ты пойми, что рифмы ради
Можно вставить и Фому.

Это ядовитая характеристика публиковавшегося тогда в военной печати «Заветного слова Фомы Смыслова» Семена Кирсанова, пытавшегося возместить бедность содержания затейливой рифмовкой.

И снова тут приходит на память пушкинский свободный роман, изобилующий острыми мимолетными замечаниями по адресу собратьев. Так и в «Тёркине» автор порой позволяет себе бегло набросать некий литературный «пейзаж»:

Вот уж нынче повелось:
Рыбаку лишь о путине,
Печнику дудят о глине,
Леснику о древесине,
Хлебопеку о квашне,
Коновалу о коне,
А бойцу ли, генералу —
Не иначе — о войне.

И погодите: то ли еще будет в послевоенных книгах «За далью — даль» и «Тёркин на том свете»!

Твардовский однажды сказал, что наследие Пушкина «всегда рядом с нами и *в нас самих*» (курсив мой. — *А. Т-в*).

Когда «сплав» такой высокой традиции с талантом «наследника» по-настоящему органичен, это прекрасно... и в то же время представляет немалые трудности для исследователя, аналитика.

Тем не менее рискну сказать, что порой почитавшийся чуть ли не агитационным лубком «Василий Тёркин» не только по характеру названия схож с «Евгением Онегиным». Онегинские «нотки» в «Книге про бойца» расслышали чуткие критики, на-

пример Н. Вильмонт в «Заметках о поэзии А. Твардовского» (Знамя. 1946. № 11—12. С. 107).

Конечно, то «чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся непринужденной форме изложения», которое испытал Твардовский в этой своей работе, в первую очередь было порождено совершенно особыми обстоятельствами времени, необычайным духовным подъемом автора и неповторимой близостью его души душе народа в годы трагических испытаний.

И все же в этом тяготении поэта — если позволительно так выразиться — к богатству жанров внутри «Книги про бойца» (сам он именовал ее «моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю») не могло быть у него иного образчика, чем «летучий» онегинский стих с небывалой дотоле свободой и естественностью переходов от темы к теме, с максимальной реализацией тех заложенных в родной речи качеств, которые чрезвычайно удачно охарактеризовал Михаил Пришвин: «...чудесные коленца русской речи, повороты ее от грусти к простодушно-смешному и внезапный взлет на высоту человеческой мудрости».

Когда я обратил внимание Александра Трифоновича на вышеуказанную параллель между двумя переправами, он после некоторого раздумья ответил примерно так: «Наверное, вы правы. Но как хорошо, что я сам тогда этого не заметил, а то стал бы "нажимать" на это сходство — и испортил!»

Так и «ориентировка» на «Онегина», о которой шла речь, была скорее подсознательной (вот оно — пушкинское наследие «в нас самих»!), и, создавая главы «От автора», Твардовский прямо их не соотносил с лирическими отступлениями в великом

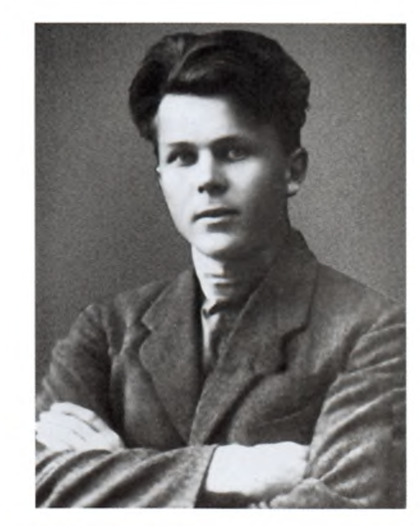


А. Твардовский



Александр Твардовский. *1927 г.*

Семья Твардовских: мать поэта Мария Митрофановна, Александр, Иван, отец Трифон Гордеевич с дочерью Анной, Константин. *1916 г.*



А. Твардовский: «Около двух-трех лет – я член Ассоциации пролетарских писателей... Я этим теперь живу». *1930 г.*

Молодые смоленские литераторы: Александр Гитович, Александр Твардовский, Михаил Исаковский. *1929 г.*





Во время войны. *1942 г.*



Мария Илларионовна
с дочерью Олей в эвакуации

Твардовский (сидит второй слева) с преподавателями
и студентами первого выпуска МИФЛИ. *1939 г.*

После выхода
из окружения
под Каневом.
«Не в письме
рассказывать
о том,
что довелось
видеть...»
*(жене,
9 октября 1941 г.)*



Писатели на фронте:
И. Френкель,
А. Твардовский,
В. Гроссман,
В. Кожевников,
С. Голованивский,
М. Матусовский.
1941 г.



Здесь был его
родной дом...
Загорье. 1943 г.

Встреча с земляками в дни освобождения Загорья.
Сентябрь 1943 г.

В гостях у Алексея Толстого: Н. Тихонов, С. Щипачёв, А. Толстой, А. Твардовский, М. Исаковский, А. Сурков.
Май 1944 г.





Александр Твардовский с художником Орестом Верейским (слева) и поэтом Василием Глотовым, послужившим прототипом Тёркина для рисунка Верейского. *1944 г.*



Василий Тёркин. *Рисунок О. Верейского*

Мария
Илларионовна,
дорогая Машенька



Поэт с дочерьми
Ольгой
и Валентиной.
1946 г.





Александр Твардовский и Илья Эренбург (справа). *Варшава. 1947 г.*

С Александром Фадеевым (слева)





Советские поэты в Италии. При возложении венка на могилу Данте: Н. Заболоцкий, В. Инбер, С. Смирнов, А. Прокофьев, Л. Мартынов, Б. Слуцкий, А. Твардовский. *1957 г.*

Александр Твардовский (справа) и Алексей Сурков с Юрием Гагариным. *1961 г.*



А. Твардовский
и Евг. Евтушенко
встречают
американского
поэта
Роберта Фроста
(в центре).
1962 г.



Поэт и власть.
Беседа
с Никитой
Сергеевичем
Хрущёвым.
1963 г.

На встрече
с читателями
«Нового мира»
в Ленинграде:
Ольга Берггольц,
Александр
Твардовский,
Владимир
Лакшин.
1964 г.





Поэт и воин.
С Маршалом
Советского Союза
Георгием Жуковым.
1965 г.

В редакции журнала «Новый мир». *1966 г.*

Александр Твардовский и Константин Симонов в Красной Пахре. *1968 г.*



Редколлегия «Нового мира». Сидят: Б. Закс, А. Дементьев, А. Твардовский, А. Кондратович, А. Марьямов; стоят: М. Хитров, В. Лакшин, Е. Дорош, И. Виноградов, И. Сац.
Февраль 1970 г.



Александр Твардовский.
1970 г.



Александр Твардовский и Василий Тёркин в бронзе.
Скульптурная композиция А. Г. Сергеева. Смоленск. 1995 г.

романе (наверное, просто испуганно шарахнулся бы от самой мысли об этом), как, расставаясь в последней главе с Тёркиным, не оглядывался на прощальные строфы «Онегина».

И все же в этой главе Пушкин прямо «присутствует»! Первые строки, запев ее — цитата из «Песен западных славян» («7. Похоронная песня Иакинфа Маглановича»):

Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.

Слова эти как будто родились только что, как вздох после долгого пути, или вечно таились в глубине души...

За ними — прощание с пережитыми годами, с любимой книгой, с Тёркиным, с которым автор намерен расстаться совершенно «по-пушкински»:

И здесь героя моего...
. . . .
Читатель, мы теперь оставим,
Надолго... навсегда.

(«Евгений Онегин»)

(Любопытно, кстати, что в известном «Ответе читателям "Василия Тёркина"» Твардовский точно так же отказывался от «легкой» задачи следовать по уже накатанной колее, как Пушкин в неоконченных стихах — «оставленный роман [наш] продолжать», вставляя «в просторную, вместительную раму картины новые...».)

И не предваряют ли пушкинские строки, взятые из «Похоронной песни Иакинфа Маглановича», мощное развитие темы — если не новой, то, во всяком случае, по необходимости до поры откладывавшейся («И забыто — не забыто...»), а затем получившей изумительное по проникновенности и

художественной силе выражение в таких стихотворениях, как «Я убит подо Ржевом», «В тот день, когда окончилась война», «Я знаю, никакой моей вины...»?

И они, и «Дом у дороги» в совсем иных, разумеется, исторических условиях исполняли благородный пушкинский завет — пробуждать «чувства добрые» и «милость к падшим призывать».

Книга, в центре которой один герой, пусть на диво притягательный и наделенный едва ли не всем лучшим, что есть в народном характере, как будто предвещавший далекое будущее — улыбку и удаль Гагарина с его знаменитым: «Поехали!», — густо населена и другими людьми, изображенными с разной степенью обстоятельности, но неизменно выражающими какую-либо существенную черту народной судьбы, будь это традиционные дед и баба, или командир, погибающий с возгласом, который войдет в легенду: «Вперед, ребята! Я не ранен, я — убит!», или возвращающаяся из вражеского полона «труженица-мать», которая «щурится от слез» счастливой встречи со своими и от «белого цвета родных берез».

Книга словно хочет вобрать в себя все эти судьбы, — всех, с кем делили тягостную годину, и сама строфика ее порой претерпевает внезапные метаморфозы, как будто обычным четверостишиям не под силу вместить это половодье чувств, величание-поминание «всех друзей поры военной»:

Вспомним с нами отступавших,
Воевавших год иль час,
Павших, без вести пропавших,
С кем видались мы хоть раз,
Провожавших, вновь встречавших,
Нам попить воды подавших,
Помолившихся за нас.

«Легкие стишки», бойкая разговорная речь соседствуют в книге с мощными, суровыми, скорбными аккордами (вспомните: «Переправа, переправа...»!) или с раздольной кантиленой (только что приведенное «Вспомним...»).

Есть в этой поэтической симфонии свои «скерцо», сменяющие напряженную патетику предшествующих глав (так, после «Смерти и Воина» идет шутливое письмо раненого Тёркина в «родную» роту) или даже элегические «адажио».

В главе «О себе» поэт вспоминает родные места:

Лес — ни пулей, ни осколком
Не пораненный ничуть,
Не порубленный без толку,
Без порядку, как-нибудь;
Не корчеванный фугасом,
Не поваленный огнем,
Хламом гильз, жестянок, касок
Не заваленный кругом;
Блиндажами не изрытый,
Не обкуренный зимой,
Ни своими не обжитый,
Ни чужими под землей.

Здесь картина мирной природы как бы постепенно проступает сквозь дикий пейзаж войны и поначалу прекрасна уже тем, что в ней нет никаких следов яростного побоища. Но потом она воскресает во всех своих красках:

Полдень раннего июня
Был в лесу, и каждый лист,
Полный, радостный и юный,
Был горяч, но свеж и чист.
Лист к листу, листом прикрытый,
В сборе лиственном густом
Пересчитанный, промытый
Первым за лето дождем.

И в глуши родной, ветвистой,
И в тиши дневной, лесной
Молодой, густой, смолистый,
Золотой держался зной.
И в спокойной чаще хвойной
У земли мешался он
С муравьиным духом винным
И пьянил, склоняя в сон.

Здесь каждая строка как бы многократно перекликается, «перезванивается» с другими, любой звук рождает отзвук, все звенит, как звонкий, «золотой» зной летнего леса.

В первой строфе одинаково звучат даже начала строк (полдень — полный, был — был), а в какой-то степени и «середки» (раннего — радостный). Своя инструментовка есть и во второй строфе. А в заключение — целый ливень созвучий: глуши — тиши, родной — дневной — лесной, молодой — густой — золотой, спокойной — хвойной, муравьиным — винным.

И в истоме птицы смолкли...
Светлой каплею смола
По коре нагретой елки,
Как слеза во сне, текла...

Есть какая-то удивительная гармония между неторопливым движением больших синтаксических периодов («Лес — ни пулей, ни осколком» и т. д.) и зрительным образом медленно тянущейся смоляной капельки. И само сравнение ее со слезой во сне явилось вполне естественно, потому что вся эта картина — «детства сон, что сердцу свят», приснившийся на недолгом привале (а впереди — «Бой в болоте»!) и до сладостной боли сжавший сердце.

Мы уже упоминали, что слово, которое чаще всего слышишь, когда заходит речь о поэзии Твардовского, — это простота. Одни произносят его с наивным убеждением, что какое-либо художественное мастерство не столь уж необходимо. Другие же — с долей снисходительности к якобы «нутряной», чуть ли не даром дающейся простоте.

Однако Николай Асеев еще в «Стране Муравии» признал высокую культуру стиха, а Борис Пастернак считал «Тёркина» «чудом растворения поэта в народной стихии».

Действительно, для автора «Книги про бойца», кажется, нет ничего невозможного, ему подвластны самые разнообразные средства художественного выражения. При этом он употребляет их «в дело» настолько экономно и гармонично, что у читателей возникает обманчивое ощущение крайней легкости и совершенной простоты.

Вспомним давние слова Анатоля Франса:

«...Существуют стили, кажущиеся простыми, и... как раз им-то, вероятно, присущи молодость и долговременность. Остается только установить, откуда у них эта счастливая видимость. И тут, конечно, приходит в голову, что они обязаны ею не недостаточному разнообразию элементов, а тому, что они представляют собой целое, все составляющие части которого до такой степени прочно слились, что их уже не различить. Короче говоря, простой стиль — как тот луч, который падает через окно, пока я это пишу, и ясный свет которого объясняется полнейшим слиянием составляющих его семи цветов. Простой стиль подобен белому свету. Он сложен, но не выдает своей сложности» («Сад Эпикура»).

Лучше не скажешь!

Идут поистине роковые месяцы войны.

«Судьба всех нас, всей страны еще никогда, даже в прошлом году не была так *условна* (курсив мой. — *А. Т-в*), — писал Александр Трифонович жене 30 июля 1942 года из Москвы, с трудом приискивая слово, способное передать всю отчаянность положения на фронте. — Если бы ты могла представить себе, в кругу каких мыслей мы живем здесь. Не буду говорить даже в письме с оказией...»

Датированные тем же днем записки начальника гитлеровского Генерального штаба Гальдера звучали чуть ли не как победные литавры: «Противник отходит перед войсками 17-й армии (на юге. — *А. Т-в*) по всему фронту, а на восточном крыле (1-я танковая армия) обратился в беспорядочное бегство».

Неделей раньше сдан Ростов; немецкие войска, наступающие на Кавказ, своим левым крылом достигли Дона в районе станицы Цимлянской, а 6-я армия Паулюса — севернее, в речной излучине между Калачом и Клетской.

Немецкий военный историк Курт фон Типпельскирх писал впоследствии (не без подавленного ли вздоха?), что в начале августа 1942 года Сталинград можно было взять внезапным ударом с юга, если бы Гитлер не ставил главной целью наступление на Кавказ.

Упомянутые Твардовским в июльском письме поэта жене «мы» — это он с Василием Гроссманом, очень близким ему тогда. «...Беседуем на невеселые темы», — говорится в одном августовском письме Александра Трифоновича за неделю до того, как немцы прорвались уже к западной окраине Сталинграда.

И далее: «Пусть мы сами себе подивимся когда-нибудь, как в такое трудное время могли писать, и еще что-то получалось».

А «получался» не только «Тёркин», уже зазвучавший тогда по радио и готовившийся к печати.

Марии Илларионовне были посланы еще и «две первые главки новой вещи». Сам автор пытается определить ее жанр как «лирическую хронику» — хотя и не без некоторых колебаний: «...Пишется лирика — не лирика, не поймешь... Но я чувствую, как необходимо мне это; одним “Тёркиным” я не выговорюсь... И здесь уже я могу говорить в полную душу».

«Вся огромность грозных и печальных событий войны» (по уже знакомому нам выражению поэта) искала себе нового выхода и художественного претворения. Уже первая, памятная встреча с огромным беженским «морем» и с удивительной стойкостью и красотой человеческой, женской души, проявленными в эту пору, могла заронить зерно будущего замысла. Да и в начальных главах «Книги про бойца» проклевывались некие сюжетные «почки».

Глава «Перед боем» — о короткой побывке-ночевке отступавших бойцов в доме своего командира — не только запечатлела обаятельный, трогательный образ хозяйки приютившей их избы, но и завершалась томительным гаданием о судьбе этой семьи и самого ее главы, который, «может, нынче землю парит, за которую стоял».

А впереди были новые встречи, новые судьбы, часто глубоко трагические, и возникала настоятельнейшая потребность, как говорилось в рабочих тетрадях поэта, «рассказать сильно и горько о муках простой русской семьи».

Уже мерещился некий герой наподобие Моргунка (а то и он сам?), и брезжила вся огромная даль выпавшей на его долю эпохи: «столько войн, переворотов, испытаний... Революция, коллективизация».

Тут даже какой-то почти романный «соблазн» маячил, вроде мечтавшегося Александру Трифоновичу чуть ли не всю жизнь «Пана» (он и сейчас, бывает, «бóльшую часть рабочего времени» занят его обдумыванием!).

Но это море необъятное все же постепенно входит в берега, ограничиваясь изображением только нынешней войны (хорошенькое, впрочем, «только»!), хотя и здесь напрашивались самые разные фабульные повороты, к примеру — партизанская «линия» или более подробное повествование о деревенской жизни при оккупации.

В декабре 1943 года Твардовский напечатал в «Красноармейской правде» несколько глав из поэмы «Дом у дороги».

В этом названии он какое-то время сомневался, но на поверку оно замечательно отвечало не только сюжету «лирической хроники», но и главной ее теме, «нерву», если не сердцу! — судьбе семьи, человека, народа в грозном океане истории (не вспоминается ли вам давняя «муравская» сказка про деда с бабой в их утлой зыбке-избе?!).

Хроника была еще далека от завершения (и завершенности). Характерно, что в кратком вступлении к газетной публикации сказано, что автор «*работает* сейчас над лирической поэмой... о русской женщине в дни Отечественной войны» (курсив мой. — *А. Т-в*). Жене же Александр Трифонович сообщил, что пошел на эту публикацию, чтобы «не понукали с материалом», не требовали какой-либо ненавистной ему «обязаловки», «лирико-кампанейских всплесков поэзии» и т. п.

На самом же деле он поэму отложил: «...что-то мне во всем этом стало приедаться». Был решительно отброшен вариант с возвращением хозяина избы



КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ПРАВДА 2 декабря 1943 г., № 288 (6871).

А. ТВАРДОВСКИЙ.

Дом у дороги

Главы из поэмы

Автор поэмы „Василий Теркин“, поэт А. Твардовский, работает сейчас над лирической поэмой „Дом у дороги“ — о русской женщине в дни Отечественной войны. Сегодня мы начинаем печатать главы из этой поэмы.

Отцов и прадедов примета —
Как будто справдилась она:
Таких хлебов, такого лета
Не год, не два ждала война.

Как частый бор, колосовые
Шумели глухо над землёй.
Не пешеходы — верховые
Во ржи скрывались с головой.

И были так густы и строги
Хлеба, подавшись грудь на грудь,
Что, по пословице, с дороги
Ужу, казалось, не свернуть.

И хлеба хлеб казался пуще,
И было так, что год хлебов

Был годом клубней, землю рвущих,
И годом трав в лугах и пущах,
И годом ягод и грибов.

Как будто всё, что в почве было —
Её добро, её тепло, —
С великой щедростью и силой
Ростки наружу выносило,
В ботву, в перо и в колос шло...

В свой полный цвет входило лето,
Земля ломилась, всем полна,
Отцов и прадедов примета —
Как будто справдилась она:
Гром грянул — началась война...

ГОЛОШЕНЬЕ

Из века в век, из рода в род,
Из дальней старины
В крови у женщины живёт
Чутьё беды, войны.

И это давнее чутьё
Ей камнем давит грудь,
Когда она тебе бельё
В любой сбирает путь.

Тому чутью ни слов, ни слёз
Невдосталь в час войны.
И голошеньем

И за борта грузовиков
Хватались на ходу.

И в жаркой билися пыли,
Дружны в беде одной,
Потом, утихнув, порознь шли,
Забрав детей, домой.

Варить обед, рубашку шить
И в горе день за днём
Не плакать — нужно было

И были той земли сырой
Края обожжены.
~~И кто-то первый был герой~~
И мученик войны.

В крови, в пыли шептал без сил,
Уже стонать не мог,
Уже не жить — попить просил —
Воды один глоток...

Публикация начального варианта поэмы «Дом у дороги».
Газета «Красноармейская правда». 2 декабря 1943 г.

из окружения, его взаимоотношениями с немцами, односельчанами, партизанами.

Работа замедлилась, застопорилась — и во благо, ибо жизнь подсказывала иные, новые, куда более значительные фабульные возможности.

Даже житейски трудное, порой мучительное пребывание в освобожденном, но страшно разрушенном Смоленске, нелегкое вызволение многочисленной родни из различных непростых ситуаций того времени обогащало (но и отягощало) опытом, требовавшим напряженного осмысления. «Месяц, может быть, равный прежним двум годам», — скупо отмечено в рабочей тетради.

Вернемся, однако, к напечатанным тогда главам «хроники». Здесь уже немало такого, что в большей или меньшей мере войдет в позднейший, окончательный текст «Дома у дороги»: картина последнего мирного утра, описание беженского половодья... Другие главы превратятся в совершенно отдельные стихотворения, хотя тематически теснейшим образом с «хроникой» связанные, как, например, «Солдат и солдатка» — о встрече воина с чужой, откуда-то бредущей семьей и горестном взаимопонимании героев. В третьих же («Гостинчик») еще и не угадать, как они потом преобразятся, как неожиданно и смело зазвучат.

Новое возвращение к «хронике» и решающий поворот сюжета совершились позже, по мере дальнейшего продвижения нашей армии и все учащавшихся встреч и разговоров с людьми, испытавшими не только оккупацию, но многие и каторжную неволю в Германии и теперь одолевавшими долгую дорогу домой.

В значительной мере этот поворот определился на основе таких услышанных поэтом рассказов, как, например, история 55-летней Настасьи Яковлевны

Масловой. Как и всех жителей села, ее угнали с Орловщины в лагерь на балтийском побережье. Больше половины его невольных обитателей, около четырех тысяч, умерли от голода и холода. И она сама вряд ли бы выжила, не будь спасительной необходимости заботиться о дочери Анюте. «И в какой удивительной радостной сохранности остались эти простые русские женские души и лица после таких испытаний, мук, унижений...» — писал впоследствии Твардовский в очерке, так и озаглавленном — «Настасья Яковлевна», вошедшем в его книгу «Родина и чужбина».

Многие черточки этих судеб различимы не только в «Доме у дороги», — встречные артиллеристы, так же как в «Книге про бойца» «бабку с посошком», снабдили Масловых конем с чисто тёркинскими прибаутками: «Запрягай, мамаша, укладывайся. Скоро и мы... Тогда, гляди, и дочку сосватаем».

В ту пору поэт высказал убеждение, что «эта штука, которую начал уже давно... пожалуй, и не могла быть закончена до нынешнего этапа войны».

«“Дом у дороги”, которому наступление дает и подсказывает сюжет, — писал Твардовский, обобщая «бездну новых впечатлений», и тут же помечал: — (Рассказ... о матери, вышедшей с тремя детьми из ада оккупации, эвакуации, рабства, концентрационного лагеря и т. п.)».

Перед нами — судьба будущей героини «лирической хроники» Анны Сивцовой.

Некоторые выразительные детали для «Дома...» Александр Трифонович почерпнул и из песен о фашистской неволе, собранных в рукописном сборнике Надежды Коваль, которые привел в книге «Родина и чужбина». Например, в песне «День в Штаблаке» упоминается надсмотрщик по кличке

Безрукий. И кто же из читавших «лирическую хронику» не помнит, как в барак, где жили Сивцовы, «по утрам являлся однорукий, кто жив, кто помер проверять по правилам науки»!

Весьма вероятно, что отразилась в «Доме...», особенно в последних главах, и участь односельчанина поэта, Михаила Худолеева, который долго ничего не знал о своих, оставшихся «под немцем», а вернувшись, нашел пепелище и могилу расстрелянной дочери-партизанки. И вот, искалеченный войной, с одним топором, он, который «плотником сроду не был», вместе с женой, тоже инвалидом, сумел построить неказистый, но крепкий дом, глядя на который и живо представляя всю его, непомерной тяжести историю, автор «Родины и чужбины» оценивает «возведение этого незатейливого избяного сруба как некий подвиг».

Определенную роль в формировании замысла «Дома у дороги» сыграла поэма Аркадия Кулешова «Знамя бригады».

В довоенные годы, мучительно отыскивая свою дорогу в литературе, этот белорусский писатель «как откровение, как прозрение» воспринял «Муравию». «Я нисколько не преувеличу, — говорится в его позднейшей автобиографии, — если скажу, что, как поэт, своим рождением я обязан именно этому произведению. “Страна Муравия” не только по-новому открыла близкий мне мир народной жизни, но и явилась толчком, который вывел меня наконец из творческого тупика».

Теперь уже для Твардовского, бывшего зимой 1942 года среди первых слушателей «Знамени бригады», знакомство с ней стало, как писал он в рецензии на поэму, «одним из самых ярких и дорогих... литературных воспоминаний военного времени».

Перед кулешовским героем, Алесем Рыбкой, стоял тот же вопрос, что и «для тысяч и тысяч наших людей, оставшихся в окружении», говорилось в рецензии Твардовского: «Продолжать ли идти, в надежде где-то догнать фронт, или оставаться, как тогда говорили, “в зятьях” у какой-либо вдовы, или солдатки, или даже у собственной жены», — вопрос, который «решался людьми наедине со своей совестью».

«Образом искушения, тихо и вкрадчиво подбирающегося к уставшей и безрадостной душе солдата-окруженца», по выражению Твардовского, и предстает «добрая вдова» Лизавета, у которой переночевали отступавшие бойцы. Она уговаривала Алеся:

Оставайся со мной честь по чести,
И пойдем мы с тобою вместе
По спокойной ровной дорожке, —
Ни войны тебе, ни бомбежки...
Оставайся...
— Пойду...
— До Урала
Все как есть немчура позабрала.
Ты подумай...
— Что ты сказала?
— То, что немцы дошли до Урала, —
Так их радио передавало.
Путь далекий. Достанет ли силы
Пепелища считать да могилы
По дорогам, а их немало.
Ну?
— Пойду!

(Перевод с белорусского Я. Хелемского)

Не отозвались ли впоследствии интонации этого разговора-поединка в знаменитой главе «Смерть и Воин»? Та же умильная вкрадчивость «соблазнительницы», те же трудно дающиеся, короткие ответы усталого солдата...

Спутник Алеся, Никита Ворчик соблазна не осилил и подался домой. Но Алесь к родным даже не заходит.

«“Что ж, зайду, — рассуждает он, — на радость, что ли? Принесу жене и детям свою муку, свои слезы — зачем? Их и без того довольно”. И его решение достойно большой и любящей души, лишающей себя обманчивого счастья такой встречи во имя счастья подлинного, хотя до него не близко», — говорится в рецензии.

Между тем поступок кулешовского героя представляется малоправдоподобным. Редкий человек в подобных обстоятельствах отказался бы от возможности повидать близких в надежде на иную, еще весьма гадательную встречу:

Нет, не так я приду в свой дом, —
В новой каске приду, со штыком;
Не скитальцем, не бедняком, —
А войду я хозяином в дом.

Герой «лирической хроники» Андрей Сивцов дома побывал. «Дома» — в захваченной врагом деревне, украдкой пробравшись в сарай, где жена — тоже тайком — кормила его и снаряжала в новую дорогу, не легче пройденной.

Прежний уход из дому, по повестке военкомата, еще мало что говорил о человеке. Среди пленных, которых потом гнали селом, разные были люди:

Тот воин силой взят
И зол, что жив остался.
Тот жив и счастью рад,
Что вдруг отвоевался.

Тот ничему цены
Еще не знает в мире.

Теперь же — один-одинешенек, безмерно усталый — Сивцов делает поистине героический выбор, выказывая недюжинный характер. Тяжкий труд — это не только добраться до своих и вновь стать лицом к лицу со смертью, но и преодолеть притягательную силу родимого крова (где бы «рад не день побыть»), превозмочь боль и страх за оставляемых жену и детей, отогнать гнетущие мысли о том, чем еще война может обернуться.

Однако с соблазном остаться у него «совесть не в ладу». Не может Андрей забыть спутника, который, «ослабший, раненый» шел — да не дошел, а готов был — хоть ползком, хоть до Урала («А отдыхать? В Берлине»)[1].

В этой горестной и высоко трагической главе, когда герои расстаются, быть может, навсегда, воскресает воспоминание о последнем в их мирной жизни утре, картиной которого открывалось повествование:

Покос высокий, как постель,
Ложился, взбитый пышно,
И непросохший сонный шмель
В покосе пел чуть слышно.

И с мягким махом тяжело
Косье в руках скрипело.

---

[1] Через несколько лет после конца войны один норвежец рассказал поэту о русском, бежавшем из плена: «Он прожил у меня пять дней и в ночь на шестой ушел, ни за что не хотел остаться... Я вывел его опять в лес, дал ему на дорогу что мог — хлеба, спичек, соли, немножко табаку. Я спросил его, куда он идет теперь, куда он так спешит. Мне было страшно подумать, что еще с ним может случиться в пути. "На Берлин", — ответил он» (из очерка Твардовского «На хуторе в Тюре-фиорде», между прочим, подвергшегося при своем появлении, в 1950 году, критике в печати за «плохое знание норвежской действительности»).

И солнце жгло, и дело шло,
И все, казалось, пело:

Коси, коса, пока роса,
Роса долой — и мы домой.

Так и ощущаешь эту утреннюю тишь, когда слышно даже негромкое шмелиное гудение. И сам ритм ладной работы, и свист косы, кажется, различим благодаря возникающим в финальных строках внутренним рифмам, единообразному построению фраз («И солнце жгло, и дело шло... роса долой — и мы домой») и не назойливой, но достаточно отчетливой аллитерации (ж-ш-с).

Война предстает на страницах поэмы как всенародное бедствие, сломавшее прежние, обычные меры вещей и диктующее свои злые законы, выглядящие какой-то издевкой над нормальной жизнью.

Жертвами войны становятся и люди, и природа, и человеческий труд. Идут «недоеные стада», бабы копают противотанковые рвы, «живьем приваливая рожь сырой, тяжелой глиной» — как бы заживо хоронят...

Подобных картин немало и в книге «Родина и чужбина»: рожь то «смолота (как алогично звучит здесь это слово! — *А. Т-в*) гусеницами и колесами, смолота вместе с мягкой остью еще подслеповатого колоса, молодой соломой и корнями», то «веером лежит... далеко вокруг воронки и, живая, привалена тяжелым сбросом земли», то «вблизи свежих пожарищ и дышащих жаром машинных остовов стоит бледно-желтая, перезрелая без поры, зряшная...».

Мимо сивцовского дома «беженцы тянулись» (в этом слове — и усталость от страдного пути, и бесконечность людской вереницы).

Уже до полудня воды
В колодцах не хватило.
И веДРа ГЛУхо ГРУнт СКРебли,
ГРемя о стенки СРУба,
Полупустые кверху шли,
И к капле, прыгнувшей в пыли,
Тянулись жадно губы.

Какое здесь непререкаемое свидетельство огромности беженского потока (если не потопа...), и как переданный выразительным стихом безрадостный звук гремящих ведер в иссякающем колодце контрастирует с памятной читателю праздничной мелодией мирного труда!

А тут еще среди гомона и детского плача странно, нелепо звучит патефон, «поющий как на даче», словно в совсем недавнем безвозвратном прошлом.

Сострадавшую этим смятенным толпам Анну ждет еще более страшная судьба: ее с детьми угоняют на чужбину, в Германию. Движение стиха точнейшим образом передает весь ужас, всю сумятицу поспешных, грубо поторапливаемых сборов в эту страшную дорогу. «Рукой дрожащею лови крючки, завязки, мать», — кажется, сама поэзия искусанными в кровь от сдерживаемых рыданий губами повествует о лихорадочных усилиях женщины, которой — «хоть самой на снег босой, троих одеть успей», «и соберись, и уложись», и «нехитрой ложью норови ребячий страх унять», подгоняя «живей, живей, как в гости», — навстречу неизвестности.

А впереди еще одна «беда в придачу к бедам»: в лагерном бараке у Анны родился мальчик...

Кажется, все материнские силы, до донышка, подобно вычерпанному колодцу, уже потрачены в бесконечной борьбе, и песня Анны над младен-

цем — всего лишь пролог к близящемуся надгробному причитанию. Ее мысленный разговор с сыном, который один критик удачно назвал «золотым словом» поэмы, и выдержан-то в традициях народного плача, представлявшегося безнадежно устарелым в эпоху насаждавшегося свыше казенного «оптимизма»[1]:

Зачем в такой недобрый срок
Зазеленела веточка?
Зачем случился ты, сынок,
Моя родная деточка?

Сбереженная до мельчайших деталей материнская повадка беседовать с тем, кто еще «нем и глуп», мучительное ощущение хрупкости, беззащитности этой, едва занявшейся жизни и заползающее в душу сомнение в возможности спасти, уберечь ее, — все это передано поэтом с силой, которой и названия не приискать.

Тут-то Анна и совершает свой бессмертный подвиг: из каких-то непостижимых глубин ее души подымается безудержная, сокрушающая все сомнения и препятствия сила противостоять, казалось бы, неизбежному:

Целуя зябкий кулачок,
На сына мать глядела:
— А я при чем, — скажи, сынок, —
А мне какое дело?

Скажи: какое дело мне,
Что ты в беде, родная?
Ни о беде, ни о войне,

---

[1] «Эти плачи мы бросим. В нашей стране плакать не приходится», — писал в 1937 году Демьян Бедный в статье «Песельники, вперед».

Ни о родимой стороне,
Ни о немецкой чужине
Я, мама, знать не знаю.
....
Я мал, я слаб, я свежесть дня
Твоею кожей чую,
Дай ветру дунуть на меня —
И руки развяжу я.

Но ты не дашь ему подуть,
Не дашь, моя родная,
Пока твоя вздыхает грудь,
Пока сама живая.

И пусть не лето, а зима,
И ветошь греет слабо,
Со мной ты выживешь сама,
Где выжить не могла бы.

«Нет, нет. Это не Ваши слова. Признайтесь, Вы их подслушали. Это же слезы материнские, сила, любовь единственная — материнская. В сердце навсегда Ваши стихи. Что там премии, что там критики: Вам отдана частица любви народной», — писала поэту читательница Пономарева.

Величайший трагизм соседствует в поэме с торжеством неиссякающей человечности, доброты, самоотверженности. Еле теплившийся огонек младенческой жизни оберегала не одна лишь мать, но и те, кто отдавал на пеленку свою портянку (поистине царская щедрость в тех каторжных условиях), чья рука «в постель совала маме у потайного камелька в золе нагретый камень», кто делился с нею «последней хлеба крошкой».

Потом малыш вместе со всей семьей попал на немецкий хутор.

И дочка старшая в дому,
Кому меньшого нянчить,

Нашла в Германии ему
Пушистый одуванчик.

И слабый мальчик долго дул,
Дышал на ту головку[1].

Еще так немощна эта жизнь, так мало у нее силенок даже на то, чтобы сдуть легчайший пух с цветка; так далека — и гадательна — встреча с отцом, но, как ликующе повторяет поэт, «мальчик жил», «он жил да жил», и это была победа, еще недавно казавшаяся невозможной, невероятной.

Поэма завершается рассказом о возвращении солдата в родное село, где у него теперь — «ни двора, ни дома».

Глядит солдат: ну, ладно — дом,
А где жена, где дети?..
Да, много лучше о другом,
О добром петь на свете.

Но — «надо было жить. И жить хозяин начал» (не вспоминается ли нам здесь и другое, происходившее «в острожной дали»: «А мальчик жил... Он жил да жил»?). «И потянул с больной ногой на старую селибу», — как Михаил Худолеев в смоленском Загорье, как сотни, тысячи, десятки тысяч других, «чтоб горе делом занялось». И возвел дом... и затосковал в нем, одинокий; пошел на покос в луга, «чтоб на людях забыться», и в звоне косы «точно голос слушал свой»:

И голос тот как будто вдаль
Взывал с тоской и страстью.
И нес с собой его печаль,
И боль, и веру в счастье.

---

[1] Не давняя ли, затаенная боль тут проглянула: «...он очень любил цветочки, — писал Александр Трифонович после смерти сына, — особенно любил обдувать одуванчики».

Но как верно истине то, что нет у этой истории явственного счастливого конца![1]

Правда, в самом начале лирической хроники, в прологе, который одновременно вроде бы предваряет ее финал, поэт «в пути, в стране чужой... встретил дом солдата»:

Тот дом без крыши, без угла,
Согретый по-жилому,
Твоя хозяйка берегла
За тыщи верст от дому.

Она тянула кое-как
Вдоль колеи шоссейной —
С меньшим, уснувшим на руках,
И всей гурьбой семейной.

Но действительно ли эта женщина, столь похожая на Анну, — и впрямь она? Словно бы уклоняясь от желанного для читателя ответа, Твардовский давал ощутить возможность совсем иного, трагического конца, который в жизни испытало великое множество людей.

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.

---

[1] «Предположим, что Андрей и Анна встретились бы друг с другом, — писал одним из первых откликнувшийся на публикацию поэмы В. Б. Александров в рецензии «Дом у дороги». — Больше нам не надо о них тревожиться. Мы вправе были бы успокоиться на благополучном конце, отложить прочитанное и забыть. А забывать нельзя» (Литературная газета. 1946. 27 июля). «Но сколько же их было, подобных злоключений без счастливой развязки, без оправдавшихся надежд», — говорилось и в пространной статье Н. Вильмонта «Заметки о поэзии А. Твардовского» (Знамя. 1946. № 11—12. С. 209).

Твардовский однажды написал, что многие лучшие произведения отечественной прозы, «возникнув из живой жизни... в своих концовках стремятся как бы сомкнуться с той же действительностью, откуда вышли, и раствориться в ней, оставляя читателю широкий простор для мысленного продолжения их, для додумывания, "доследования" затронутых в них человеческих судеб, идей и вопросов» («О Бунине»).

Год появления «Дома у дороги» (1946) был ознаменован в культурной жизни резким возвратом к жесткому административному воздействию на литературу и искусство, в пору войны несколько ослабевшему. Недоброй памяти постановление ЦК ВКП(б) от 14 августа «О журналах "Звезда" и "Ленинград"», искалечившее отнюдь не только судьбы его прямых «адресатов» — Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, как и последующая серия подобных документов[1], были выдержаны в том же тоне, что и сталинский приказ военного времени, и призваны обуздать опасные для диктаторского режима проявления самостоятельности, самодеятельности, инициативы, выказанной народом и интеллигенцией в смертельной борьбе с фашистским нашествием.

Не станем «улучшать» историю и конкретные человеческие биографии, утверждая, например, что Твардовский уже тогда «все понимал». И отдельные его стихи, и некоторые из ныне опубликованных

[1] Постановления ЦК ВКП(б) «О кинофильме "Большая жизнь"» и «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» (1946), «Об опере "Великая дружба" В. Мурадели» (1948).

дневниковых записей поэта свидетельствуют, что Сталин еще по-прежнему представлялся ему, как и миллионам людей, верным продолжателем ленинских заветов.

Тем не менее, как и в войну, в искусстве Твардовскому было глубоко чуждо слепое подчинение каким-либо «руководящим указаниям», исходи они даже от величайшего в его глазах авторитета. Он продолжал стремиться к «правде сущей, правде, прямо в душу бьющей», хотя это все больше входило в противоречие с официальной политикой.

В недавней книге пристального исследователя литературы о Великой Отечественной войне Л. Лазарева «Живым не верится, что живы...» (2007) справедливо сказано, что были как бы «две памяти о войне» — преподносимая как «государственная», «единственно верная», со сталинских времен сводившаяся, если воспользоваться давними словами Герцена, «на дифирамб и риторику подобострастия» по отношению к вождю как якобы истинному творцу победы, и другая, которая, если вспомнить слова из «Дома у дороги», «жила, кипела, ныла» (не побоимся «некрасивого» слова: ныла, как боль, незаживающая рана) в душе народа, заплатившего за победу огромнейшую, тяжелейшую, даже до сих пор сколько-нибудь точно не подсчитанную цену.

И эту неподкупную правду со всем ее трагизмом власть имущие рассматривали, по выражению Лазарева, «как затаившегося опасного противника, которого надо во что бы то ни стало обезвредить, заставить молчать».

Тем не менее в искусство эта правда все-таки пробивалась многолетними усилиями честнейших художников. В числе их — если не во главе — был Твардовский.

Вот и «Дом у дороги» — малая частица народного бытия, с лихвой испытавшая все страшные превратности войны, изображение которых было у критиков не в чести. Так, близкая лирической хронике по фабуле трагическая песня Исаковского «Враги сожгли родную хату» была осуждена в печати В. Ермиловым в «Литературной газете» и надолго запрещена к исполнению.

Всмотритесь еще раз в героев поэмы: муж — из людей, побывавших в окружении и потому находившихся на подозрении у вездесущих «органов»; жена оказалась «на оккупированной территории», каковой «проступок» требовалось всенепременно указывать в анкетах. Мало того: в поэме с великой болью, состраданием, сочувствием изображаются пленные, за чью участь болят сердца сельских женщин (как и авторское...):

Не муж, не сын, не брат
Проходят перед ними,
А только свой солдат —
И нет родни родимей.

А ведь эти люди с первых же дней войны громогласно и бесстыдно были объявлены предателями и изменниками, множество их после победы побывало еще и в «родимых» концлагерях. Твардовский был первым, кто за них вступился, кто их самолично «реабилитировал», хотя бы в глазах читателей.

Поистине всенародная слава «Тёркина» уберегала поэта от грубых нападок, но укоризненные замечания по поводу явного отхода от так называемого «столбового пути» или «главного направления» изображения действительности раздавались.

«Всегда ли будет Александр Твардовский писать лишь о тех, кто следует примеру других, кто своей

стойкостью и мужеством поддерживает передовиков, руководителей, инициаторов?» — пеняли автору «Дома...» в критической статье (*Гринберг И.* Александр Твардовский // Звезда. 1947. № 2).

«Андрей Сивцов... далеко не героическая личность, — подхватывали в другом сочинении. — Война для него, в отличие от Тёркина, — не труд, не подвиг, а сплошное страдание. Он даже подчас *излишне чувствителен* к ее ударам (курсив мой. — *А. Т-в*)».

В записях А. К. Тарасенкова, сделанных по свежим следам событий, говорится, что, когда Твардовский весной 1946 года, накануне публикации поэмы в журнале «Знамя» (№ 5—6), прочел «Дом у дороги» на президиуме правления Союза писателей, видный партийный функционер Д. А. Поликарпов выступил с надуманной, по выражению Анатолия Кузьмича, критикой: «Ему, видите ли, кажется, что в поэме слишком много горя, не хватает запаха победы...» (*Громова Н.* Распад. Судьба советского критика: 40—50-е годы. М., 2009. С. 406).

Не расходится с этим свидетельством страстного защитника «Дома...» и помещенная в «Литературной газете» (2 марта 1946 года) маленькая заметка, из которой ясно, что у Поликарпова нашлись сторонники, хотя острота споров явно скрадывается: «Высоко оценивая лирическую хронику А. Твардовского, Л. Соболев, Д. Поликарпов, А. Лейтес выразили сожаление, что чувства радости и счастья победы не нашли такого же высокопоэтического звучания в произведении Твардовского, как чувства горя народного, потрясения войной. В итоге Великой Отечественной войны решены важнейшие государственные проблемы, укреплена мощь нашей

державы. Эти всемирно-исторические победы окупают страдания народа в войне»[1].

Предъявлялись «лирической хронике» и другие обвинения.

«Твардовского "Дом" — в отзывах клеймили,
называя поэмой
"беспартийной"
"аполитичной"
"пацифистской", да еще с духом "абстрактного гуманизма"... — вспоминал впоследствии историк Михаил Гефтер и победно добавлял: — Каждое клеймо (каждый ярлык) как знак качества, добра, примета поэзии...» (А. Твардовский, М. Гефтер. XX век. Голограмма поэта и историка. М., 2005. С. 311).

---

[1] Надо добавить, что весьма ортодоксально мысливший и соответственно поступавший Д. А. Поликарпов был порядочным человеком и, несмотря ни на что, оставался с Твардовским в хороших отношениях. Л. С. Соболев же не упускал возможности «пролезть в дамки». Это ему, наконец, удалось после активного участия в травле сборника «Литературная Москва», созданного группой видных писателей (М. Алигер, А. Бек, В. Каверин, Э. Казакевич, К. Паустовский, В. Тендряков и др.) и содержавшего ряд острокритических произведений («Рычаги» А. Яшина, «Реализм современной драмы» М. Щеглова, «Заметки писателя» А. Крона и др.). Он был обласкан Н. С. Хрущевым и стал председателем новообразованного Союза писателей РСФСР. Впрочем, еще на первом съезде советских писателей, в 1934 году, Соболев возбудил восторг Горького и властей предержащих, начав свою речь льстивыми словами: «Партия и правительство дали советскому писателю решительно все. Они отняли у него только одно — право плохо писать». Леонид Сергеевич еще себя покажет и в более позднюю пору. Основательно же позабытый критик А. М. Лейтес в 1930-е годы «блеснул» характерным для того времени афоризмом. «Социалистической революции нужны литературные дредноуты, но перестроенные сверху донизу по социалистическому плану, — писал он в «Литературной газете» 28 апреля 1934 года. — Большим кораблям (вы думаете: большое плаванье? Ошибаетесь! — *А. Т-в)* — большие переделки».

А во время очередной проработки поэта, о которой речь впереди, не кто иной, как Валентин Овечкин, не предвидя, конечно, какую роль Александр Твардовский вскоре сыграет в его судьбе, сказал: «После того, как я прочитал “Родину и чужбину”, мне стало ясно, что уже в поэме “Дом у дороги” Твардовский начал утрачивать... чувство нового. Ведь колхозная действительность совсем не показана в этом произведении».

Последний штрих: в официальном некрологе поэту, подписанном в числе прочих всеми партийными «боссами» и коллегами-гонителями, «Дом у дороги» упомянут не будет.

Любопытно и то, что если «Книга про бойца» была отмечена Сталинской премией первой степени, то «лирическая хроника» — лишь второй, хотя стихи стоявших в наградном списке выше Саломеи Нерис и Симона Чиковани не идут ни в какое сравнение с «Домом...».

Эта поэма — подлинный шедевр, и недаром сам автор довольно ревниво относился к тому, что по сравнению с тёркинским триумфом ее судьба была куда скромнее. «Мне очень приятно, что Вы избрали темой своей дипломной работы “Дом у дороги”, — писал он через двадцать лет, в 1966 году, магаданской студентке З. А. Серебряковой. — Эта моя поэма куда меньше других пользуется вниманием критиков, исследователей и диссертантов» (*Твардовский А. Т.* Письма о литературе. М., 1985. С. 306).

«Василий Тёркин» и в самом деле, по горделивому выражению поэта, всем пришелся по нраву. Кому — своим искрящимся, заразительным, согревающим сердце в самое тяжкое время юмором; кому — пониманием, сочувствием, любовью и гордостью, с которыми автор выразил солдатскую душу; кому,

наконец, — тем, что не боялся изображать трагические события и горе людское.

Словом, эта любовь объединяла великое множество читателей, тем более что «Книга про бойца», широко печатавшаяся отдельными главами и в армейских газетах, и в центральной прессе, как бы сопровождала нас с осени сорок второго года чуть ли не всю войну, стала частью фронтового быта («Жили, "Теркина" читали», — с веселой дерзостью сказано в одной из ее последних глав), да едва ли и не солдатской души.

Новая поэма имела уже более узкую «аудиторию». В частности, это объяснялось и тем, что правда о пережитом на войне, которую, по убеждению поэта, теперь уже пришло время вспоминать, была даже «погуще», чем в «Тёркине», и совсем «не ко двору» тем, кто торопил и понукал позабыть о страшных поражениях, огромных потерях («В нашей стране плакать не приходится»).

Но вспомните и другое — слова читательского письма:

«В сердце навсегда Ваши стихи.

Что там премии, что там критики; Вам отдана частица любви народной».

Глава пятая

«ПО ПУТИ, НАПРАВЛЕННОМ СЕРДЦЕМ...»

Если за несколько дней до окончания «войны незнаменитой» в марте 1940 года Твардовский писал другу: «Мне кажется, что армия будет второй моей темой на всю жизнь», то пережитое на новой, Отечественной, многократно утвердило его в этом убеждении и гигантски укрупнило саму тему, ставшую уже не только «армейской».

«На всю остальную жизнь, коль так уж суждено мне остаться живым на этой войне, — говорится в письме Александра Трифоновича жене 22 апреля 1945 года, — на всю остальную жизнь мне хватит думать и выражать то почти невыразимое, чем наполнилась моя душа за эти годы. Она даже опасалась наполняться вполне, потому что она, душа, у меня слабая, можно сказать, бабья — и не выдержала бы. И, конечно, я уже говорил как-то, что никогда мне, о чем бы я ни писал впредь, не уйти от внутреннего фона, если так можно сказать, который все освещает собой, самое далекое от него».

Именно этой «слабой», «бабьей», — а если всерьез: необычайно восприимчивой, глубоко проникающейся не только лично испытанным и виденным, но и «чужими» переживаниями и страданиями ду-

ше обязаны мы и трагическими главами «Василия Тёркина», и — в особенности — «Домом у дороги» (вспомним, как «уличала» автора одна читательница: «Это не Ваши слова... Вы их подслушали»). И, наконец, послевоенной лирикой поэта, посвященной памяти павших.

Уже в заключительной главе «Тёркина», этом прощании с героем и с читателями, были проникновенные строки:

Смыли вёсны горький пепел
Очагов, что грели нас.
С кем я не был, с кем я не пил
В первый раз, в последний раз...

С кем я только не был дружен
С первой встречи близ огня.
Скольким душам был я нужен,
Без которых нет меня.

Скольких их на свете нету,
Что прочли тебя, поэт,
Словно бедной книге этой
Много, много, много лет.
(Курсив мой. — *А. Т-в.*)

Как сильно и горько выражена здесь мысль об огромном количестве погибших: «Тёркин» утратил за время войны стольких читавших его, скольких книги обычно теряют за долгие-долгие годы своего существования!

Твардовский ощущал эти потери очень остро. В выступлении на пленуме правления Союза писателей 19 мая 1945 года он, частично повторяя вышеупомянутое письмо, сказал: «Я пришел с войны живой и здоровый. Но скольких я недосчитываюсь, — недосчитываюсь не в смысле родства и знакомства, а в том смысле, что сколько бы людей ус-

пели меня прочитать и, может быть, полюбить, а их нет в живых. Это была часть меня. Поэта на свете нет без того, что есть какие-то сердца, в которых он отзывается. И это невозвратимо, потому что сколько-то тысяч людей, знавших и читавших наши книги, не вернутся. И я с ними что-то навсегда утерял».

Вскоре эта мысль найдет высокое и еще более «разветвленное» выражение:

К вам, павшие в той битве мировой
За наше счастье на земле суровой,
К вам, наравне с живыми, голос свой
Я обращаю в каждой песне новой.

Вам не услышать их и не прочесть.
Строка в строку они лежат немыми.
Но вы — мои, вы были с нами здесь,
Вы слышали меня и знали имя.

В безгласный край, в глухой покой земли,
Откуда нет пришедших из разведки,
Вы часть меня с собою унесли
С листка армейской маленькой газетки.

(«В тот день, когда окончилась война...», 1948)

Замечательные эпические произведения поэта о Великой Отечественной как-то заслонили собой его стихи военных лет, составившие так называемую «Фронтовую хронику». Между тем в ней уже зарождались мотивы, которые не только вскоре отозвались в «Тёркине» и «Доме у дороги», но и определили своеобразие послевоенной лирики Твардовского.

Вот вроде бы непритязательное пейзажное стихотворение:

В лесу заметней стала елка,
Он прибран засветло и пуст.
И оголенный, как метелка,

Забитый грязью у проселка,
Обдутый изморозью золкой,
Дрожит, свистит лозовый куст.

(«Ноябрь»)

Но при взгляде на дату его появления — 1943 год — тебя вдруг пронзит памятное ощущение той горькой осени на Смоленщине, где туда-сюда прокатилась война, ощущение, таящееся в этом, казалось бы, вполне обыкновенно, «по сезону» выглядящем кусте, который, однако, поражает какой-то почти человеческой бесприютностью и смутно напоминает о беде и разоре. Всё так под стать тревожным солдатским мыслям, поведанным в другом стихотворении:

Все — прахом, все — пеплом-золою.
Сынишка сидит сиротою
С немецкой гармошкой губною
На чьей-то холодной печи.

(«Армейский сапожник», 1942)

А «Две строчки» уже не уступают тем послевоенным стихам, в которых сбылось предсказанное в одной из лучших глав «Книги про бойца», — «Бой в болоте»:

День придет — еще повстанут
Люди в памяти живой.

И в одной бессмертной книге
Будут все навек равны —
Кто за город пал великий,
Что один у всей страны;

Кто за гордую твердыню,
Что у Волги у реки,
Кто за тот, забытый ныне,
Населенный пункт Борки.

Герой стихотворения «Я убит подо Ржевом» (1945—1946) пал если не за Борки, так тоже за не столь уж известный город, ставший местом ожесточенных, затяжных, кровопролитных боев. Побывав, недолго, на этом участке фронта, поэт видел, по его словам, лишь «краешек» этих страшных боев, но «впечатления этой поездки были за всю войну из самых удручающих и горьких до физической боли в сердце».

Неслучайно, что в значительно более поздней прозе происходившему в этих местах посвящены такие значительные произведения, как повести и рассказы воевавшего там Вячеслава Кондратьева «Сашка» и «Селижаровский тракт» и служившей в армии переводчицей Елены Ржевской (псевдоним, взятый ею после всего там испытанного!) «Второй эшелон», «Ворошённый жар» и др.

Стихотворение написано Твардовским от имени солдата, у которого и могилы-то нет:

Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налете.

Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки, —
Точно в пропасть с обрыва —
И ни дна ни покрышки.

И во всем этом мире,
До конца его дней —
Ни петлички,
Ни лычки
С гимнастерки моей.

Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме.

Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе.

Где — травинку к травинке —
Речка травы прядет,
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.

Повторяющаяся «запевка», внутренние созвучия (петлички-лычки, корни-корма, заре-росе), как бы отзвук шороха шин («ваШи маШины... Шоссе»), — все это придает звучанию стихов удивительную легкость, певучесть, словно не человеческий голос слышим мы, а шелест листьев и трав, дыхание огромного мира, в который воплотился убитый солдат.

Он убит «летом в сорок втором», когда битва достигла невероятного напряжения, и унес с собой все тревоги и муки, которые одолевали тогда человеческие сердца:

Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?
Этот месяц был страшен.
Было все на кону.

Неужели до осени
Был за н и м уже Дон,
И хотя бы колесами
К Волге вырвался о н?

Тёркин пытался уговориться со Смертью, чтобы «услыхать салют победный». В устах ржевского бойца эта мечта обретает иной, новый смысл:

Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг, —

О, товарищи верные,
Лишь тогда б на войне
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне!

«Стихи эти, — писал Твардовский много лет спустя («О стихотворении “Я убит подо Ржевом”». 1969), — продиктованы мыслью и чувством, которые на протяжении всей войны и в послевоенные годы более всего заполняли душу. Навечное обязательство живых перед павшими за общее дело, невозможность забвенья, неизбывное ощущение как бы себя в них, а их в себе, — так приблизительно можно определить эту мысль и чувство».

Слова, не в меньшей, если не в большей мере относящиеся и к стихотворению «В тот день, когда окончилась война...» (1948)! Победные залпы означали, что «кроясь дымкой, он уходит вдаль, заполненный товарищами берег», и погибшие, может быть, впервые так неотступно стояли перед глазами живых, которые до тех пор были «от их судьбы всегда неподалеку»:

Вот так, судьбой своею смущены,
Прощались мы на празднике с друзьями.
И с теми, что в последний день войны
Еще в строю стояли вместе с нами;

И с теми, что ее великий путь
Пройти смогли едва наполовину;
И с теми, чьи могилы где-нибудь
Еще у Волги обтекали глиной;

И с теми, что под самою Москвой
В снегах глубоких заняли постели,
В ее предместьях на передовой
Зимою сорок первого; и с теми,

Что, умирая, даже не могли
Рассчитывать на святость их покоя

Последнего, под холмиком земли,
Насыпанном нечуждою рукою.

Со всеми — пусть не равен их удел, —
Кто перед смертью вышел в генералы,
А кто в сержанты выйти не успел —
Такой был срок ему отпущен малый.

Со всеми, отошедшими от нас,
Причастными одной великой сени
Знамен, склоненных, как велит приказ, —
Со всеми, до единого со всеми

Простились мы.
И смолкнул гул пальбы,
И время шло. И с той поры над ними
Березы, вербы, клены и дубы
В который раз листву свою сменили.

Мерный грохот орудий и скорбную тишину — все вместили эти величавые строки. «И с теми... И с теми... Со всеми... Со всеми...» — какая торжественная печаль во внешне монотонном повторе! И благодаря тому, что этот суровый перечень внезапно обрывается посреди строки, а затем следуют две короткие фразы, мы и впрямь слышим, как «смолкнул гул пальбы», сменяясь тишиной и отсчетом иных, мирных лет.

Когда спустя целые десятилетия эти стихи прозвучали по радио в День Победы, почта принесла автору письмо, от которого сжимается сердце:

«Мой сын пропал без вести... И вот сегодня, слушая по радио... где Вы говорите про день победы и про салют, который разъединил живых с мертвыми, и что этот салют Вам напоминает о погибших, которых Вы не забываете никогда. Слушая Вас, я была потрясена, я плакала и сейчас плачу, пиша это письмо, плачу безумно, горькими, но счастливыми слезами: за долгие годы моего горя, и притом одиноко-

го, потому что у меня на всем СССР нет никого из родных — все поумирали. Вы только один поняли мое горе и что у меня сейчас на душе... Я очень бедна, но горда и людей люблю, но им низко не кланяюсь; а Вам я кланяюсь до самой земли, низкий, низкий мой поклон Вам и большое спасибо от нас, матерей, и от погибших наших сыновей».

И впрямь: «Что там премии, что там критики...» и собратья по перу, если даже Николай Тихонов, будучи очевидцем трагедии блокадного Ленинграда, тем не менее на первом же послевоенном писательском пленуме — 17 мая 1945 года — «забил тревогу»: «Наблюдается... странная линия грусти (в поэзии. — *А. Т-в*)... Я не призываю к лихой резвости над могилами друзей, но я против облака печали, закрывающего нам путь».

Когда же вышел сборник Твардовского «Послевоенные стихи» (1952), критики дружно стали отмежевываться от запечатленной там «жестокой памяти». Борис Соловьев объявлял ее «ложной». Николай Чуканов утверждал, будто «скорбь заслоняет от поэта нашу сегодняшнюю жизнь», что «он не преодолел... своей печали, и потому эти стихи оставляют чувство безысходности, не приобретая большого общественного звучания» (Звезда. 1953. № 5).

На самом же деле нравственное и гражданское значение этой высокой скорбной лирики трудно переоценить. «Жестокая память» (так называлось одно из стихотворений сборника) *была целительной* памятью, необходимой для морального оздоровления общества, подвергавшегося в те годы массированной, как артиллерийский огонь, идеологической обработке в духе «культа личности» Сталина, когда умалялись подвиги и жертвы самогó народа, его главная роль в победе.

Эта память придала совершенно особый характер всему мировосприятию поэта. Трудно найти слова, чтобы передать его сущность, его удивительную и живую противоречивость — не ослабевающую трепетную любовь к жизни, природе, какой-нибудь «уходящей в детство стежке в бору пахучей конопли», и одновременно совестливую невозможность «с радостью прежней... смотреть на поля и луга».

В одной прозаической записи Твардовского упомянуто, как летним вечером где-то, не видная в темноте, «слышалась речка». Так и во многих его стихах *слышится* что-то, прямо и до конца не высказываемое, но составляющее самую душу его поэзии и личности:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...

И не вспоминается ли нам вновь тёркинское (и твардовское!):

Ты прости, за что — не знаю,
Только ты прости меня!

«Никогда люди, каждый в отдельности, не видят столько людей новых и так легко не сходятся с людьми, как во время войны», — писал поэт.

Неудивительно, что он «не выговорился» не только «Тёркиным», но и «Домом у дороги», ни в стихах вообще. Ему становилось как бы «тесно» в них, и Александр Трифонович впоследствии не раз шутливо уверял, что он, в сущности, прозаик.

«За этими ямбами и хореями... оставалась где-то втуне, существовала только для меня — и своеобразная живая манера речи кузнеца Пулькина (героя одноименного стихотворения. — *А. Т-в*) или летчика Трусова, и шутки, и повадки, и ухватки других героев в натуре», — говорится в его послевоенной статье «Как был написан "Василий Тёркин"» (1951). И при всем блеске и проникновенности многих картин природы, запечатленных в стихах поэта, (вспомним «пейзажи» в «Тёркине» и «Доме у дороги») за порогом «ямбов» и «хореев» было еще море безбрежное милых автору с детства примет, подробностей, деталей природы, крестьянской жизни и быта. Годы войны еще более пополнили это богатство, что сделалось очевидным при появлении прозаической книги Твардовского «Родина и чужбина».

Мы уже видели, как из его небольших дневниковых записей, лишь иногда «разраставшихся» в очерки и рассказы («В родных местах», 1946; «Костя», 1944—1946), возникали фрагменты, а то и «зерна» позднейших произведений (вспомним хотя бы встречу с первой женщиной-беженкой или историю худолеевской избы). Однако они драгоценны и сами по себе.

Почти в каждой записи проявляются свойственные автору глубина и обостренность восприятия жизни в любых ее проявлениях.

«За каждым мотивом, слышанным когда-либо, — говорится в записи о белорусской песне «Лявониха», — как за каждым запахом цветка, целая бездна воспоминаний... а то и целая жизнь».

Въедливый читатель, быть может, заметил, что в приведенных выше словах о чем-то не поддававшемся «ямбам» и «амфибрахиям» был некий пропуск, отмеченный, как полагается, многоточием.

Пора сказать, чтó именно было здесь скрыто: не меньше, если не больше «узды» стихотворных размеров сковывали автора ненавистные ему «фразеологические обороты газетных очерков» (эти слова и «заменены» отточием), которые если не сами в спешке просились под перо, то нередко появлялись при прохождении написанного сквозь редакторское сито.

Есть в книге примечательный эпизод: экипаж подбитого и надолго застрявшего на «ничейной» земле танка исхитрялся там ...стряпать! — «Знаете, сухомятка все-таки не еда, супчику хочется», — говорили танкисты.

Твардовский так и озаглавил эту запись — «Супчику хочется», превратив ее в своего рода литературный манифест: «Мы все еще объясняем скудость и сухость наших писаний исключительностью военной обстановки. А надо полагать, что при этой именно исключительности нельзя жить сухомяткой».

И так же, как то было с «Тёркиным», стремление показать все «варево» жизни породило и в прозе Твардовского «книгу без начала, без конца, без особого сюжета, впрочем, правде не во вред» — «Родину и чужбину». Одна из входящих в нее записей озаглавлена — «По сторонам дороги», и слова эти, и само содержание записи, думается, многое объясняют в авторском замысле.

Тут возникает уже знакомый читателю по «Дому у дороги», а здесь повторяемый снова и снова на других страницах книги образ гибнущей ржи — и шире: человеческого труда, мирной, нормальной жизни. Мы еще не раз прочтем, скажем, в описании оставшейся уже в глубоком тылу «путаницы траншей, ходов, укрытий, брустверов»:

«Все это рылось, сооружалось, возводилось по озими, и белая, пересохшая и перестоявшая все сроки, пропустившая через себя столько огня и тяжелых колес ржица там и сям торчит на гиблой, безжизненно желтой или серой, как скала, земле». (От самого этого повтора — «рылось, сооружалось, возводилось» — исходит ощущение непрерывного, грубого насилия и причиняемой этим не только земле, но и самому автору боли!)

И какая за этим увиденным «по сторонам дороги» бездна человеческого горя, как и за развалинами, пепелищами и пустырями, будь они в селениях, в природе или в человеческой душе!

Горе, испытанное и природой, и людьми, напоминает одно другое: «Края вырубленных (оккупантами в страхе перед партизанами. — *А. Т-в*) лесов еще не успели затянуться зеленью кустов подлеска и боковых, раскидистых сучьев. Больно и как-то странно видеть край леса, желтеющий стволами сосен, не закрывающих потайную, укромную глубину леса. Чем-то это похоже на здание, половина которого сверху донизу отхвачена силой взрыва, обнажены внутренние стены, крашенные каким-нибудь голубеньким цветом».

И в той же записи («Края опустевших лесов») рассказано о встрече с партизаном, батькой Минаем, в чьих «больших и добрых карих глазах не потухал ровный, отстоявшийся свет скорби, принятой навсегда сердцем и скрытой в нем» (о расстрелянных фашистами детях).

Столь же протяжён (или, может быть, протя́жен, как песня) мотив, обретающий в конце концов подлинную мощь, — гордости человеческой стойкостью и самоотверженностью в океане лишений и бед.

Мы помним, что уже в образе многодетной бе-

женки как бы предсказывалось все будущее «величие женского, материнского подвига в этой войне». А до чего притягателен и трогателен запечатленный в следующей записи образ санитарки (и подлинной героини) Нади Кутаевой — «девчонки в подростковой шинели... худышки, бледненькой», или совсем мимолетный «очерк пером» такой же «молоденькой, недавней, серьезной и скромной» девушки-санинструктора, еще только идущей на передовую. И уже целый рассказ посвящен трогательно-чистой, при всей опаленности войной, партизанке по прозвищу Костя, у которой «на счету» шесть взорванных эшелонов, а из наград за подвиги... поцелуй неизвестного командира ей, усталой и сонной (сладостно томящее девушку воспоминание...).

Однако писатель не упускает случая показать не только то, что красит встреченных людей, но и такие их черты, которые способны весьма озадачить.

«Курский мужик» Дедюнов причудливо совмещает подлинную находчивость и смелость с этаким практицизмом: «...Почему война длинная? Вот почему. Кабы сказали так: “Убей пять фрицев — и домой, твоя война кончилась”, — и каждый бы выполнил норму, и немцев бы не хватило на нас. А то я убью сто, а другой — ни одного».

Но не торопитесь с «выводами»! Дедюнов служит в тылу, в комендантском взводе, «сам здоровый, сытый, ни разу не раненный, кажется, всем своим хитрым и недобрым существом начеку — на страже своего теплого места» — и вдруг вечером:

«— Ухожу с этой должности. Воевать так воевать, правда? Скушно... Пойду в моторазведку. Попросился уже».

Твардовского даже как будто радует, когда люди опровергают его первые оценки. Осечка по части

быстрого, «снайперского» профессионального «попадания» с лихвой перекрывается открытием в человеке чего-то нового, неожиданного.

Но, разумеется, главное внимание и любовь автора отданы «коренникам» войны, несшим ее главную тяжесть. Порой какое-нибудь лицо выхвачено, высвечено буквально на миг, но такой это миг и такое лицо, что уже не забудешь. В бою за деревню на родной поэту Смоленщине «с десяток наших бойцов отбивали контратаки, уже многие ранены... бабы и дети в голос ревут, прощаясь с жизнью».

И вот «молоденький лейтенант, весь в поту, в саже и в крови, без пилотки, то и дело повторял с предупредительностью человека, который отвечает за наведение порядка:

— Минуточку, мамаша, сейчас освободим, одну минуточку...»

Но есть герои, изображенные самым основательнейшим образом, вроде бывшего бухгалтера, артиллериста Богданова с его «четвертой за войну пушкой»: из первой даже и выстрелить не успел — подбили, от второй самого́ раненым увезли, третью немецкие самоходки смяли. И незабываемый эпизод: летом 1943-го Богданов тащил свое орудие на позицию «лесом, в котором невозможно было найти ветку для маскировки — так он был оббит, обчесан огнем...».

На таком «фоне» поразительная совестливость Твардовского побуждала к самой беспощадной оценке и труда своих коллег, и не в последнюю очередь — собственного.

«Почему так устала душа, — читаем в летней записи 1944 года. — И не хочется писать?.. Вернее всего, по той причине, по которой мужик, помогавший другому мужику колоть дрова тем, что хекал за каж-

дым ударом того, первым устал, говорят, и отказался, не то попросил уж лучше топор. Мы хекаем, а люди рубят».

Как же была встречена «Родина и чужбина» — книга, редкостная по своей внешней пестроте и внутренней цельности, нимало не претендовавшая на последовательное повествование о войне и, однако, во многом имеющая уникальную, едва ли не летописную ценность?

«Очень вскоре читатель убеждается, что никакой постройки, никакого идейно-художественного цельного замысла в записях А. Твардовского нет, — писал критик В. Ермилов в статье «Фальшивая проза», напечатанной 20 декабря 1947 года в «Литературной газете», главным редактором которой он был. — Вам предлагаются факты и фактики, записывавшиеся в военные годы, сваленные в полном беспорядке: дескать, что видел, то и описал, а зачем описал — сам не знаю».

«Не может не броситься в глаза, что наблюдательность автора часто бывает удивительно мелочна, — говорилось и в статье работника ЦК партии Б. Рюрикова «“Малый мир” А. Твардовского» («Комсомольская правда», 15 января 1948 года), — что эпизоды, которым сам автор придает большое значение, порой оказываются лишенными подлинной значительности».

Дальше — пуще: «С А. Твардовским приходится спорить не о мелочах, не о частностях, а о самом главном: о взгляде на события и на людей, об общем тоне его повествования... Почти на каждой странице записей читатель находит мысли и образы, вызывающие резкое возражение... Увы, писатель оказался бессилен показать подлинную правду жизни».

Ефим Дорош, работавший тогда в «Литературной газете», был на заседании редакционной коллегии в день, когда появилась ермиловская статья. Он вспоминал, как с некоторым опозданием вошел Твардовский, уселся и, взяв свежий номер, стал его перелистывать...

Вскоре Александр Трифонович заметно изменился в лице, но сдержался и ограничился тем, что высказал недоумение, почему его, как-никак члена редколлегии, заранее не ознакомили со статьей.

Много лет спустя он писал, что о несогласии с ней изо всей редколлегии прямо заявил один лишь Николай Погодин, известный драматург, автор вполне «соцреалистических» пьес (одни «Аристократы» — о «перековке» заключенных на строительстве легко угадывавшегося Беломорско-Балтийского канала — чего стоят!), однако иной раз проявлявший независимость и «норов».

«Все молча понуро уставились — кто в газету, кто в стакан с чаем. Один этот мрачный беспартийный человек, сбычившись, как обычно, на другом конце стола, напротив Ермилова, — заговорил», — вспоминал поэт в своих рабочих тетрадях, на следующий день после погодинских похорон.

На том заседании Ермилов объяснял спешку, с которой была опубликована его статья без ведома многих членов редколлегии, «необходимостью» опередить «Культуру и жизнь» в развертывавшейся «проработочной» кампании. Оперативно подключился к ней и один из тогдашних секретарей правления Союза писателей Лев Субоцкий (кто в близком будущем сам угодит в «космополиты»!).

В своих «Заметках о прозе 1947 года» (Новый

мир. 1948. № 2) Субоцкий назвал «Родину и чужбину» «плодом политической ограниченности и отсталости», проявлением «тенденций, чуждых советской литературе», а на состоявшемся в том же феврале обсуждении книги в секции прозы Союза писателей выступил с пространной речью в том же духе, утверждая, что Твардовский в этом произведении живет в «маленьком затхлом мирке дореволюционной, доколхозной деревни»[1].

Слова «мирок», «маленький мирок», «малый мир» зазвучали применительно к автору и его героям и в речах других ораторов. Дошло даже до насмешек над «единоличным тюканьем топорика» знакомого читателю Михаила Худолеева, что Твардовский, дескать, описывает «с умилением».

Оказалось, что можно весьма высокопарно писать о народе-океане и в то же время презрительно, свысока отзываться о «каплях», из которых он состоит!

Претензии, предъявленные к «Родине и чужбине» авторами разносных статей, не слишком вразумительны. Но, думается, причина «проработки» очень проста: все сказанное в книге о войне и в особенности о первых годах мирной жизни находилось в явном противоречии с тем, как предписывалось «свыше» отражать эти события в литературе и искусстве, рассматривавшихся партийными идеологами исключительно в качестве пропаганды.

Еще не отгремели последние залпы, чуть не полстраны лежало в развалинах, когда в Приказе Верховного главнокомандующего от 1 мая 1945 года № 20 Сталин оповестил народ, что «наша социали-

---

[1] О книге А. Твардовского «Родина и чужбина» (Стенограмма обсуждения) // Вопросы литературы. 1991. № 9—10.

стическая экономика укрепляется и растет, а хозяйство освобожденных областей, разграбленное и разрушенное немецкими захватчиками, успешно возрождается».

Тон был задан. Вскоре многие именно так и настроят свои лиры. Да и сразу же после сталинской речи появилась высокопарная и, как всегда, витиеватая статья Леонида Леонова, завершавшаяся патетическим возгласом: «Хлестни по коням, возница!» (Что из того, что «кони» и так тянули из последних сил...)

Вскоре в книгах объявятся герои-чудотворцы, в два счета добивающиеся неслыханных успехов, вроде «кавалера Золотой Звезды» из одноименного романа С. П. Бабаевского (вышел в 1948-м) или Воропаева, героя романа П. А. Павленко «Счастье» (1947).

Ан тут — вслед за «Домом у дороги» — появляется книга, разительно иная по всей своей тональности, где реальное положение дел изображено во всей жестокой правде.

Освобожденные из немецкой неволи и возвращающиеся домой люди, по горестным словам автора, «бредут к обгорелым трубам, к пепелищам, к незажитому горю, которого многие из них еще целиком и не представляют себе, какое оно там ждет их».

Или вот переживший войну в родной деревне старик: «Он сидел возле избушки, срубленной из бревен, на которых еще видна была *окопная глина* (курсив мой. — *А. Т-в*)». Какого же труда стоило ему это «строительство»?! И при всей безунывности и чудаковатой обаятельности этого «мирового деда» (как определил его проезжий шофер) до чего же он обездолен, на что ни глянь:

«На нем были солдатский ватник и штаны из маскировочной материи с зелено-желтыми разводами. Он сосал трубку, чашечка которой представляла собой срез патрона от крупнокалиберного пулемета». Красноречивейшие «фактики»!

В очерке «В родных местах» Твардовский писал о своей поездке на Смоленщину осенью сорок шестого года:

«...Впечатление разоренности, бедности, голого человеческого горя, оставленного немцами на этом подворье, почти без всяких помех наполнило душу. Оно было тем сильнее и собраннее, что теперь уже были видны первые признаки возрождения жестоко и дико поломанной и потоптанной жизни.

Они, эти признаки, еще как те жидкие деревца, что посажены на могилах, только-только принялись и еще не могут скрыть своей тенью осевших от дождей, потрескавшихся от ветра бугров.

Перед глазами у меня пустынное, неровное поле, где пепелища бывших строений обозначены зарослями бурьяна, дедовника и крапивы, обвалившимися ямами погребов и еще приметными щелями, в которых загорьевцы укрывались от немецкой авиации.

На этом поле десяток избенок под соломенными, толстыми, необлегшимися крышами с торчащими в сторону будущих сеней концами решетника... Я не знаю строения печальнее и неприглядне избы без сеней в открытом поле».

Характерно, что у критиков Твардовского нет ни словечка об этих бросающихся в глаза любому непредубежденному читателю «сюжетах» (или «фактах»). Они опасаются их упоминать или — сохрани, Боже! — цитировать: заведи об этом речь, а читатель подумает или даже скажет: «Но ведь и в “Доме у до-

роги”, и даже в превозносимой вами теперь “Книге про бойца” была та же горькая правда (в трудно прошедшей в печать главе “Про солдата-сироту”)», — и поди тогда выкручивайся!

Уж лучше как-нибудь сторонкой, мимоходом возмутившись «декадентско-христианским восприятием своей родины» (Б. Рюриков), выразившимся, дескать, в словах автора: «Россия, Россия — страдалица, что с тобой делают!..» Откуда, мол, такое у советского поэта?!

Правда, читатель все равно недоумевает (если не возмущается): откуда?!

Да перечитайте то, что предшествует этому скорбному возгласу: воспоминания о первых месяцах войны — «горизонт в заревах, грохот канонады, а по сторонам шоссе осенняя мгла, пустые, темные хаты. Помню живую боль в сердце: — Россия, Россия-страдалица...».

Как бы то ни было, публикация «Родины и чужбины» была прекращена, и отдельным изданием книга вышла лишь десять с лишним лет спустя, в 1960 году, да и то еще не полностью.

Не было, например, записи о комбате Красникове с его «перевернутой» репрессиями тридцать седьмого года жизнью: выпущенный в 1941-м он, однако, оставался с неснятой судимостью и без командирского звания, а был — из «коренников», с августа 1942 года и до конца войны командовал полком; в мае 1960 года он прислал Александру Трифоновичу письмо.

Какого «чекана» был этот скромнейший, по сочувственным и уважительным словам поэта, — «простой и славный русский человек», видно хотя бы по приведенному в записи рассказу девушки-санитарки:

«Ползу среди трупов, среди раненых — от одного к другому — и вдруг вижу, ползет Красников, все лицо в крови, улыбается, перевязываться отказался: и так, мол, доберусь. И еще меня похваливает: молодец, дочка, цены тебе нет, умница моя. Это он, конечно, для бодрости духа мне сказал, — огонь действительно был очень сильный».

Противники Твардовского, в том числе и элементарные завистники, после случившегося с «Родиной и чужбиной» пытались, выражаясь «по-военному», развить успех и замахнуться на другие, даже получившие широкое признание произведения поэта.

Уже на обсуждении в секции прозы заговорили о том, что и в «Василии Тёркине» «есть элементы некоторой ограниченности» и что «на это указать нужно», а в «Доме у дороги» «колхозом не пахнет», «нет ни одного слова о колхозе». «Почему же ничего, кроме восторгов, о “Доме у дороги” мы не читали?» — негодующе вопрошала критик Зоя Кедрина[1].

В архиве Твардовского сохранялась верстка уже было подготовленной к печати статьи весьма известного поэта, в которой внимание акцентировалось на том, что в «Тёркине» нет упоминаний ни о Ленине и Сталине, ни о партии вообще. Автор и впоследствии продолжал при удобном случае напоминать, что в героях Твардовского «не развиты черты нового, отличающие нашего колхозника от прежнего крестьянина, бойца Советской Армии — от русского солдата былых времен».

Что ж, читать такое поэту было не в новинку: в рюриковской статье («“Малый мир” Твардовского») среди прочего говорилось, что «символом рус-

[1] Вопросы литературы. 1991. № 9—10.

ского слишком часто изображаются им березка да ручеек, протекающий лесным долом; к новому в жизни и к новому в пейзаже страны А. Твардовский проявляет куда меньше интереса».

Александр Трифонович мог бы сказать, как лесковский Левша после выволочки: «...Это нам не впервые такой снег на голову» (вспомнить хотя бы «кулацкого подголоска»!).

«А о решении суда читательского можете быть спокойны: симпатии — на Вашей стороне», — сказано в одном из писем, полученных поэтом как раз в пору «проработки» «Родины и чужбины».

«...Я знаю, Ваше перо врать не может, — горячо писал и двадцатилетний Дмитрий Талалаев, — и кажется невероятным то, что пишет критик о “Родине и чужбине” (я не читал это произведение — не могу достать, но я думаю, я верю, что и там Ваше перо шло по пути, направленном сердцем тонким и чутким — и разумом широким)».

Глава шестая

ПЕРВАЯ РЕДАКТОРСКАЯ СТРАДА

Маршак рассказывал, что они с Твардовским мечтали «завести» свой журнал еще в 1938—1939 годах. И когда в начале 1950 года Александра Трифоновича вдруг «сосватали» на «Новый мир» (дотоле возглавлявший его Константин Симонов переходил в «Литературную газету»), жена А. К. Тарасенкова, М. Белкина, напомнила Твардовскому, как они с Анатолием Кузьмичом хотели, чтобы им дали журнал.

— Дать-то дали... — со вздохом сказал он.

Действительно, ситуация, в которой произошло «исполнение мечты», оставляла желать лучшего. 1949 год прошел под знаком одной из самых шумных и грязных проработочных кампаний — борьбы с так называемым «буржуазным космополитизмом», получившей явственный антисемитский характер[1]. Годом раньше на печально (если не позорно) известной сессии Всесоюзной академии сельскохозяй-

---

[1] Она и позже давала новые «вспышки». Так, в 1951 году не кто иной, как член редколлегии «Нового мира» Михаил Бубеннов попытался оживить ее статьей «Нужны ли сейчас литературные псевдонимы?».

ственных наук подверглась разгрому генетика. Буржуазной наукой объявили новорожденную кибернетику...

Тем не менее, как писал Исаковский Рыленкову (7 марта 1950 года), Твардовский «очень ревностно принялся за работу».

«А<лександр> Т<рифонович> увлекся работой в журнале сразу, — вспоминает и сотрудница редакции Софья Караганова. — Во время первого своего выступления на редколлегии... он очень волновался, от этого казался особенно красивым и молодым. Говорил приподнято, даже немного (по тем временам) старомодно. Слова забылись, но ощущение запомнилось» (*Караганова С.* В «Новом мире» Твардовского // Вопросы литературы. 1996. № 3).

Одним заместителем главного редактора стал Анатолий Кузьмич Тарасенков, другим — Сергей Сергеевич Смирнов, вскоре получивший широкую известность своими радиопередачами и книгами о героях обороны Брестской крепости. Членами редколлегии оставались бывшие и при Симонове Валентин Катаев, Константин Федин, Михаил Шолохов и автор превознесенного критикой романа «Белая береза» Михаил Бубеннов («передовых», «сознательных» героев его книги ставили в пример Твардовскому на обсуждении «Родины и чужбины»).

Близки были к журналу и нередко сотрудничали в нем друзья поэта — Маршак, философ Михаил Лившиц, бывший разведчик Эммануил Казакевич, прославившийся повестью «Звезда», критики Владимир Александров и Игорь Сац[1]. Последние вмес-

---

[1] Литературный секретарь А. В. Луначарского; в 1953—1954 годах — сотрудник отдела критики «Нового мира», в 1965—1970 годах — член редколлегии.

те с Твардовским горячо поддержали первую повесть Виктора Некрасова «Сталинград» (позже печаталась под названием «В окопах Сталинграда»), ставшую благодаря правдивому изображению войны образцом для многих авторов.

Притягательна была сама личность нового главы журнала.

«Стихи и статьи поступают в распоряжение Александра Трифоновича Твардовского, — писал 2 июня 1951 года Николай Асеев Александру Фадееву о своих новых работах, — с которым я довольно близко сошелся на почве общей ревнивой любви к слову, к стиху неподдельному, ненарочитому. Он очень чуток в этом, и мы в редакции часто проговариваем часами... Он мне очень нравится, даже когда не согласен со мной и высказывает свое. Именно, может быть, потому, что у него есть свое, не заимствованное и не показное». И позже: «Вообще с А. Твардовским как-то *производительно* (курсив мой. — *А. Т-в*) разговаривать».

Атмосфера в редакции была отнюдь не общепринятой.

«Я скоро понял, — писал новый сотрудник, в будущем один из верных помощников Твардовского, Алексей Кондратович, — здесь работают, когда нужно, а не когда полагается по службе, рабочих часов здесь фактически нет. И понял я, что Твардовский совсем не "фирменный редактор", это выражение я потом услышал от него, и означало оно "редактор для обложки", для подписи, для торжественности звучания, а не для дела.

...Я заметил: Твардовский уезжает вечером с толстой папкой, в ней рукописи, верстки, письма. И предупреждает: "Я буду завтра" или: "Приеду послезавтра", и, значит, к этому времени папка будет

просмотрена, прочитана, ответы написаны, верстки исчерканы карандашом.

...Если ему что-то нравилось, он не откладывал похвалы автору на завтра: тут же звонил или писал письмо».

Сам Александр Трифонович впоследствии относился к этому периоду своей редакторской деятельности как к еще недостаточно зрелому и эффективному. Не много внимания уделяется ему и в критике. «Существует недобрая легенда, что в годы своего первого редакторства Твардовский действовал чуть ли не на ощупь, — писала исследователь его творчества Марина Аскольдова-Лунд (Швеция, Гётеборг) в статье «Сюжет прорыва. Как начинался “Новый мир” Твардовского» (Свободная мысль — XXI. 2002. № 1, 2) и горячо оспаривала это мнение: — Это неправда. Идя в “Новый мир”, он знал, за что собирается бороться. В его военной поэзии и очерках была сконцентрирована нравственная программа будущего журнала. Если какие-то направления и открывались им заново, то все равно они были заложены в предшествующем его творчестве».

И чуть позже: «Война и трагедия деревни слились для Твардовского в единую трагическую стихию, в поток, который питал журнал».

Конечно, «Новый мир» начала 1950-х годов еще не тот, каким сделался позже. Любопытная частность: в одном из первых номеров, подписанных новым редактором (№ 10 за 1950 год), помещена пространная статья В. Ермилова «Советская литература — борец за мир», где неоднократно одобрительно говорится о Твардовском. В дальнейшем такого не будет никогда. Да и вообще подобные малосодержательные опусы станут появляться в журнале все

реже — даже по обязательным, официальным или юбилейным поводам. И сами имена Ермилова и близких ему по духу и приемам авторов в будущем просто непредставимы на новомирских страницах.

Зато они широко открыты для таких дебютантов, как недавний выпускник Литературного института Юрий Трифонов с романом «Студенты», учительница Любовь Кабо (роман «За Днестром»), новеллисты Борис Бедный и Владимир Дудинцев, молодые поэты Константин Ваншенкин и Расул Гамзатов.

То, что в отличие от других изданий здесь все чаще появляются смелые аргументированные оценки текущей литературы, соответствовало стойкой позиции главного редактора. «Твардовский был в нашей среде одним из тех, кто при характерном для того времени общем ослаблении художественных критериев, — вспоминал много лет спустя Константин Симонов, — ...соблюдал довольно суровый уровень публичных литературных оценок... Запомнилось и чисто зрительно: угрюмо-насмешливое, подпертое рукой, откуда-то сбоку глядящее на тебя укоризненное лицо Твардовского в те минуты, когда ты преувеличенно хвалишь что-то, что на самом деле не след хвалить» (*Симонов К.* Таким я его помню // Воспоминания об А. Твардовском. Сборник. М., 1978).

Своей бескомпромиссностью и прямотой в оценках, порой довольно резких и получавших широкое распространение[1], поэт наживал себе немало врагов, зато вносил некий освежающий «озон» в тогдашнюю литературную атмосферу и целиком

---

[1] Так, о стихах довольно известного поэта Твардовский сказал при обсуждении кандидатур на Сталинскую премию, что такие стихи может научить писать даже теленка.

определял дух и направление возглавляемого им журнала.

М. Аскольдова-Лунд верно отмечает, что Твардовский «озаботился “обратной связью”: читатель — журнал»: «публикует письма читателей о литературе, о произведениях, напечатанных в “Новом мире”...» Надо добавить, что читатель и сам потянулся к журналу именно в силу существовавших там высоких критериев, почувствовав, что именно на этих страницах можно получить возможность высказаться со всей определенностью. И появление в «Новом мире» раздела, так и названного — «Трибуна читателя», было вполне естественно и закономерно.

Примечательно также, что в «Новом мире» регулярно публиковались подробные, серьезные обзоры провинциальных журналов и альманахов.

Самостоятельность редакции сказывается и в том, что, невзирая на все «проскрипционные списки», в журнале нет-нет да и появляются рецензии заклейменных как космополиты критиков — А. Аникста, Д. Данина, А. Мацкина. Это не укрылось от бдительного ока руководящих инстанций, и когда «Новый мир» поместил большую статью А. Гурвича «Сила положительного примера» (о романе Василия Ажаева «Далеко от Москвы»), последовал грубый окрик из «Правды». Еще до этого «погрозили пальчиком» и самому главному редактору за его «недостаточно критичный» по отношению к зарубежной действительности путевой очерк «На хуторе в Тюре-фиорде».

На обсуждении правдинской статьи «Против рецидивов антипартийных взглядов в литературной критике» (28 октября 1951 года) в Союзе писателей, которое открылось докладом Н. Лесючевского, в

литературных кругах «прославившегося» своими доносами в 1937—1938 годах, особую ретивость в «покаянии» выказал Валентин Катаев, заодно объявивший главным виновником «грубой идейной ошибки» Твардовского. А тот «ритуал» признания ошибок соблюл, но одновременно с достоинством дал понять, что не собирается впадать по поводу случившегося в панику и посыпать голову пеплом.

Вскоре в «Новом мире» было опубликовано произведение, с которым автор безуспешно обивал пороги других редакций. Это был очерк Валентина Овечкина «Районные будни», впервые обнаживший всю грубую и порочную механику партийного руководства сельским хозяйством и откровенного пренебрежения интересами самих колхозников во имя «победных» рапортов о хлебопоставках. Известный экономист Геннадий Лисичкин, тоже автор «Нового мира», впоследствии подчеркивал, что писатель показал полную оторванность производителя от распределения продуктов своего труда («Тернистый путь к изобилию»).

«До “Районных будней”, — скажет поэт-редактор позже, — в нашей печати много лет не появлялось ничего похожего на этот очерк по его достоверности, смелой и честной постановке острейших вопросов» («По случаю юбилея»).

Кондратович вспоминал:

«Твардовский начал читать рукопись в редакции, но то посетитель зайдет, то звонок отвлечет, а рукопись уже не отпускала, и он дочитывал ее в машине по дороге на дачу и был так потрясен, что — я повторяю его много позднее сказанные слова: “Я заплакал (ах, уж эта «бабья душа», давно болевшая за деревню... — *А. Т-в*). И даже подумал повернуть машину обратно. Но уже подъезжали к даче, и ре-

шил все-таки отложить дело до утра. Но наутро сразу поехал в редакцию и по дороге, еще до Москвы, в сельском почтовом отделении послал Овечкину телеграмму:

"15.VII.52. Работа безусловно интересная. Будем печатать..."»

Потрясение Овечкина при получении этой телеграммы, пришедшей всего на третий день после его возвращения домой, было, вероятно, тем более сильным, что он помнил о собственном выступлении на обсуждении «Родины и чужбины» (потому, наверное, и принес рукопись в «Новый мир», уже только совершенно отчаявшись и вряд ли рассчитывая на успех и здесь).

«Самое радостное у меня за прошлый год — это встреча с Вами, — писал Валентин Владимирович 11 января 1953 года. — Знал я до сих пор Твардовского как поэта, узнал и как человека. Богаче стал».

Очерк напечатали стремительно — в сентябрьском номере 1952 года, и он произвел фурор. «...Да как они (Твардовский со товарищи. — *А. Т-в*) в год "Экономических проблем социализма в СССР" (последней работы Сталина, по мнению автора статьи, полностью оторванной от реальной жизни. — *А. Т-в*), в месяц, когда одобряется доклад Маленкова на XIX съезде (зерновая проблема решена!!), смогли протащить "борзовщину" (Борзов — секретарь обкома, олицетворение грабительской политики по отношению к колхозам. — *А. Т-в*), внедрить ее в круг жизни — и сами при этом уцелеть!» — диву давался потом один из последователей Овечкина, Юрий Черниченко[1].

---

[1] См.: *Черниченко Ю.* Учитель [Предисловие] // *Овечкин В.* Собрание сочинений: В 3 т. М., 1989. Т. 1. С. 16.

Когда принесли так называемый сигнальный номер, где были опубликованы «Районные будни», сияющий Александр Трифонович сказал: «Ну, теперь поплыло!» И действительно, вслед за многочисленными взволнованными откликами в печать хлынули и близкие по теме и пафосу статьи, очерки, рассказы В. Тендрякова, Л. Иванова, Г. Радова, Г. Троепольского и др.

Очерк Овечкина подготовил и рождение так называемой деревенской прозы и облегчил ее прохождение.

Для самогó же «Нового мира» «Районные будни», по позднейшему определению Твардовского, стали началом «линии» журнала — «линии жизненной правды в двуедином направлении (литературно-художественном и публицистическом)».

Если эта публикация была неожиданной и скорой, то история появления в «Новом мире» романа Василия Гроссмана «За правое дело» долга и мучительна.

Василий Семенович был давним знакомым поэта. Дружба с «Васей», как он часто именуется в переписке Твардовского с женой, особенно укрепилась в войну. «...Больше, чем кому-либо, желаю ему успеха, — говорится в письме жене (30 марта 1942 года). — ...Это мой лучший товарищ, который все хорошо и благородно оценивает». И когда им пришлось разлучиться, Александр Трифонович сожалел: «...уехал человек, который был мне здесь очень дорог, умный, прочный, умевший сказать вовремя доброе слово». Выше уже упоминалось, что трагические события лета 1942 года друзья, будучи в одно время в Москве, вместе переживали и обсуждали.

В 1943 году Гроссман начал работать над романом о Сталинградской битве, свидетелем которой был в

течение нескольких тяжких месяцев и о которой тогда же написал «Направление главного удара» и другие замечательные очерки, читавшиеся едва ли не всей страной.

«Я очень рад за тебя, что тебе пишется, — сказано в письме Твардовского в июне 1944 года, — и с большим интересом жду того, что у тебя напишется... Просто сказать, ни от кого так не жду, как от тебя, и ни на кого не ставлю так, как на тебя...»

Однако если и во время войны, по выражению поэта, «без затруднений дело проходит лишь у современных Кукольников, у которых все гладко, приятно», то после постановлений ЦК 1946—1948 годов и в пору «борьбы с космополитизмом» Гроссман вкусил «затруднений» в полной мере. Не увидела света подготовленная им вместе с Эренбургом «Черная книга» об истреблении евреев на оккупированной фашистами территории, была осуждена за «идейную ущербность» опубликованная предвоенная пьеса «Если верить пифагорейцам...».

Закончив роман, Василий Семенович предложил его «Новому миру» еще тогда, когда журнал редактировал Симонов. Тот после долгих проволочек отверг рукопись, но еще не вернул автору, и она оказалась в руках у «новичков».

«Первым прочел роман Тарасенков — и пришел в восторг, — вспоминал ближайший друг писателя, поэт Семен Липкин, — поздно ночью позвонил Гроссману. Потом прочел Твардовский — и разделил мнение своего заместителя» (*Липкин С.* Жизнь и судьба Василия Гроссмана. М., 1990).

Однако опубликовать эту книгу, ошеломлявшую своим жестоким реализмом (чего стоила одна только поголовная гибель батальона Филяшкина, защищавшего сталинградский вокзал!), было непросто.

В грубой форме высказался против Шолохов[1]. По просьбе редакции Гроссману пришлось сделать много вставок, поправок и всяческих изменений; все это заняло почти три года.

К несчастью, вскоре же после завершения публикации романа «За правое дело» (1952. № 7—10) грянуло страшное и смрадное «дело врачей», этот «девятый вал» антисемитской кампании, и Гроссман, а с ним и «Новый мир» сделались одной из главных ее мишеней.

Тринадцатого февраля 1953 года «Правда» поместила пространную, занявшую целых два газетных «подвала», разгромную статью Бубеннова «О романе В. Гроссмана “За правое дело”», положившую начало форменной травле автора и журнала, в которой принял участие даже еще недавно восхищавшийся художнической смелостью Гроссмана Фадеев. Пришлось «каяться» и редколлегии «Нового мира», и самому Твардовскому, что надолго рассорило друзей.

Огульной критике за мнимый «пессимизм» в изображении войны подверглись также повесть Казакевича «Сердце друга», открывавшая новогодний номер, и несколько статей. А по воспоминаниям хрущевского зятя, известного впоследствии журналиста А. Аджубея («Те десять лет»), тучи собирались уже и над «Районными буднями».

Возможно, только смерть Сталина помешала появлению очередного «исторического» постановления, мишенью которого на этот раз стал бы именно «Новый мир».

---

[1] «Главная мысль <Шолохова>, помнится, такая, — вспоминал Липкин: — “Кому вы поручили писать о Сталинграде? В своем ли вы уме? Я против”». Между тем Гроссман провел в Сталинграде самые страшные месяцы, и присланные им оттуда очерки получили широкую известность.

Постепенно, с приходом Н. С. Хрущева к власти, обозначавшаяся к середине 1953 года «оттепель» в политике и общественной жизни нашла у Твардовского и его сотрудников горячую поддержку, хотя к самому покойному вождю поэт продолжал относиться с большим уважением и даже несколько демонстративно именовать себя «сталинистом», хотя и не «дубовым» (к слову сказать, от «дубового» Бубеннова наконец удалось избавиться).

Продолжая «овечкинскую» линию, «Новый мир» опубликовал очерки Гавриила Троепольского «Из записок агронома», повести Владимира Тендрякова «Падение Ивана Чупрова», «Ненастье» и «Не ко двору», а также большую статью Федора Абрамова (впоследствии известного прозаика) «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», обстоятельно критиковавшую книги С. Бабаевского, Е. Мальцева и других авторов за явное приукрашивание трудной жизни крестьянства и состояния сельского хозяйства.

Почин же такому откровенному и бескомпромиссному разговору о литературе, характерному и для ряда других «новомирских» статей, в сущности, положил не кто иной, как сам Твардовский, опубликовав в июньской книжке журнала за 1953 год несколько глав своего нового поэтического произведения «За далью — даль».

Некоторые из них по отдельности уже печатались в «Литературной газете», «Известиях» и «Правде». В новых же шла речь именно о литературе — и о собственных «муках слова», по известному выражению, и об отношениях с читателем (всегда занимавшая поэта тема), и об отражении современной жизни в книгах.

В главе, вскоре и название получившей «Литературный разговор», от имени дорожных попутчиков

Когда в безвестности до срока
Иль в забвеньи ты, поэт,
Творишь свой замысел высокий,
Заветный свой хранишь секрет;
Готовишь людям свой подарок,
В тиши задуманный давно, —
Ты можешь быть больным и старым,
Нестарым, — счастлив все равно.

И пусть иной найдет мороку —
Нелестный толк, обидный суд,
И пусть бранить тебя жестоко,
Напрасно, может быть, начнут —
Ты слышишь это и не слышишь
В заботах милого труда:
Тем часом ты сидишь и пишешь,
Ты занимаешь города.

И все с тобою в этот час —
Твоя Варшава, твой Берлин,
И слава, что еще в запасе,
И ты на свете не один...

...Веди придет в иную пору. (и т. д.

2.[illegible]50

А. Твардовский

«За далью – даль». *Автограф. 1950 г.*

автора высказываются различные претензии к писателям, и среди них столь меткие и язвительные, что они быстро вошли в обиход, запомнились и постоянно цитировались:

Глядишь, роман, и все в порядке:
Описан метод новой кладки,
Отсталый зам, растущий пред
И в коммунизм идущий дед,

Она и он — передовые,
Мотор, запущенный впервые,
Парторг, буран, прорыв, аврал,
Министр в цехах и общий бал...

И все похоже, все подобно
Тому, что есть иль может быть,
А в целом — вот как несъедобно,
Что в голос хочется завыть.

Завершается же глава фантастической сценой — разговором с редактором, который, как оказалось, живет... в душе самого писателя (в критике его тут же стали звать «внутренним»), который, опасливо предвидя всякие возражения и замечания, собственноручно себя оскопляет.

И словно в продолжение начатого поэтом разговора, полгода спустя появилась в журнале «Новый мир» статья прозаика Владимира Померанцева «Об искренности в литературе» (1954. № 12), получившая большой общественный резонанс. Автор страстно и безоглядно запальчиво осуждал книги, где «все в порядке», — далекие от жизни с ее конфликтами и удручающе однообразные — и настойчиво, простодушно и довольно наивно призывал собратьев последовать примеру Овечкина и «отбросить все приемы, приемчики, способы обхода противоречивых и трудных вопросов».

Затем Михаил Лифшиц в статье «Дневник Мариэтты Шагинян» (1954. № 2) едко высмеял «сокращенный метод изучения жизни», как он выразился.

Яркими статьями в столь же критическом духе дебютировал в журнале, и литературе вообще, недавний выпускник университета Марк Щеглов. Размышляя о романе Л. Леонова «Русский лес» (1954. № 5), он высказал крамольную по тому времени мысль, что отрицательные явления порождаются в советской жизни отнюдь не только «пережитками прошлого», как твердила официальная критика, а и «новорожденными» общественными условиями, в другой же статье (о романе О. Черного «Опера Снегина») прозрачно намекнул на пагубное воздействие на искусство одного из «исторических» постановлений ЦК (о музыке).

Все это не прошло Твардовскому даром: началась очередная массированная проработка. «...У меня большие тревоги в журнале, — сообщал Александр Трифонович Овечкину 2 мая 1954 года, — (всякая “тьма” во главе с Сурковым ведут атаки против меня, дело может дойти до моего ухода или снятия), и это нехорошо, это дурной знак с точки зрения судеб литературы. Вообще бог знает что творится».

И действительно, «атаки» увенчались решением ЦК партии 23 июля 1954 года об «освобождении» (характернейший бюрократический оборот речи!) поэта от обязанностей главного редактора. В свою очередь, и президиум правления Союза писателей принял аналогичное постановление, полное политических обвинений и грубейших передержек при изложении содержания «идейно-порочных», «нигилистических», «эстетских» статей: В. Померанцев якобы призывал к «одностороннему показу и раз-

дованию отрицательных явлений нашей действительности», Ф. Абрамов «прямо выступает... в защиту косного и отсталого» и т. п.

Однако ни в этом постановлении, ни в печати ни слова не было сказано о главном «проступке» редактора — поэме «Тёркин на том свете», поименованной лишь в закрытой части решения ЦК.

Выше упоминалось о том, что «Книга про бойца» вызвала огромный поток писем. После войны он не только не иссяк, но даже набрал новую силу.

Узнав, что поэт распрощался с Тёркиным, многие огорчились, а иные даже вознегодовали: «Куда вы дели Тёркина? Почему не пишете о его мирных делах?» и т. п. Звучал какой-то огромный, наивный и трогательный читательский «хор»:

Где он, Тёркин, расскажите,
Сомневается народ.
...Вася Тёркин, где ты, что ты?
...Где же Тёркин запропал?
...Надо бы еще его продолжить.
...Я хочу, чтоб зазвучала
Снова песня про бойца,
У которой нет начала,
Пусть не будет и конца.

И — тьма подсказок, куда «направить» героя, какую мирную профессию ему дать. И уже «самодельные» стихи о Тёркине-колхознике, солдате-сверхсрочнике, рабочем, даже пожарнике и милиционере...

Твардовский счел необходимым «объясниться». Его статья «Ответ читателям “Василия Тёркина”» (Новый мир. 1951. № 11) — вскоре переименованная: «Как был написан “Василий Тёркин” (Ответ читателям)» — не только обстоятельно рассказывала об истории создания книги; автор писал, что

не хочет и не может «эксплуатировать» готовый, сложившийся образ и просто «увеличивать количество строк под старым заглавием, не ища нового качества».

Не все, однако, были удовлетворены прочитанным. И не только по наивности. Примечательно проникновенное письмо столь высокого «профессионала», как известный украинский сатирик Остап Вишня.

Сказав, что «совершенно согласен» с «хорошей статьей», он продолжал: «Но любя Вас, любя Вашу работу (подчеркиваю!), — печаль какая-то, что Вы прощаетесь с Тёркиным.

По-моему, он нужен.

Творчески Вы правы! Жертвенно правы, боясь назойливости. Но... хотелось бы, чтобы Теркин жил.

А может быть, и найдется? Это очень, я знаю, трудно, но возможно!

Вы столько дали радости Тёркиным своим, что аж страшно с ним расставаться».

Внимательно перечитывая ныне и некоторые другие из читательских писем, кажется, различаешь некоторые «опорные пункты», которые позволили поэту «пересмотреть» свое прежнее твердое решение и вернуться к любимому герою.

Впрочем, если быть точным, — к замыслу еще военных лет, когда в январе 1944 года Твардовский занес в рабочую тетрадь набросок главы «Тёркин на том свете», не получивший, однако, продолжения и развития. (И трудно гадать, каким это продолжение должно было быть.)

Новое же обращение к этой фабуле было явно порождено обострившимся у поэта после войны неприятием многих явлений, пышно расцветших в атмосфере утвердившегося режима.

Иные читательские письма не могли не дать новой пищи для трудных размышлений об этом. Даже в пренаивном стихотворении младшего лейтенанта милиции П. Лыкова, сделавшего Тёркина своим сослуживцем, обращали на себя внимание слова о том, что теперь «приходится сражаться не с фашистами, а с жульем». Что ж говорить о письмах (воплях!) вроде нижеследующего, по понятным причинам отсутствовавшего в эпистолярной подборке, которой сопроводила вдова поэта издание «Книги про бойца» в 1976 году, еще в брежневские времена:

Поэт Твардовский, извините,
Не забывайте и задворки,
Хоть мимолетно посмотрите,
Где умирает Вася Тёркин,
Который воевал, учился,
Заводы строил, сеял рожь,
В тюрьме бедняга истомился,
Погиб в которой ни за грош.
Прошу мне верить, я Вам верю.
Прощайте! Больше нету слов.
Я Тёркиных нутром измерил,
Я Тёркин, хоть пишусь
Попов.

Твардовскому и прежде случалось читать в солдатских письмах: «Я самый тот Василий Тёркин», или: «...Если бы спросили... Кто, мол, Тёркин тот, Василий? — Я б ответил: — Это я». — Но такое письмо, такой поворот судьбы одного из разнофамильных «Тёркиных», — могли ли не потрясти «бабью душу»?

Впоследствии на втором съезде советских писателей, в декабре 1954 года, поэт Александр Яшин, сожалея, что Твардовский «в эти годы вообще перестал писать о советской деревне», объяснял это тем, что автор «Тёркина», дескать, «спасовал перед слож-

ной обстановкой, сложившейся в ряде наших колхозов после войны, спрятал свою голову под крыло».

Между тем помимо написанного о послевоенной деревне в «Родине и чужбине» Твардовский отнюдь не «спасовал» сказать правду о куда более «сложной обстановке» во всем обществе.

«Тот свет», куда в новой поэме попадает Тёркин, разительно похож на реальную действительность советского времени. Как говорит встретивший героя «генерал-покойник», «на том свете аппарат, как на этом свете». Тут и «стол проверки», местный отдел кадров, с требованием «кратко и подробно» изложить свое «авто-био». И Преисподнее (читай: партийное) бюро, на котором со смаком мусолят «персональное дело», и, в точности, как у живых, «признает мертвец ошибки, извернуться норовит». И сборище, столь же усердно обсуждающее... план романа. И редактор местной стенгазеты, который «весь в поту, статейки правит», читая их и сверху вниз, и снизу вверх (вскоре в стихотворении «Московское утро» его коллега будет советовать автору для проверки читать стихи даже «справа налево»!). И «пламенный оратор», витийствующий... перед пустым залом.

Паек на том свете «условный»: «Обозначено в меню, а в натуре нету». «Вроде, значит, трудодня в горевом колхозе», — понимающе говорит Тёркин, лаконично определяя то, что Яшин именовал «сложной обстановкой». Читатель же мог истолковать слова о «меню» и «натуре» и в более широком смысле — о правах и «свободах», «гарантированных» в конституции, но в действительности отсутствующих.

Ошеломленному всем увиденным Тёркину удается избежать мертвой хватки «того света» и выбраться к живым, на волю. Но то в поэме!..

Твардовский завершал ее весной 1954 года[1], когда проработка «Нового мира» уже шла полным ходом. Фадеев выговаривал Александру Трифоновичу за померанцевскую статью... не прочитав ее, а зная только в изложении возмущенного ею секретаря ЦК П. Н. Поспелова, являвшего собой классический образец начетчика и догматика (легко представить, как был уязвлен этот многолетний редактор «Правды» фигурой своего бдительного «коллеги» с того света!).

«Скорее всего — придется уходить из журнала, — сделал поэт вывод из разговора с прежним другом, — не для меня беда. Жаль только, что такого журнала уже не будет».

Но поэму он все-таки хотел успеть напечатать, хотя одно это намерение подлило масла в огонь разгоравшегося инквизиционного костра.

«Читала я, — вспоминала С. Караганова, заведовавшая в журнале отделом поэзии, — чувствуя холодок по спине, невольно оглядываясь на запертую дверь комнаты. Мне было страшно... Сталин умер меньше года назад».

«Интересно — оторвут ему за это голову?» — бормотал Николай Асеев, слушая, как автор читает поэму собравшимся в редакции, хотя и сам подтвердил: «Что до того света, то все совершенно верно — я давно на нем живу».

«Тот свет» был разгневан. Поспелов назвал поэму «клеветнической вещью», «пасквилем на советскую действительность». Но Твардовский долго и упорно стоял на своем, утверждая, что пафос произведения — это «суд народа над бюрократией и аппарат-

---

[1] В дневнике К. Чуковского 23 марта 1954 года отмечено, что Федин рассказывал ему о новой, «прелестной, едкой» поэме, прочитанной на его даче автором.

чиной» и что он положил на поэму «все силы своей души».

«Очень приятно видеть Александра Трифоновича после всех неприятностей здоровым и величавым», — восхищенно писал Марк Щеглов другу, Владимиру Лакшину (тоже недавно дебютировавшему в «Новом мире» как критик, а впоследствии ближайшему сотруднику Твардовского).

Радовались слухам, что, как говорилось в том же письме, «на Секретариате Хрущев сильно наподдал тем, кто жаждал крови, сказал, что с Твардовским нельзя так обращаться, как вы предлагаете, что другого такого у нас нет...».

Но, как сказано в «клеветнической вещи», аппарат — это «вдоль и поперек — стена, сдвинь-ка стену эту...». Не по силам было такое и Хрущеву.

На помощь «аппарату» поспешили добровольцы. «Все выступавшие единодушно осудили порочную линию, которую занимал в последнее время журнал "Новый мир" в вопросах литературы», — говорилось в «Литературной газете» (1954. 17 августа) о заседаниях писательской «верхушки». Уже известный читателям этой книги Лесючевский публично рекомендовал Твардовскому поступить со своим «детищем» — поэмой, как... Тарас Бульба с сыном-изменником. Сначала взахлеб хваливший ее Катаев теперь (с перепуга?) опустился до форменного доноса.

«Я должен сказать, что такого поведения, таких ошибок можно было ожидать от Твардовского, — заявил он на заседании ЦК КПСС (23 июля 1954 года). — Я расскажу такой случай. Я написал путевой очерк о путешествии на машине из Москвы в Крым через Украину. Принес его Твардовскому. Твардовский прочитал и сказал мне:

— Ну, Валентин Петрович, это несерьезно. Вы что, не знаете, что происходит в стране, положение в сельском хозяйстве? Неужели вы ехали через всю Россию и ничего не видели? Нам нужны другие очерки, нам нужны очерки типа "Путешествия из Петербурга в Москву" Радищева.

Вы понимаете, товарищи, куда он меня тянул, к чему он меня призывал?»[1]

Кондратович вспоминал, что «было много другого — подлого, тяжкого, омерзительного, что всегда обнаруживается в кризисные моменты».

«Освобождение» Твардовского от редакторства состоялось 23 июля 1954 года по постановлению ЦК КПСС.

И, в очередной раз вынужденный «признавать ошибки», поэт выписал в рабочую тетрадь слова любимого им Салтыкова-Щедрина о мучительности «признания разумным неразумного» и горестно прокомментировал их: «Добавить можно только то, что "недоразумения", происходящие от "форм жизни", враждебных тебе по самому изначальному существу своему, это еще не так горько, как "недоразумения" от "форм жизни", за которые ты готов положить голову и вне которых не представляешь себя человеком».

Однако все умножавшееся количество этих «недоразумений» не могло не подрывать веры в «наличествующие» «формы жизни».

Завершая рассказ о первой редакторской страде поэта, вновь приведем слова вышеупомянутой исследовательницы его судьбы и творчества М. Аскольдовой-Лунд:

[1] «"Едва раскрылись первые цветы..." "Новый мир" и общественные умонастроения в 1954 году» // Дружба народов. 1993. № 11. С. 221.

«“Новый мир” Твардовского в годы его первого редакторства (1950—1954) стал первой ласточкой общественного обновления... журнал опередил политиков минимум на два-три года, провозгласив курс на десталинизацию жизни в литературе. “Оттепель” как эпоха раскрепощения сознания во многом пришла со страниц “Нового мира”. Это был первый в послевоенном Советском Союзе журнал, дерзнувший вырабатывать собственное направление, собственную эстетическую и гражданскую позицию, которая по многим аспектам расходилась с официальной, общепринятой и была, по существу, ее отрицанием».

Глава седьмая

ГОДЫ «САМОИЗМЕНЕНИЯ»

Ветер какой — ты слышишь? —
Как раскачал дубы:
Желуди по железной крыше —
Грохот ночной пальбы.

Горький загул погоды
В поздней безлюдной мгле,
Словно всей жизни годы,
Гонит листву по земле.

Друг мой такой далекий,
Где там забыться сном:
В этой ночи глубокой
Мне без тебя одиноко,
Как одному под огнем...

(«Ветер какой — ты слышишь?..»)

Стихи, датированные 1954 годом и, очевидно, написанные осенью, после пресловутого «освобождения» от дела, которому отдавался со всей страстью, не нуждаются, думаю, в пояснениях.

И все же «затруднения» (щедринское «эзопово» словцо!), с которыми столкнулся поэт, были для него горьки и тяжелы не только и, может быть, даже не столько «лично». Вспомним сказанное еще только в предвидении вынужденного ухода из журнала: «не для меня беда».

«...Спасибо за память, за твои добрые пожелания мне, — отвечал Александр Трифонович 4 сентября того же года на сочувственное письмо друга еще со смоленских времен, поэта и переводчика Б. Бурштына (Иринина), — только я должен сказать, что во всем том, о чем так или иначе речь в письме, суть — главная — не в моей личной литературной судьбе — она не такая уж в данном случае унылая. Меня все это, что произошло в литературной жизни в последний год, печалит, конечно, последствиями в общем нашем деле. Многие мои товарищи и даже друзья, желая поддержать во мне "бодрость духа", говорят обо мне, имеют в виду мое положение, не понимая, что все происшедшее и происходящее касается их не в меньшей мере и в тем большей для каждого степени, чем серьезнее и сознательнее он относится к своему призванию, профессии, долгу и т. п.».

Три года спустя поэт упоминал про «запутанный и перепутанный клубок мыслей и настроений последних лет», который приходилось ему тогда «разматывать».

Своеобразным выражением, которое употреблял Маркс, — самоизменение — Твардовский стал пользоваться много позже. Однако именно этот нелегкий, но плодотворный процесс явственно происходил в нем с середины пятидесятых годов.

Получив — пусть и дорогой ценой — возможность «побыть с самим собою, с белым светом» и всячески стараясь уберечься от иссушающих «самумов» (его собственное словечко по адресу суеты и тщеты «собраний, пленумов, комитетов, комиссий, секций, коллегий — им же несть числа»), поэт стремился сосредоточиться на своем главном, истинном деле и, по его выражению, «приучить себя ковырять ниву каждый день».

«Это не может увести от большой тревоги, — говорится в рабочей тетради, — а может быть, наоборот, положит ее постепенно в русло каждодневных деятельных усилий».

О многом и за многое была эта тревога. В соседних по времени записях содержатся горестные размышления о страшной опасности, угрожающей в атомный век человечеству и всей планете, о становящейся вполне реальной гибели всего, что, как почти с болью сказано, «тысячелетиями лепилось, собиралось по кирпичику, по буковке», а теперь может быть в кратчайший срок уничтожено.

Эти мысли и картины уже никогда не оставят Твардовского. Лет пятнадцать спустя он напишет:

В случае главной утопии, —
В Азии этой, в Европе ли, —
Нам-то она не гроза:
Пожили, водочки попили,
Будет уже за глаза...

Жаль, вроде песни той, — деточек,
Мальчиков наших да девочек,
Всей неоглядной красы...
Ранних весенних веточек
В капельках первой росы...

(«В случае главной утопии...»)

И в пору первых, мучительных раздумий, как «приступиться» к этой, прямо-таки апокалипсической теме, ему подумалось, что «вернее всего перед угрозой смерти петь жизнь во всей ее неумирающей силе, во всей притягательности».

Твардовский и всегда был певцом «всей неоглядной красы» мира. «В сущности, — говорится в записях военных лет, — я уже в самой ранней юности при первых проблесках сознательности поэтической... уже очень любил всё это: всякое дерево живое

и мертвое, всякую стреху, под которой такая благостная тень и паутинка, всякое огородное и садовое, и полевое растение и цветение».

Теперь это чувство особенно обострилось, возникая буквально на каждом шагу: «Первое легкоморозное весеннее утро, прогулка к Дмитриевскому, петухи на селе, церквушка на крутом берегу Истры, сосняк по отвесному обрыву, тишь, легкая чистая свежесть и бодрость, снежная пойма реки в дымке по горизонту, простор, тихая радость, хоть молиться там впору» (24 марта 1955 года).

Здесь, в доме отдыха, Александр Трифонович записывал, что, гуляя, «осваивает» новые «круги». Новые «круги» совершает и его мысль, заметно «взмывая» над простой фиксацией прогулочных маршрутов:

«...Старая церквушка с милой своей колоколенкой и крыльцами боковин — прелесть... Село, которому, может быть, 300—400—500 лет, внизу Истра, по ней уже паводок, мостик, пожалуй, военных времен... берег, простор, Россия. И почему-то все это грустное, как будто что-то утратившее, как будто пришедшее в упадок и как будто жизнь здесь не полной меры, как была когда-то. Странно, но часто это впечатление является в старинных селах, маленьких старинных городках. Очень все посодвинулось с места и никак еще не установится по-настоящему» (23 марта).

И как не пожалеть, что этот простор, этот взлет мысли не воплотился — в стихах ли, в «Пане», о котором поэт нет-нет и опять подумывает! — хотя к подобным размышлениям-сопоставлениям Твардовский будет еще не раз возвращаться, например, в февральских записях 1957 года о том, что люди старших поколений — «из более толстого слоя лет, традиций, поэзии»:

«У них в прошлом есть, кроме нужды, мук, безнадежности судеб — еще и пасха, и рождество, и креще-

нье, и совместный выход на покос, и ярмарка, и красные горки, и посиделки, и сказки, и всякая занятная чертовщина... И то, что было в юности у нынешних зрелых и пожилых людей, оно далеко не так полно очарования чего-то безусловного, ясного, доброго».

Вскоре в журнале «Огонек» (1955. № 43) поэт откроет небольшой цикл стихотворением, звучащим, как гимн «всей неоглядной красе»:

Нет, жизнь меня не обделила,
Добром своим не обошла.
Всего с лихвой дано мне было
В дорогу — света и тепла.

...И весен в дружном развороте
Морей и речек на дворе,
Икры лягушечьей в болоте,
Смолы у сосен на коре.

И летних гроз, грибов и ягод,
Росистых троп в траве глухой,
Пастушьих радостей и тягот,
И слез над книгой дорогой.

(«Нет, жизнь меня не обделила...»)

Нелегко удержаться и не привести целиком это прекрасное стихотворение, впоследствии включенное автором в одну из глав книги «За далью — даль» (и несколько «потерявшееся» там).

Сама эта книга тоже часть, предмет «большой тревоги» автора. В стихотворении «Мост» (1950), напечатанном за полтора года до опубликования первых ее глав, звучали как бы запев будущего произведения и его высокий пафос. «Думаю, что переезд через Амурский мост у Хабаровска по возвращении из Комсомольска был тем толчком, что послужил началом “Далей”», — писал Твардовский позже.

«Экспресс, с великой справившийся далью»; мост над великой рекой, который под ним «грянул,

как оркестр», казалось, вместивший в этот «звон» и голос Урала, и «пенье в поле проводов», и «танков рокот, что в строю проходят мимо Мавзолея»; и охвативший всех «озноб торжественной минуты», — все это органически, ненавязчиво ассоциировалось и с триумфом Победы, и с горделивым ощущением проделанного страной исторического пути, и с предвкушением, казалось, открывающихся впереди просторов. Стихи завершались патетическими словами: «...и земля поет под нами». Подобное же высокое, почти «одическое» звучание было присуще и написанному в первый послепобедный год стихотворению «Кремль зимней ночью».

Эта торжественность, искренняя одержимость «мечтою чудной — дойти до избранных вершин», предчувствие не только ожидаемых впереди огромных сибирских и дальневосточных просторов, но и «иной желанной дали» — светлого коммунистического будущего ощутимы и в начальных главах новой книги. И в величественной картине Волги, собравшей «семь тысяч рек»:

В нее смотрелось пол-России:
Равнины, горы и леса,
Сады и парки городские,
И вся наземная краса —
Кремлевских стен державный гребень,
Соборов главы и кресты,
Ракиты старых сельских гребель,
Многопролетные мосты,
Заводы, вышки буровые,
Деревни с пригородом смесь,
И школьный дом, где ты впервые
Узнал, что в мире Волга есть...

И в главе про «опорный край державы» — «Батюшку-Урал», по-особому близкий поэту из-за благодарных воспоминаний о трогательно малой род-

ственнице этой всесоюзной кузницы — отцовской наковальне с ее «сиротским звоном».

Впоследствии Твардовский писал, что даже «критика, “редактор” (в главе “Литературный разговор”)» — «все было с точки зрения» прежней твердой веры в «наличествующее благоденствие».

«Мне кажется, — говорится в его письме Исаковскому 19 ноября 1952 года, — что трудности, что есть сейчас у нас, у всех серьезных людей в литературе, — они в нас самих, внутренние больше, чем внешние. Инерция саморедактирования на корню — страшное дело. Но оно не может быть непреодолимым». Этому вполне соответствует презрительная отповедь «внутреннему» редактору в «Литературном разговоре»:

Ты — только тень.
Ты — лень моя.
Встряхнусь — и нет тебя в помине,
И не слышна пустая речь.
Ты только в слабости, в унынье
Меня способен подстеречь,
Когда, утратив пыл работы,
И я порой клоню к тому,
Что где-то кто-то или что-то
Перу помеха моему...

Как будто не было своих собственных да и того же Исаковского «осечек» при соприкосновении с отнюдь не призрачными редакторами!..

История с «Тёркиным на том свете» и весь «новомирский» опыт недавних лет тоже решительно противоречили былым иллюзиям. И пришлось с ними распрощаться.

«...Всегда был таким и гордился, что не могу ничего написать не для печати, а так, “для себя”, про запас, “для потомства”. И это было счастливейшее время беззаветной, все покрывающей веры. А теперь

иное, в данном, по крайней мере, случае, — записывал он, думая об очередной главе книги, — *считаю*, что нельзя не писать “для себя” (правда, это свидетельство и большой веры в себя), “*для потомства*”, *про запас, иначе от многого пришлось бы отказаться и ограничить себя до крайности, самоубийственно*».

Твардовский совсем не исключает и того, что «Даль» (как он вкратце именует новую книгу) «не пойдет дальше»:

«И дело не в том, что вещь во времени затянулась, а нельзя уже ехать по той дороге.

...Все дело в том, что нет у меня той, как до пятьдесят третьего года, безоговорочной веры...»

Она уже не «покрывала» слишком многое из происходившего вокруг и не позволявшего «прятать голову под крыло».

«...Это как видение, как совесть, всюду, где думаешь насладиться отдыхом, природой, — девки, долбящие землю, промерзшую на метр, или делающие иную неженскую трудную работу, а ты идешь, прогуливаешь свои 80 килограммов, — говорится в одной из весенних записей 1955 года. — ...Девушки вырабатывают 10—15 рублей в день, питание скверное... Сколько такого, что принято не замечать».

Он явно испытывал то же горькое чувство, что и Ярослав Смеляков, несколько лет спустя писавший:

...А я бочком, и виновато,
и спотыкаясь на ходу,
сквозь эти женские лопаты,
как сквозь шпицрутены, иду.

(«Камерная полемика»)

Особенно болело сердце за деревню. Через многие годы после Победы жизнь колхозников была ужасающе тяжела, в частности — на родине поэта.

«Когда в 1957 г. я поздно вечером приехала в один из колхозов Смоленской области, — вспоминает академик Т. И. Заславская, в ту пору молодой ученый, — его председатель был очень смущен проблемой организации моего ночлега. Я просила его особенно не беспокоиться, говорила, что мне ничего не нужно кроме простой кровати, но он объяснил мне, что в деревне, к сожалению, нет домов. “То есть как нет? А где же живут люди?” — спросила я. “В землянках”... Эту картину я не забуду до смерти. В землянке площадью 7—8 кв. м., наполовину скрытой в земле, жили три поколения людей и все принадлежавшие им животные: коза, поросенок, теленок. Половину землянки занимала печь, на которой спали все люди... Мебели, кроме грубо сколоченного стола, не было...»

Весной 1954 года Твардовский лелеял планы поездки на родину (вот уж где было полно «горевых колхозов»...) и уговаривал Овечкина, в частности предполагая встретиться с новым секретарем обкома Дорониным, на которого возлагал большие надежды, как и Валентин Владимирович, знавший того по Курску и даже придавший некоторые его черты положительному герою «Районных будней» Мартынову.

«Вот где мы вместе посмотрели бы кой-чего и побеседовали бы всласть, — писал поэт другу 2 мая. — ...И просто скажу: сейчас заниматься чем-либо другим помимо деревенского дела — все равно, что, оправдываясь важностью своей роли в тылу, отсиживаться от фронта. И еще скажу: поездки на целинные земли, которые сейчас становятся “модными”, менее меня влекут, чем поездка в трудный, не парадный и даже как бы ничем особенным не примечательный край массового колхозного бедствия,

осложненного последствиями войны, географией и т. п. Это для меня сейчас неотложнейшая потребность. Не могу сидеть в "Ташкенте", когда фронт под "Вязьмой"».

Катастрофическое развитие событий в «Новом мире» и некоторые другие обстоятельства не дали осуществиться этим наметкам. Впрочем, даже самые активные писательские попытки помочь деревне, как-то воздействовать на партийные методы руководства сельским хозяйством не имели бы успеха.

Через несколько месяцев после опубликования «Районных будней» автор их писал Твардовскому: «Шуму очерки наделали много, но шум-то литературный. Ось земная от этого ни на полградуса не сдвинулась. В колхозах все по-прежнему».

Он мог еще и еще выступать в печати и даже прямо обращаться в ЦК с письмами и предложениями по самым горячим вопросам и колхозной, и партийной жизни, а уже «освобожденный» Твардовский — заявлять, что ради опубликования написанного Овечкиным «готов был бы вновь стать редактором, вновь быть снятым и хотя бы даже высеченным на площади».

Но советская бюрократия усвоила и унаследовала многие традиции и принципы прежней, дореволюционной, а среди них немалое место занимало упрямое сопротивление любой посторонней инициативе, исходи она от общества или от литературы. Писатели XIX века с горестным сарказмом определяли эту твердокаменную позицию властей словами: «Не суйся! Не твое дело!»

По злой иронии судьбы все повернулось так, что после безуспешных стараний открыть вышестоящим глаза на реальное, трагическое положение вещей (в частности, и на целине — любимом детище

Хрущева) и на вопиющее очковтирательство Овечкин подвергся сильнейшим нападкам (в эту пору он часто звонил Александру Трифоновичу — «как за кислородную подушку хватался», по выражению одного из друзей), пытался покончить с собой и переехал... в Ташкент, где уже не смог больше писать. Твардовский и все последующие годы не переставал дружески заботиться об одном из вернейших своих соратников.

Но мы забежали далеко вперед. Вернемся в пятидесятые, к по-прежнему не покидавшей поэта тревоге за деревню.

В одном присланном ему сборнике стихов были такие строки:

Ведь весомые трудодни
Только лодырям не даются...
Люди поняли, что они
Здесь пожизненно остаются.

«Оставляю на Вашей совести первые две строчки (весьма плохие и фальшивые), — недвусмысленно реагирует на прочитанное Твардовский, горько писавший о почти повсеместном тогда «условном» (или, как он позже скажет, «пустопорожнем») трудодне, и продолжает: — но просто ужасно это слово “пожизненно” во втором двустишии... Неужели Вы не слышите сами, что это слово, чаще всего в русском языке сочетавшееся со словами “каторга”, “заключение”, “ссылка” и т. п., звучит здесь, где Вы говорите о расцвете колхозной жизни, до крайности бестактно, если не сказать более того... Не обижайтесь, пожалуйста, на резкость моего замечания... это дело слишком серьезное...»

Даже более чем серьезное, чтобы о нем говорить со всей прямотой: ведь отсутствие у колхозников па-

спортов и фактическая невозможность «легально» выйти из этого «добровольного» объединения и уехать напоминали положение крепостных.

Буквально в те же дни, когда было написано это письмо, жизнь неожиданно свела Твардовского с Виктором Васильевичем Петровым — председателем колхоза, в который входило и Загорье. Разговор с земляком зафиксирован в рабочей тетради поэта во всех горестных подробностях:

«...Колхозные дела плохи, дожди, все погнило... Было очень грустно. Так свалилось это Загорье мне на душу, когда я занимаюсь писаниями моей юности — поры восторженной и безграничной веры в колхозы, желания в едва заметном или выбранном из всей сложности жизни видеть то, что свидетельствовало бы о близкой, незамедлительной победе этого дела.

Я у него спрашиваю, как и что, а он у меня:

— Какой все же конец предвидится нашей местности? — (Это десяток деревень, ранее чуждых, в сущности, одна другой, где когда-то было до двух тысяч пятисот душ, а теперь триста шестьдесят[1]).

---

[1] К слову сказать, после летней, в 1955 году, поездки на родину, где, по словам поэта, «никакого Загорья нет и тех людей нет», в его рабочей тетради появилась краткая, но красноречивая запись: «Петровский мост (название деревни. — *А. Т-в*) — место гулянья целого округа — ни кустика, ни знака, и деревень тех нет вокруг». Не завязь ли это стихов, увы, недописанных:

Ни кустика, ни знака,
И деревень тех нет вокруг...

И не «аукнулось» ли здесь давнее, «тёркинское»:

Край известный до куста.
Но глядит — не та дорога,
Местность будто бы не та.

— О чем бы вы просили, если бы было у кого просить, — спрашиваю я, — о чем в первую очередь?

— О самостоятельности, о свободе колхоза в планировании своего хозяйства.

— Но ведь оно же давно в действии, — притворяюсь я простаком.

— Оно давно сказано на словах, но на деле все по-прежнему — спускание плана, та же кукуруза, которой в 1956 году было у нас сто шестьдесят га, — вся погибла, — и меня заставляли с сенокоса выставлять людей на прополку ее, хотя уже было вполне ясно, что делать с ней нечего. Я, правда, схитрил, продолжал заниматься сеном и тем спас стадо от неминуемой бескормицы. Я знаю, как убирать лен и картошку без городской помощи, быстро и хорошо. Я давал пять рублей за трудодень на этой работе и выплачивал эту пятерку вечером того же дня...

— Так у вас попросту — совхоз, только плохой?

— Совхоз, только плохой...

Ничего нет, от того, что так ли сяк было в 30-х годах — какой-то подъем, вера, надежды на улучшение, самоотверженность передовиков. Шаг ступил — плати.

Ни у кого ни яблоньки на приусадебных участках — никто не живет, думая жить здесь долго и прочно.

Вот и взгорье, вот и речка.
Глушь, бурьян солдату в рост,
Да на столбике дощечка,
Мол, деревня Красный Мост.
....
У дощечки на развилке,
Сняв пилотку, наш солдат
Постоял, как на могилке...

(«Про солдата-сироту»)

— Пожалуй, хуже еще, чем было поначалу?

— Конечно, хуже. Ведь мы двадцать пять лет обманывали людей. Никто ничему не верит.

...Мне нужно со всем этим развязаться в стихах ли, в прозе. Иначе прав будет один мой корреспондент-земляк... что писал: нечего, мол, искать "далеких далей" — свои под рукой (на Смоленщине)».

Неблагополучие все очевиднее ощущалось не только в деревне. «Три дня — доклад и прения по промышленности, — записывает Александр Трифонович после очередного пленума ЦК. — ...Но все кажется, что частности все верны, а общего ключа ко всему вроде как нет. То-то мы, обнаружив, исправим, повернем, и глядишь — в другом месте потечет».

Время искренних «одических» стихов миновало...

«Боже мой, — вырывается у Твардовского, — *за что ни возьмись, нужно напряжение лжи и натяжек. А уже не могу, не хочу — хоть что хочешь»*.

Среди его писем 1955 года есть и адресованное «человеку, с которым встречался около четверти века назад и которому не мог подать знака все это время по независящим, как говорят, причинам», — Василию Тимофеевичу Сиводедову, знакомому поэта со школьных и комсомольских времен. Он, как и Македонов с Марьенковым, был арестован и лишь недавно освобожден. В 1954 году была снята судимость с Македонова. Марьенков же был освобожден еще во время войны.

У поэта возникает замысел «главы о встрече с товарищем юности, другом детства, писавшим стихи, мечтавшим вместе со мной о Москве и т. д.»: «Я его узнаю, но сначала пугаюсь, ведь он был, как я знал, репрессирован... Мы разговариваем, а потом я додумываю и довспоминаю в вагоне».

«Это — *дело*, — подытоживает Александр Трифонович эту запись в рабочей тетради. — ...Хоть, конечно, это такая глава, что, может быть, не просто начнешь и кончишь, а и отложишь не раз, но *без нее мне уже нельзя*... Может быть, никогда еще я не был так — лицом к лицу с самой личной и неличной темой, темой моего поколения, вопросом совести и смысла жизни».

Очень характерно для Твардовского, что, начиная эту «одной судьбы особой повесть, что сердцу встала на пути», он совестливо отмечает, что «в ней и великой нет заслуги — не тем помечена числом...». Действительно, пересмотр облыжных приговоров 1930-х и других годов уже шел, пусть временами замедляясь и прерываясь. В дневниках современников появлялись радостные записи: освобожден... реабилитирован... вернулась из ссылки, совершенно оправдана... вернулся из лагеря оправданный...

Не скрывает автор и того, что при нежданной встрече с другом «чувство стыдное испуга, беды пришло... на миг» — трудно вытравимый рефлекс недавних времен (равно как и то, что расставание после этой короткой встречи сняло «тяжесть некую с души»).

«Тема страшная, — говорится в рабочей тетради о замысле главы, — взявшись, бросить нельзя — все равно что жить в комнате, где под полом труп члена семьи зарыт, а мы решили не говорить об этом и жить хорошо, и больше не убивать членов семьи».

«Додумывание», о котором сказано в первом наброске плана, займет целые годы.

Первые запечатленные в окончательном тексте «Друга детства» размышления еще далеко не соответствуют четко сформулированному в набросках «наказу» самому себе:

«Важно сказать о том, из-за чего вся эта речь:

Что я внешней мудростью (чьей-то) был избавлен от сердца горестных хлопот. Так, должно быть, нужно, *там* видней, дело не нашего ума. И подумай я иначе, я сам уже как бы против всего доброго на свете. Как бы это выразить — это главное: замок на мысли, "грех" — избавление от необходимости думать, иметь свое человеческое мнение и суждение. Кому-то там видней (больше, чем мне, другу, знающему человека, как самого себя)».

Эта «программа» будет полностью реализована лишь в последней поэме Александра Трифоновича «По праву памяти». В главе же 1955 года страшная тема в финале зазвучала смягченно и умиротворяюще. Не сбылось ли опасение, доверенное автором рабочей тетради: «чтоб не было в конце концов итога: вот и хорошо, ты сидел, я молчал, а теперь ты на воле, мы еще не стары, будем жить, работать»?

Признанию об испытанном сначала при встрече «чувстве стыдном испуга» заметно противоречат последующие строфы — о собственной постоянной памяти об «отсутствующем», о сопереживании всего с ним происходившего («Я с другом был за той стеною, и ведал все. И хлеб тот ел») и даже о как бы некоем «заочном» участии самого друга-зэка в жизни страны:

Он всюду шел со мной по свету,
Всему причастен на земле.
По одному со мной билету,
Как равный гость, бывал в Кремле.

И все же для множества читателей публикация «Друга детства» в сборнике «Литературная Москва», где он стал самой высокой «нотой», явилась значительным событием, естественно вошедшим в атмо-

сферу, созданную XX съездом партии и докладом Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях»[1].

Наступивший 1956-й по всем статьям оказался для Твардовского трудным.

«Как я себя чувствую в связи со всем, происходящим на белом свете? — писал Александр Трифонович Овечкину 5 апреля, спустя месяц с небольшим после съезда. — ...Это я, может быть, и мог бы изъяснить на бумаге, но не сейчас, когда в душе "все перевернулось и только укладывается", как говорил Л. Толстой. О многом можно было бы поговорить. Одно скажу, повторю, что нашему с тобой поколению не приходится жаловаться на недостаток материала для обдумывания».

Потрясенный открывшимся размахом сталинского террора (еще недавно Фадеев в споре с Твардовским называл несравненно меньшие цифры репрессированных), поэт все же не терял веры ни в социализм, ни в необходимость жестокой, но целительной правды.

«Нет, все хорошо, нужно жить и исполнять свои обязанности», — записывал он, почти буквально повторяя финальные слова фадеевского «Разгрома» и не предвидя, что его автор вскоре капитулирует перед открывшейся правдой.

— А это уже по нашему квадрату бьют! — сказал Александр Трифонович еще в феврале, когда умер давний друг и сотрудник Тарасенков, три года назад по фадеевскому требованию вынужденный в разгар травли «Нового мира» уйти из редакции «по собственному желанию».

---

[1] «Я... принялся читать стихи Твардовского, — записал Чуковский 28 февраля 1956 года, — дошел до "Встречи с другом"... и заревел».

В январский холод, в летнюю жару,
В туман и дождь, с оркестром, без оркестра —
Одних моих собратьев по перу
Я стольких проводил уже до места.

И всякий раз, как я кого терял,
Мне годы ближе к сердцу подступали,
И я какой-то частью умирал,
С любым из них как будто числясь в паре, —

писал поэт пять лет назад («Мне памятно, как умирал мой дед...»).

В пятьдесят четвертом он схоронил близкого друга, критика В. Б. Александрова, автора книги об Исаковском и вдумчивой статьи «Три поэмы Твардовского».

В мае наступившего 1956 года покончил с собой Александр Фадеев. И хотя в последнюю пору он не раз оступался и отступал (и в 1953-м, и в 1954-м), поэт тяжело пережил случившееся.

В первых главах «Далей» Твардовский не без улыбки упоминал, как был «самим Фадеевым отмечен», а теперь в той же книге горько сетовал, что не может разделить с ним радость увиденного в путешествии:

Как мне тебя недоставало,
Мой друг, ушедший навсегда!..
...Ах, как горька и не права
Твоя седая, молодая,
Крутой посадки голова!..

В те самые дни, когда старый друг принимал свое страшное решение, потому что, как сказано в его предсмертном письме, не видел возможности жить дальше и «нет никакого уже стимула в душе, чтобы творить», Твардовский, пережив «послефевральский» кризис, вернулся к «страшной теме» и уже на-

брасывал первые строки новой главы о Сталине, решительно отличной от ее напечатанного в первую годовщину смерти вождя варианта, который был написан еще в духе прежней веры (вплоть до преклонения перед «памятью святой ночей и дней весны тридцатой» — «великим переломом» коллективизации — и, пусть даже «нелегкой временами», «крутой и властной правотой» покойного).

Именно здесь, представлялось автору, «главнейший узел книги». «В случае удачи этой новой главы "Дали" вновь оживают и возрастают», — сказано в рабочей тетради.

Думал он заново вернуться и к «опальной» поэме о «том свете». Однако продвижение на обоих этих направлениях было медленным.

Окружающая обстановка мало способствовала работе. Новое руководство страны раздирали противоречия, и его политика была крайне непоследовательной. Волнения в «социалистическом лагере», вызванные смертью Сталина и докладом Хрущева, пиком которых стало венгерское восстание 1956 года, да и бурная реакция на XX съезд «дома» побуждали партийную верхушку тормозить и «подмораживать» начавшуюся «оттепель».

Уже июньское постановление ЦК КПСС, носившее то же название, что и хрущевский доклад («О культе личности и его последствиях»), по сравнению с ним было заметным шагом назад. Резкий отпор получили выступления писателей, ставивших под вопрос справедливость постановлений сороковых годов о литературе и искусстве.

Нарастающей критике подвергались роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» (бывший в редакционном «портфеле» «Нового мира» еще при Твардовском, но опубликованный лишь во второй

половине 1956 года) и очередной, второй сборник «Литературная Москва», где одним из «заводил» был ближайший друг Твардовского Э. Казакевич.

В мае 1957 года дезориентируемый и подстрекаемый своим окружением и «приближенными» литераторами Хрущев рьяно включился в эту новую проработочную кампанию, а ее застрельщиков, откровенных реакционеров Грибачева и Софронова назвал «помощниками партии» и даже образно уподобил... автоматчикам (вряд ли он сделал бы это, кабы знал, что так в армейском фольклоре именовали... вшей!).

«...Рассеяние последних иллюзий, — записывал Твардовский 15 мая. — Все то же, только хуже, мельче. Рады одни лакировщики, получившие решительную и безоговорочную поддержку... Вечером после совещания поехали на могилу Фадеева. С поминок на поминки, как сказал очень удрученный Овечкин».

Поэт тяжело переживал воцарившуюся атмосферу и откровенно высказался о происходящем в разговоре с Д. А. Поликарповым. Тот, настроенный весьма консервативно (вспомним его критику «Дома у дороги»!), Твардовского, однако, очень ценил. Разговор у них случился бурный, и Поликарпов ввернул: «А ты бы все это сказал, где надо...», что прозвучало как известное мальчишеское: «Слабó!»

Александр Трифонович ответил, что готов выложить «все это» кому угодно, и был приглашен к Хрущеву.

Никита Сергеевич, как известно, знатоком литературы не был. Заговаривая о «Тёркине», больше вспоминал не строки или какие-нибудь эпизоды книги, а Тёркина с картины художника, изображавшей его на отдыхе среди восторженно слушающих

его бойцов и по распоряжению Сталина повешенной в Кремле («Это как только выйти направо из Президиума Верховного Совета, из зала заседаний...» — с готовностью пояснял Никита Сергеевич собеседнику). Он также весьма простодушно уподоблял сделанное Твардовским в годы Великой Отечественной войны написанному в годы Гражданской Демьяном Бедным, который, по словам Хрущева, «откликался на все и вся, очень меткое направление брал... в своих творческих произведениях, с тем, чтобы политически подготовить, морально укрепить, чтобы метко стреляли по врагу красноармейцы». Вряд ли уподобление «Тёркина» демьяновым агиткам понравилось бы его автору.

Как бы то ни было, при встрече Хрущев отнесся к поэту с неподдельным интересом. Он был очень занят в этот день, но долго и внимательно слушал гостя, подав всего две-три реплики (это при его-то словоохотливости), и выразил желание продолжить разговор. «Хорошо рассказываете!» — со свойственной ему непосредственностью сказал Никита Сергеевич, прощаясь.

«Понес я там все то же, что и Поликарпову, — записал «рассказчик» по горячим следам 23 июля, — то есть то же, что говорю обычно о литературе, ее нуждах и бедах, о ее бюрократизации и т. п. Часа полтора». По собственному признанию, он «опрометью несся... бог весть куда».

Недвусмысленно оценивая события последних месяцев, Твардовский, в частности, апеллировал к давней статье Щедрина «Литературное положение» (из цикла «Признаки времени»), где речь шла о писателях, ощутивших было в эпоху реформ 60-х годов XIX века некоторую свободу и осмелевших, но вскоре «одернутых» и самой властью, и некоторыми со-

братьями — так сказать, тогдашними «автоматчиками» (сатирик же именовал их «опытными охочими птицами», какими век спустя проявили себя и те же Софронов с Грибачевым, «наловчившиеся» еще в пору борьбы с «космополитами»).

Не затрудняя вельможного собеседника подробностями, поэт резюмировал щедринский сюжет — и вместе с тем охарактеризовал создавшееся в советской литературе положение словами: «Птицы ловчие заклевали птиц певчих».

Надо сказать, Твардовский и прежде не скрывал своего отношения к «ловчим птицам».

В одном из служебных документов, функционировавших в аппарате ЦК КПСС в октябре 1954 года, в преддверии второго съезда советских писателей, отмечено: «...Твардовский стал заявлять, что в Секретариате ССП <Союза советских писателей> собрались люди, которые якобы ничего не значат в литературе, а потому стараются нажить себе капитал на общественной деятельности»[1].

«...От всех его стихов, — писал он 19 мая 1947 года в отзыве на рукопись одного из тех, кто вскоре «взорлит» на волне борьбы с «космополитами», — веет неискоренимым дилетантизмом. Всё это очень неглубоко, несамостоятельно, слышано, читано... Тем, что написано до него, Грибачев пользуется беззастенчиво, а главное — бессознательно — что подвернется, то и давай...»[2]

Позже Александр Трифонович говаривал, что писатели, по его мнению, различаются не по мировоззрению, а по тому... читали ли они «Капитанскую дочку» или нет.

---

[1] См.: Вопросы литературы. 1993. Вып. 3. С. 285.

[2] Там же. 1988. № 10.

В конце июля беседа возобновилась, продлилась около двух с половиной часов и закончилась в самой благожелательной атмосфере, несмотря на острейшую стычку «гостя» с Поликарповым, вновь обрушившимся на «Литературную Москву» даже за... помещенный там некролог Марку Щеглову, где он усмотрел «ревизию» постановления ЦК о «Новом мире».

Хрущев благодарил за встречу, подумывал принять грубо оскорбленную им за «антипартийность» поэтессу Маргариту Алигер, члена редколлегии «Литературной Москвы», и Дудинцева, о романе которого дотоле судил с чужих слов. По Москве ходили слухи, что обещал даже вернуться к вопросу о постановлениях 1940-х годов...

Однако никаких заметных перемен не произошло, разве что прекратилась публикация цикла погромных софроновских статей «Во сне и наяву» в «Литературной газете» (7, 12 декабря 1957 года), где в крайне глумливом тоне говорилось о таких заметных литературных явлениях, как роман Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», рассказ Александра Яшина «Рычаги», пьеса Александра Володина «Фабричная девчонка», стихи Бориса Слуцкого и др.

«Насчет твоего запроса о “беседах”, — писал Александр Трифонович Овечкину 5 сентября 1957 года: — да, были две беседы общей сложностью свыше четырех часов. Говорил я все, что обычно говорю с друзьями и что думаю наедине, словом, дорвался, но толку-то чуть...» (Как это похоже на то, как сам адресат ранее оценивал «эффект» своих «Районных будней»!..)

Твардовский долго не мог остыть, вспоминая все, что «нес»: «Сегодня заглянул в Щедрина, не дай бог

им почитать там все подряд. (Сказанул-то я по памяти)».

Попутное воспоминание. Позже, в декабре того же года, во время одного из моих первых разговоров с поэтом, он нашел в своей библиотеке том собрания щедринских сочинений с циклом «За рубежом» и увлеченно прочел отрывок о беседе рассказчика со случайным попутчиком, который «укрепил свой ум чтением передовых статей» и с этой «высоты» поучал собеседника, упрекая его в «отсутствии патриотизма», а собственную «идейную программу» сформулировал кратко: «Итак, первое дело — побоку интеллигенцию, второе — побоку печать!»

В финале эпизода рассказчик в сердцах воскликнул: «...Гляди на картонное лицо не помнящего родства прохожего и слушай его азбучное гудение! И не моргни!»

В ту пору, когда, опять же по щедринским словам, «творчество — не в ходу; зато на подозрительность требование», уж не то что у Твардовского, в первый же свой редакторский срок выслушавшего и прочитавшего немало «азбучных» речей и статей, но даже у меня, новичка, прочитанное вызывало самые прямые ассоциации.

В более поздних рабочих тетрадях поэта упоминается другой цикл великого сатирика, «Круглый год», где многое тоже выглядело для редактора советского журнала очень знакомо.

«Это был порочный круг, — жалуется рассказчик. — И нужна самостоятельность, и не нужна, то есть нужна “известная” самостоятельность. И нужна критика, и не нужна, то есть опять-таки нужна “известная” критика! Словом сказать, подай то, неведомо что, иди туда, неведомо куда. И при этом еще

говорят: нет, вы отлично знаете, и куда идти, и что подать, да только притворяетесь, что не знаете».

Даже «оставив за кормой — все столичные радости литературной жизни», как писал Твардовский Маршаку из Ялты (16 декабря 1957 года), нельзя было хотя бы приглушить «большую тревогу».

Еще в вагоне поезда начал складываться замысел во многом автобиографической пьесы о времени коллективизации и раскулачивания (он, по словам поэта, «как будто уже много лет просился на бумагу»), а тут в Ялте произошла уже известная читателю встреча с земляком-председателем.

Мало того: в ялтинском Доме творчества (название, которое Александр Трифонович терпеть не мог) произошло и другое взволновавшее знакомство — с писательницей Верой Михайловной Мухиной-Петринской.

У «веселого скелетика», как с уважением и состраданием названа она в рабочей тетради, была тяжелейшая и вместе с тем довольно типичная для тех времен биография, изложенная Твардовским крайне лаконично, но с явственным внутренним потрясением: «8 лет в лагере, плюс 9 лет, минус 38 городов (где ей воспрещено жить. — *А. Т-в*). Чуть устроилась на какую-нибудь работу, кроме черной — разоблачение и увольнение. Муж с ней делил все эти скитания — его увольняли... за "связь" с ней».

Вот уж что, кажется, так и просилось, так и рвалось на бумагу, но Вера Михайловна только отмахивалась: «Кто же мне это напечатает?» — и довольствовалась изустными рассказами, один другого страшнее.

Твардовский с горечью узнал, что писать-то она пишет, но совсем другое, совершенно несоизмеримое с пережитым, «не разделавшись» с которым, по

его твердому убеждению, и ей постоянно, но безуспешно внушаемому, она «ничего другого... не сможет сделать по-серьезному».

«И сколько я видел уже таких людей, — записывал Александр Трифонович, — которые уходят от необходимости осмыслить, выразить это, хотят обойтись без этого, забыть, отказаться. И вообще это у нас так объясняется: зачем это? Зачем бередить раны? И общество делает само для себя вид, что ничего не было, а что было — исправлено, — пойдем дальше. — Это ужасно...»

Не слышится ли здесь и собственная тревога, мысль о своих «долгах» — о необходимости «развязаться» с деревенской темой, о трудно складывающейся «сталинской» главе?

Как «жила, кипела, ныла» (припомним эти старые слова) в душе давняя деревенская тема, видно из того, что в эти дни поэт со мной, в сущности малознакомым человеком, делился впечатлениями о том, как его «вдруг навестило... многострадальное Загорье» и необходимо отправляться «на порядочный срок в Смоленск, в область... заниматься изысканиями насчет этого самого вопроса: какой конец» (помните слова Петрова?). «...Откладывать нельзя. Все равно я за всякой иной "далью" вижу тетку Дарью на приусадебном участке, на прополке кукурузы и т. д.», — писал он мне 5 февраля 1958 года.

Предваряют эти слова — или, может, уже пересказывают — строки из окончательного текста «сталинской» главы:

И я за дальней звонкой далью,
Наедине с самим собой,
Я всюду видел тетку Дарью
На нашей родине с тобой;

С ее терпеньем безнадежным,
С ее избою без сеней[1],
И трудоднем пустопорожним,
И трудоночью, — не полней...

И ступой — мельницей домашней —
Никак, из древности седой;
Со всей бедой —
Войной вчерашней
И тяжкой нынешней бедой.

Но человек предполагает — Бог располагает!

Вскоре после возвращения домой, в Москву Твардовский — явно не без влияния разговоров с Хрущевым — получил предложение вновь возглавить «Новый мир».

«Я обязан вот-вот дать ответ на предложение о “Н<овом> мире”, — писал поэт 24 апреля 1958 года одному из друзей, ростовскому писателю В. Д. Фоменко. — Согласен с Вами, тут нечего и доказывать, что если я пойду в журнал, даже выговорив все необходимые условия, мне будет тяжко до крайности. Но, — это трудно объяснить, — ответить отказом я не могу, боюсь, совесть покоя не даст. Одно дело, когда ты вольный казак по объективным, не зависящим от тебя обстоятельствам, другое — когда ты, м<ожет> б<ыть>, мог что-то сделать, но не стал делать по лености».

Даже когда осенью 1956 года Александру Трифоновичу предлагали возглавить журнал «Октябрь», он заколебался.

«Все время думаю, — записано в рабочей тетради 19 сентября, — зовет меня к этой работе, хотя вспомню все муки, неудовлетворенность и т. п.

[1] Вспомните сказанное в «Родине и чужбине»: «Я не знаю строения печальнее и неприглянее...»

...Но что-то нужно делать в этом смысле: ведь все равно я читаю столько рукописей, отписываюсь, беседую с приходящими. И потом — известно, что иногда при занятости больше пишешь, больше дорожишь временем и этой сластью, чем когда свободен. Сколько раз я *мечтал, горевал* в эти два года об этой занятости (курсив мой. — *А. Т-в*)... Не говоря уже о том, что кое-что можно суметь, пока не сгонят».

А уж когда появилась возможность вернуться в «Новый мир»!..

Вот как было, по дневниковому свидетельству В. Лакшина, воспринято многими возвращение Твардовского в журнал:

«Редакция гудела, как улей. В прихожей у стола с графином стояли и сидели, но более всего ходили люди. Все двери из отделов были распахнуты. Встречи, поцелуи, рукопожатия. Во всем какой-то праздник. Жора Владимов (сотрудник редакции, в будущем известный прозаик. — *А. Т-в*) сказал мне, что последние дни у них в редакции было полное запустение, никто даже не заходил — и вдруг, с первого же дня, как Твардовский взял журнал, все переменилось. Прежде всего он сам, в отличие от Симонова, появляется ежедневно в час дня и не дает никому лениться, сам читает материалы отделов и проч. Весело, празднично».

Но самому «виновнику торжества» приходилось нелегко. До его, данного 6 мая министру культуры Екатерине Фурцевой согласия Александру Трифоновичу сулили, по его ироническому выражению, все условия. Однако как только он, по собственному выражению, «вторично надел редакторский хомут», препоны начались тут же. «Все в той же позиции, — записывал он месяц спустя — зама нет,

Лифшица не берут (Поликарпов и Сурков одновременно и единодушно). А июньская книжка "Нового мира", которой уже быть бы в пути к подписчику, еще не полностью сдана в набор! — Бог весть с кем и как я буду хлебать эту кашу, и кто за меня будет писать "Дали" и пр. А покамест мне не только отступать некуда, но я поставлен в такое положение, что сам звоню, хлопочу, напоминаю, как бы прошусь на эту должность».

Правда, в своем писательском кругу ему отлично удавалась роль «попрошайки», как он комически аттестовал себя в одном из писем.

«Жду с нетерпением, — писал он Ольге Берггольц (4 июля), — всего, что имеете нового и что можете немедленно выслать для поддержания огня в очаге, к которому приставлен ныне и который дымит, чадит и вовсе затухает... перо Ваше нам известно — перо надежное».

«Поскребите у себя чего-нибудь для "Нового мира", — просил старого, давно милого ему прозаика И. Соколова-Микитова, — для "Дневника писателя", например. Там — полная необязательность в смысле формы и содержания, "свободный полет"...

Наверно, у Вас есть хоть что-нибудь с зимы, не может же быть, чтобы не было. А уж как я нуждаюсь сейчас в поддержке со стороны такого пера, как Ваше, об этом и говорить не приходится».

«Приступив к работе в "Новом мире", я, естественно, вспомнил о Вас в числе самых симпатичных журналу авторов, — обращался к жившему в Татарии Т. К. Журавлеву, чья повесть «Комбайнеры» была напечатана в журнале пять лет назад и имела успех. — Хорошо было бы приехать Вам в Москву, прихватив с собой то, над чем работаете. Приезд и кормовые, конечно, оплатим».

«Очень было бы хорошо получить от тебя вторую порцию "Заметок" (о мастерстве. — *А. Т-в*)...» — тормошил Маршака, заслав в набор первую.

Постепенно сформировалась редакционная «команда». Заместителем Твардовского вновь стал Александр Григорьевич Дементьев, который ради того, чтобы работать с поэтом, даже оставил пост главного редактора новорожденного журнала «Вопросы литературы». Поступок редчайший. Тем более что опыт 1953—1954 годов подсказывал: бестревожной жизни в «Новом мире» не будет.

Вернулся в редакцию Алексей Кондратович, ушедший после погрома 1954 года и работавший в новом журнале «Москва». Введен был в редколлегию Валентин Овечкин.

«Раньше редколлегия "Нового мира", как и других наших толстых журналов, составлялась преимущественно из "имен", — записывал Александр Бек. — Заседали одни, редакционными трудягами были другие. Твардовский ввел иное: пусть подписи тех, кто изо дня в день, номер за номером, вытаскивает на своих плечах журнал, и значатся на последней странице».

Первый же сформированный и подписанный новым главным редактором седьмой номер в известной мере выглядел программным. Он открывался очерком Ефима Дороша «Два дня в Райгороде», входившим в постепенно складывавшийся «Деревенский дневник» писателя, который Твардовский вскоре, в речи на XXII съезде партии, назовет «интереснейшей и по всем статьям замечательной книгой», родившейся в результате «длительного и пристального изучения» обычного сельского района. Очерки Дороша и потом будут появляться на страницах журнала, а сам автор впоследствии войдет в редколлегию и возглавит отдел прозы.

Если это, по словам Твардовского, покамест «скромное литературное имя», то Виктор Некрасов, выступивший с пространным путевым очерком, был хорошо известен читателям прославленной повестью о Сталинграде и столь же правдивой книгой о послевоенной жизни «В родном городе». Эта напечатанная в «Новом мире» в недоброй памяти 1954 году повесть, беспощадно правдиво изображавшая послевоенный быт, подверглась ожесточенным нападкам официозной критики. И новое появление «крамольного» автора в журнале говорило о неизменности взглядов и «симпатий» его «шефа». Линия некрасовской «окопной правды» будет продолжена в следующем, 1959 году яркой повестью Григория Бакланова[1] «Пядь земли» (тоже, разумеется, сразу обретшей своих «зоилов»).

Позиция главы журнала была явственно обозначена в том же «дебютном» номере его собственными стихами разных лет. Не могли не обратить на себя внимание исполненные прямо-таки воинственного духа «Вся суть — в одном единственном завете...» и «Моим критикам»:

Все учить вы меня норовите,
Преподать немудреный совет,
Чтобы пел я, не слыша, не видя,
Только зная: что можно, что нет.

Но нельзя не иметь мне в расчете,
Что потом, по прошествии лет,
Вы же лекцию мне и прочтете:
Где ж ты был, что ж ты видел, поэт?..

---

[1] Примечательно и то, что в разделе критики августовской книжки 1958 года была поддержана его предшествующая повесть «Южнее главного удара», а в сентябрьской горячо одобрен только что появившийся в печати жестоко реалистический рассказ «Иван» совершенного новичка — Владимира Богомолова.

Конец 1958 года проходил под знаком повсеместного грубого шельмования Бориса Пастернака, которому была присуждена Нобелевская премия за роман «Доктор Живаго», опубликованный в 1957-м в Италии.

Поэт и прежде постоянно был на прицеле у критики, осуждавшей его «субъективизм», «отрыв от советской действительности» и т. п. И весьма полемически в этой связи выглядели слова, сказанные Твардовским на первом же послевоенном писательском пленуме (19 мая 1945 года) о пастернаковских переводах «Антония и Клеопатры» и «Ромео и Джульетты»:

«Я во время войны прочел эти вещи, и мне было так радостно, потому что мне кажется (я не берусь этого утверждать), что Шекспир по-русски должен быть именно таким. И как мы не понимали того, что к чести нашей культуры не только то, что во время войны создавались замечательные симфонии, но и то, что во время войны, кроме вещей связанных непосредственно с нею, рожденных от нее, приумножалось наше национальное культурное богатство. Мне лично претит та кичливость, которая несколько свойственна людям, носящим военную форму, что, дескать, мы самое главное. Нет, я бы такую работу, как работа Маршака, как работа Пастернака, поставил в одну линию с работой лучших писателей-фронтовиков, и я думаю, что это было бы очень лестно для нас, проведших эту войну на фронте».

Увы, на этот раз «Новому миру» пришлось не только напечатать резко отрицательное редзаключение прежней, симоновской редколлегии журнала на предложенный к публикации роман «Доктор Живаго», но и вынужденно согласиться с ним в немногословной заметке «От редакции».

Александр Трифонович, по свидетельству близких, был очень угнетен всем случившимся: «Расправились с писателем, не читая его романа».

Полтора года спустя Борис Леонидович умер от быстро развившегося после «проработки» рака... И кто мог тогда предвидеть, что подобная участь ждет и Твардовского.

«Не только писать, читать печатных книг некогда», — записывал он 3 августа 1958 года в пылу складывания первых номеров. И чуть позже жаловался И. Соколову-Микитову: «Журнал покамест съедает все мое время, мой приусадебный участок (в литературном смысле) все время в полном забросе. А ведь, как известно, этот участок в жизни колхозника порою играет не “подсобную”, а главную роль. Ведь даже в материальном смысле новомирский трудодень дает мне ничтожную часть того, что по инерции идет мне еще с приусадебного участка. А я туда уже почти не заглядываю: собрание сочинений не могу подготовить, засесть за него...»

Журнал и потом отнимал много сил и времени. Одни письменные объяснения Твардовского с авторами отклоняемых рукописей нередко стоили пространных рецензий и требовали подлинной отваги в высказывании нелицеприятных оценок знаменитостям и даже самым близким людям: «Страх как не хотелось бы мне огорчать тебя, но приходится: пьеса мне очень не понравилась» (из письма Овечкину 24 ноября 1959 года); «Вот что могу сказать относительно Вашей новой пьесы: это, как говорится, постройка облегченного типа» (из письма Назыму Хикмету 31 августа 1959 года).

Да и сама общественная обстановка не способст-

вовала осуществлению самых заветных замыслов. Тяжко занятый помимо редакторских обязанностей еще и своим собранием сочинений поэт вместе с тем замечал: «...может быть, хорошо, что такая работа выпала на такое время, когда весьма трудно двигаться дальше, не кривя душой».

И все же он стремился воспользоваться любой возможностью, «чтобы хоть малость пописать» пусть в самом недолгом уединении. «Вчера — как прибыл сюда и еще в дороге, — записывает Александр Трифонович 17 декабря 1959 года, выбравшись в «дом творчества», — кинулся весь в “Тёркина на том свете”... Сегодня день работы такой, когда в чистоте как будто и нет ничего, но все клубится, набегает, сменяется, нащупывается, уходит, возвращается, сцепляется — без конца, но все же во всем этом месиве что-то, очевидно, живет, вырабатывается, очищаясь, освобождаясь от костеневшего».

«...И, кажется, пошлó, — доверительно сообщается в тот же день Ивану Сергеевичу Соколову-Микитову, — давно уже кипело, а хуже нет, как уже и перекипит».

Но меняются обстоятельства, меняются и планы — не без некоторых «тактических» расчетов. «Двигаю сталинскую главу», — записывает Александр Трифонович месяцем позже (18 января 1960 года). А 12 февраля уже делится с тем же Иваном Сергеевичем и некоторыми итогами: «Я, кажется, застряну в Барвихе еще недельки на две, т. к. я расписался здесь, возомнил, что вижу берег моих “Далей”, и на этом основании дерзнул обратиться к Е. А.[1], пасть в ноги и просить освободить меня от

---

[1] Екатерина Алексеевна Фурцева, тогда член президиума ЦК КПСС.

предстоявшей мне с неизбежностью поездки за океан. Представьте, я был понят там, как надо, и мне было предоставлено выбрать, что мне более выгодно в смысле работы... Словом, я за работой, которая временами как бы даже успешно подвигается вперед и сулит мне радость рассчитаться с “Далями”, растянувшимися на добрых 10 лет... “Тёркина на том свете” покамест отложил, имея в виду, что заключительные главы “Далей” — если пройдут — пробьют ему дорогу».

«Иду по льду, который трещит во всю ширину реки» — слова, сказанные поэтом в пору создания «Друга детства», были бы справедливы и по отношению к «сталинской» главе.

В предвидении неизбежных цензурных и «цековских» препон (в частности — ссылок на то, что партия, дескать, «по данному вопросу» уже все сказала в постановлении «о культе личности», его же не прейдеши) Твардовский решил апеллировать к самому Хрущеву.

«Если бы все, в чем нуждается душа человека, можно было бы сказать в докладах и решениях, — говорится в набросках письма ему, — не было бы необходимости искусства, поэзии».

Помощник Никиты Сергеевича Лебедев впоследствии напоминал «шефу», что только его вмешательство и телефонный звонок главному партийному «идеологу» М. А. Суслову открыли финальным главам «Далей» дорогу в печать. Они были опубликованы не только в «Новом мире» (№ 5), но и в «Правде» (29 апреля и 1 мая 1960 года), вызвав самую бурную читательскую реакцию.

«Заниматься не дали — телефон оборвали», — пожаловалась отцу младшая дочь Ольга. А поток писем начинал напоминать времена давнего «Тёрки-

на». Только прежнего единодушия в них не было! Твардовский со своей всегдашней, по собственным словам, готовностью признать («по крайней мере, в душе»), что — «не получилось», обращал особое внимание на «хулу»: одни возмущались «охаиванием» Сталина, другие... его восхвалением! «Какое, однако, многослойное, разного уровня и характера это читательское море», — подытоживал поэт.

Даже ближние люди находили в «сталинской» главе, получившей название «Так это было», и умолчания, и «ненужные славословия», и даже «очевидную неправду» и в запальчивости хватали лишку.

Гневались на первую же строфу, хотя в ней заключалась тяжкая правда и о вожде, и о множестве современников:

...Когда кремлевскими стенами
Живой от жизни огражден,
Как грозный дух он был над нами, —
Иных не знали мы имен.

И на другую, казалось, выдержанную в духе официальной трактовки войны и даже в соответствующей стилистике:

Ему, кто вел нас в бой и ведал,
Какими быть грядущим дням,
Мы все обязаны победой,
Как ею он обязан нам, —

хотя последняя строка вносила в сказанное существенную «поправку», а в дальнейших скорбно говорилось об истинной цене победы:

На торжестве о том ли толки,
Во что нам стала та страда,
Когда мы сами вплоть до Волги
Сдавали чохом города.

О том ли речь, страна родная,
Каких и скольких сыновей
Не досчиталась ты, рыдая
Под гром победных батарей...

Не менее прямо было сказано и о том, чем оборачивались амбициозные планы «грозного вождя» для страны и людей:

И за наметкой той вселенской
Уже как хочешь поспевай —
Не в дальних далях, — наш смоленский,
Забытый им и богом,
Женский,
Послевоенный вдовий край.

А образ тетки Дарьи с ее «трудоднем пустопорожним» довершал недвусмысленную оценку минувшего, думается, в сущности, оспаривая все, еще высокопарные по инерции, аттестации и «героя» главы, и самой, нареченной его именем эпохи, где будто бы «нет ни одной такой страницы, ни строчки, даже запятой, чтоб нашу славу притемнила...».

В жестоком противоречии с этими словами, кровоточа, закрывалась в эти майские дни одна из тягостно реальных «страниц»: умирал затравленный Пастернак... И напрасно Твардовский обивал «высокие» пороги, пытаясь добиться, чтобы покойного хотя бы «проводили по-людски»!

Тем временем вписывались в историю новые темные, постыдные строчки. Мало того что литературные противники «Нового мира», по выражению Твардовского, безнаказанно мазали дегтем ворота журнала (даже встреча и часовая беседа с Сусловым ровно ничего не изменила).

Еще явственнее выказали себя и сам Михаил Андреевич Суслов, и все высшее руководство в проис-

шедшей вскоре беспрецедентной расправе с новой книгой Василия Гроссмана «Жизнь и судьба».

Она была завершена писателем в середине 1960 года, и хотя сразу же после возвращения Твардовского в «Новый мир» анонсирована там как вторая книга романа «За правое дело» (в № 11 за 1958 год), роковую роль сыграла старая обида автора после памятных злоключений 1953 года.

В конце концов Василий Семенович передал рукопись в редакцию журнала «Знамя». Гроссманом, как вспоминал его ближайший друг поэт Семен Липкин, «овладела странная мысль, будто бы наши писатели-редакторы, считавшиеся прогрессивными (помимо Твардовского имелся в виду Казакевич. — *А. Т-в*), трусливей казенных ретроградов. У последних, мол, есть и сила, и размах, и смелость бандитов. Они скорее, чем прогрессивные, способны пойти на риск».

Между тем главный редактор «Знамени» В. Кожевников, поддержанный всей редколлегией, не только не стал печатать роман, но понес рукопись «куда надо», по горькому выражению Твардовского. В результате к писателю явились незваные гости из КГБ и изъяли, как они думали, все машинописные экземпляры рукописи.

После попытки Гроссмана апеллировать к Хрущеву, писателя «удостоил» трехчасовой беседы «сам» Суслов, сказавший (по воспоминаниям Липкина): «...Я этой книги не читал, читали два моих референта, товарищи, хорошо разбирающиеся в художественной литературе, которым я доверяю, и оба, не сговариваясь, пришли к единому выводу — публикация этого произведения нанесет вред коммунизму, советской власти, советскому народу».

По его словам, роман, может быть, издадут только через двести-триста лет.

Твардовского же, которому Гроссман дал свою рукопись «почитать» осенью 1960 года, она буквально ошеломила.

«Единым духом» прочитав ее, Александр Трифонович записал: «Самое сильное литературное впечатление за, может быть, многие годы... Это из тех книг, по прочтении которых чувствуешь день за днем, что что-то в тебе и с тобой совершилось серьезное, что это какой-то этап в развитии твоего сознания, что отдельно от этого ты уже не можешь думать (совсем отдельно) о чем-либо другом и о собственных своих делах в частности».

Впечатление было и «радостное, освобождающее, открывающее тебе какое-то новое (и вовсе не новое, но скрытное, условно-запретное) видение самых важных вещей в жизни», и одновременно крайне тяжелое. Мучил и страшил возникавший в книге «некий неприкрытый параллелизм, сближение "двух миров" (гитлеровского и сталинского режимов. — *А. Т-в*) в их единой по существу "волкодавьей" сути»: «Там несвобода, и тут несвобода, там сажают и мучат, и тут не меньше и, пожалуй, и похлеще...»

«Напечатать эту вещь, — заключал Твардовский, — ...означало бы новый этап в литературе, возвращение ей подлинного значения правдивого свидетельства о жизни, — означало бы огромный поворот во всей нашей — зашедшей бог весть в какие дебри лжи, условности и дубовой преднамеренности литературе. Но вряд ли это мыслимо».

Узнав же об изъятии книги «органами» (отобран был и данный поэту и хранившийся в сейфе «Нового мира» экземпляр), Александр Трифонович записал: «...в сущности это арест души без тела. Но что

такое тело без души?» (Оно прожило — прожило?! — еще только три года; Василию Семеновичу не было и шестидесяти, когда он умер.)

Чуть ли не в полночь, по воспоминаниям Липкина, Твардовский приехал к Гроссману — сказать, что роман гениален. Мучителен был ночной разговор, трудно было жить дальше.

«Вся вещь — она как бы вырвавшийся однажды предельно доверительный разговор с близким тебе человеком, с которым говоришь начистоту и под большим влиянием минуты, ничего не прощая своему времени, ставя ему каждое лыко в строку, — говорится в рабочей тетради поэта, — разговор сладостный, но после которого бывает (на другой день) как-то неловко, и надо жить, и живешь, и поступаешь не по программе этого разговора, совершенно немыслимой в реальной жизни».

Тем не менее «Жизнь и судьба», участь ее и самого автора («задушили в подворотне», как сказал он сам), бесспорно, сыграли большую роль в «самоизменении» поэта (примечательно, что он вновь вернулся в эту пору к злополучному, опальному «загробному» «Тёркину»).

Наученный трагическим гроссмановским опытом, Твардовский совершил все возможное (если не невозможное), чтобы подобного не повторилось, когда на его редакторский стол легла еще одна, казалось, обреченная повесть — о буднях заключенного под номером «Щ-854» (так она первоначально и называлась).

«Сильнейшее впечатление последних дней — рукопись А. Рязанского...» — сказано в рабочей тетради 12 декабря 1961 года.

В истории русской литературы немало примеров — мало сказать: доброжелательного, — трога-

тельного отношения известных писателей к новичкам. Вспомним хотя бы, как прочитав «Бедных людей» порывисто устремились к Достоевскому Григорович и Некрасов. И все же то, как встретил автора «Щ-854» Твардовский, вряд ли с чем-нибудь сравнимо по восторгу, открытости, самоотверженной готовности прорвать, казалось бы, неприступную, глубоко эшелонированную, говоря военными терминами, оборону противников жизненной правды в искусстве, тем более такой жестокой, какой она представала у «дебютанта».

Как Твардовский потом рассказывал, — писал Александр Солженицын (он же А. Рязанский): «...он вечером лег в кровать и взял рукопись. Однако после двух-трех страниц решил, что лежа не почитаешь. Встал, оделся. Домашние его уже спали, а он всю ночь, перемежая с чаем на кухне, читал рассказ — первый раз, потом и второй... Так прошла ночь, пошли часы по-крестьянски утренние, но для литераторов еще ночные, и приходилось ждать еще. Уже Твардовский и не ложился. Он звонил Кондратовичу и велел узнать у Берзер (сотрудницы отдела прозы, от которой получил рукопись. — *А. Т-в*): кто же автор и где он» (*Солженицын А. И.* Бодался теленок с дубом).

Потом при их первой встрече, продолжает писатель, Твардовский «очень старался сдерживаться и вести себя солидно, но это ему мало удавалось: он все больше сиял. Сейчас был один из самых счастливых его моментов, именинником за столом был не я — он».

Твардовский не только делился своей радостью с близкими людьми и ревниво оценивал читавших (по его предложению) рукопись по их реакции: если Сурков тут же перевел разговор на воспоминания о соб-

ственном пребывании в 1920 году в эстонском плену, то Чуковский, получив повесть вечером, утром принес восторженный отзыв; восхищен был и Маршак.

«Кто из вельмож советской литературы до Твардовского или кроме Твардовского, — продолжал Солженицын, — захотел бы и одерзел бы такую разрушительную повестушку предложить наверх?» А тот обратился к Хрущеву, утверждая в сопроводительном письмеце: «Речь идет о поразительно талантливой повести А. Солженицына "Один день Ивана Денисовича" (так он ее переименовал. — *А. Т-в*). Имя этого автора до сих пор никому не было известно, но завтра может стать одним из замечательных имен нашей литературы».

Хрущев заметно старел и, когда Лебедеву приходилось ему что-нибудь долго читать, порой задремывал. Но на этот раз, когда чтение присланной повести пришлось прервать, на следующее утро отодвинул все дела и потребовал: дальше!

«Было все так же темно в небе, с которого лагерные фонари согнали звезды...» — И казалось, в описанных в повести истощенных, голодных, иззябшихся людях тоже все должно было поблекнуть, исчезнуть, смениться тупым равнодушием и вечным страхом («только и высматривай, чтоб на горло тебе не кинулись...» — овчарки ли, охрана, а то и свой брат, вконец озверевший зэк!). Ан, оказывается, не превратилась в пепел душа Шухова, знавшего и войну, и плен, и «родимый» лагерь, — как только сохранил он и доброту, и совесть! И вовсе уж удивительно: все лишения никак его отучить не могут: «всякую вещь и всякий труд жалеет... чтоб зря не гинули»! И мастер первостатейный. «Ну как тебя на свободу отпускать?» — шутит, любуясь его работой, бригадир.

А говорит как! Даже прервал лебедевскую ровную речь Никита Сергеевич: как, как? И тот повторил: «"Волчье солнышко" — так у Шухова в краю (вологодском, бедном — но только не на меткое словцо! — *А. Т-в*) ино месяц зовут». Запомнилось Хрущеву, не раз поминал потом!

Не на шутку был взволнован, зашедших к нему Ворошилова с Микояном тоже слушать заставил и, уже сам читая особенно поразившие места, посматривал: их-то, «коллег», проняло ли?!

Шестнадцатого сентября 1962 года Твардовский записал, ликуя: «Солженицын... одобрен Никитой Сергеевичем. Вчера после телефонного разговора с Лебедевым, который был ясен прислушивавшейся к нему Марии Илларионовне, я даже кинулся обнять ее и поцеловать и заплакал... Счастье».

У редакции запросили двадцать экземпляров повести для членов президиума ЦК, и спешно вычитывавшие текст корректоры диву давались: неужели это будет печататься?!

Увы, счастье было омрачено надвигавшейся огромной утратой: от страшной болезни сгорал Эммануил Казакевич (аукнулся, аукнулся пятилетней давности разгром и запрещение «Литературной Москвы», душой и «мотором» которой был Эммануил Генрихович!).

Твардовский кинулся на помощь другу и делал все, что мог.

«Он часто навещал больного, — писала впоследствии Маргарита Алигер, — полный, как и все мы, боли за него, тревоги и надежды... И очень хотелось ему делиться своими радостями и заботами с Казакевичем, но в больницу его уже не пускали.

— Так вы все подробно ему рассказывайте. Непременно рассказывайте, — всякий раз напутствовал он меня, прощаясь.

И я, разумеется, сразу же все подробно пересказывала совсем обессилевшему Казакевичу. Он слушал меня взволнованно и радостно, насколько это возможно для умирающего человека, и даже в глазах его, полных боли и страдания, появлялось какое-то оживление, искорка гаснущего интереса к главному делу его жизни».

Воспоминания Алигер «Тропинка во ржи» печатались в 1980 году, когда имя Солженицына было уже под запретом, и далеко не все читатели понимали, о чем именно просил Александр Трифонович непременно и подробно рассказать умиравшему другу[1] и чем тот был так взволнован и обрадован в свои последние дни (Казакевич умер 22 сентября 1962 года). Речь шла о повести Солженицына...

«Проводили, — сказано в рабочей тетради. — Наверно, только смерть и похороны Фадеева были для меня таким приближением, примеркой всего этого, перенесением на себя. М. Алигер заметила об ораторах (на гражданской панихиде. — *А. Т-в*): никак не видно, чтобы они допускали все это в отношении себя. Такой защищенностью моя природа не обладает. И все, все это я видел еще и его глазами — зоркими, умными и озорными».

Появление солженицынской повести в ноябрьской книжке журнала за 1962 год стало событием — и не только в литературе. Номер расхватывали

---

[1] Именно ему спешил рассказать о своей беседе с Хрущевым летом 1957 года: автор настоящей книги случайно был у Твардовского, когда Казакевич примчался к нему, и, сразу остро ощутив, как обоим не терпится остаться наедине, тут же ушел.

в киосках, на проходившем пленуме ЦК, осаждали просьбами редакцию...

«Нужно же мне, чтобы я, кроме привычных и изнурительных самобичеваний, мог быть немного доволен собой, доведением дела до конца, преодолением всего того, что всем без исключения вокруг меня представлялось просто невероятным», — удовлетворенно записывал Твардовский.

Не удивительно, что новомирцы некоторое время испытывали эйфорию. «И как казалось, что за этим "прорывом" все пойдет куда как хорошо, легко и радостно», — вспоминал Александр Трифонович спустя несколько месяцев (10 апреля 1963 года).

В журнале на лаврах отнюдь не почивали, а стремились бросить в «прорыв» всё новые силы. В декабрьской книжке был помещен очерк Александра Яшина «Вологодская свадьба» — про трудный быт деревни. В следующих появились «Матренин двор» Солженицына, рассказы В. Войновича и В. Шукшина, а также повесть К. Воробьева «Мы убиты под Москвой», два года мыкавшаяся по другим редакциям (когда вызванный в Москву Твардовским автор услыхал от него, что сказал «несколько новых слов о войне» и что повесть решено печатать в ближайших номерах, то, по его собственным словам, «позорно оконфузился... заплакал, стыдясь и пытаясь спрятать глаза...»).

Популярность «Нового мира» стремительно росла «...Было много сочувственных записок, — записывал в дневнике недавно ставший членом редколлегии В. Лакшин, — к нам подходили, жали руки. Говорили: "Новый мир" — это наша жизнь, каждый номер журнала — радость. Держитесь».

Держаться действительно приходилось. Уже к новому, 1963 году от эйфории следа не осталось. По-

сле посещения художественной выставки в московском Манеже науськанный своим аппаратным окружением Хрущев разразился форменной бранью не только по адресу живописцев и скульпторов, но грубо обругал напечатанные в «Новом мире» очерк Виктора Некрасова «По обе стороны океана» (1962. № 11, 12) и начало мемуаров Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь». «То — Солженицына, то — нечто противоположное», — горестно резюмировал Твардовский.

«Известия», возглавляемые А. Аджубеем, немедленно открыли огонь не только по В. Некрасову, развязно окрещенному в газете «туристом с тросточкой», который не увидел «социальных контрастов и классовых противоречий американской жизни», но и по Яшину, перепечатав заметку из вологодской газеты: «Автор записок копается во всем плохом, что есть в нашем районе, и объединяет это плохое в одно целое», и т. п. Поместить же в журнале письма читателей, которые были иного мнения, в ЦК не разрешили...

Атаки были активно продолжены на новой, мартовской «встрече с творческой интеллигенцией», как патетически именовались эти судилища. Хрущев вновь ополчился на Некрасова с Эренбургом: «И это пишет советский писатель в советском журнале!» А молодым поэтам ставил в пример... Грибачева, у которого «меткий глаз и который точно, без промаха бьет по идейным врагам».

Особую тревогу автора «Тёркина на том свете» вызвали слова сановного оратора о сатире, которой, дескать, надо уметь пользоваться: «Правильно поступают матери, которые не дают острых вещей детям, пока они не научатся пользоваться острыми вещами».

«...Если уж постановка “Горя от ума” несвоевременна, то чего же тут ждать», — думал Твардовский,

как раз завершавший «отделочные работы» в своей «острой вещи».

Распоясалась и услужливая пресса. Комсомольский «вождь» С. Павлов писал, что от произведений, «с какой-то совершенно необъяснимой последовательностью» публикуемых в «Новом мире», «несет таким пессимизмом, затхлостью, безысходностью, что у человека непосвященного, не знающего нашей жизни, могут, чего доброго, мозги стать набекрень».

Вновь, как и в 1953—1954 годах, заговорили о некоей «порочной линии» журнала. Еще в конце января Лакшин записывал, что слухи, будто Твардовского снимают, распространяются «трижды на дню». После павловской статьи «Нью-Йорк таймс» сообщала, будто на его место уже назначен Ермилов.

«В голову не могло прийти, что вспучатся такие хляби земные и небесные...» — поражался Александр Трифонович, побывав на апрельском писательском пленуме, где Софронов вопиял, что эренбурговские воспоминания «нельзя читать без возмущения», а другие «автоматчики», рангом пониже, гневно вопрошали, «до каких пор у нас» будет существовать журнал «с такой позицией», где главный редактор «позволяет себе» одно за другим печатать идейно-порочные произведения.

«Обвиняемый» все это, по его словам, «высидел, удержался от какой-либо формы ответа на огонь, как иная батарея не отвечает на огонь по ней по необходимости...». Всего лишь расхохотался однажды после чересчур уж забористого выступления — да так, что и в зале рассмеялись.

Он и в ЦК, придя на очередное совещание, насмешливо заявил, что знает, зачем оно собрано, и рассказал председательствовавшему, как Ольга Берггольц несколько лет назад в аналогичной ситу-

ации напомнила концовку тургеневского рассказа «Певцы»:

«— Антропка! Антропка-а-а!.. Иди сюда...

— Заче-е-ем?

— А затем, что тебя тятя высечь хочи-и-т...»

Эти экзекуции приняли столь скандальный характер и вызвали такую бурную реакцию в зарубежной печати, что «тятям» самим пришлось дать задний ход и обратиться за помощью... к «Антропке».

ЦК и МИД поручили Твардовскому, как ни в чем не бывало, дать интервью известному американскому журналисту Генри Шапиро.

После своего рода, по выражению поэта, игры в жмурки — и с начальством, и с Шапиро, который тоже был не лыком шит, — сказанное Твардовским было напечатано в «Правде» (14 мая 1963 года).

Несмотря на несколько вынужденных «контрпропагандистских», как тогда выражались, пассажей (в советской литературе нет разделения на либералов и консерваторов, а в молодой поэзии — некоей оппозиции «отцам»), в интервью было заметно акцентировано «непреходящее значение правды в искусстве», говорилось о знаменательности появления солженицынской повести, о том, что «немалая роль должна принадлежать нашей сатире». Были также положительно охарактеризованы в особенности близкие «Новому миру» авторы, а некоторые их произведения, подвергшиеся самой разнузданной критике, прямо взяты под защиту, как, например, «отличный, полный поэзии» очерк Яшина «Вологодская свадьба».

В этой обстановке некоторого «отбоя» (как бы в дополнение к интервью, в «Правде» была опубликована и довольно примирительная и умеренная по тону передовая статья) поэт отправил свою «острую вещь» на самый «верх», вновь прибегнув к посред-

ничеству Лебедева и «ослушавшись» осторожного Маршака, стращавшего: «Если хочешь взойти на костер — тогда неси».

Мария Илларионовна подтрунивала над мужем, напоминая об отношениях Пушкина с Николаем I: «Это что же, Саша, вроде "я сам буду твоим цензором?"»

Нынешний «цензор» не только дал разрешение на публикацию поэмы, но даже (по подсказке Лебедева?) предложил автору прочесть ее на приеме в честь участников конференции Европейского сообщества писателей, а сервильные «Известия», только что всячески шпынявшие «Новый мир», поторопились с публикацией.

«Появление ее даже подготовленным к этому людям представляется невероятным, исключительным, не укладывающимся ни в какой ряд после совещаний и пленума, — записывал Твардовский в этот день, 18 августа 1963 года. — Третьего дня В. Некрасов исключен из партии одним из киевских райкомов».

В дружеском же кругу признавался: «Вот погружусь в какие-то мелочи, дела, заботы, а потом готов ущипнуть себя (не сон ли? — *А. Т-в*): "Тёркин"-то напечатан!»

Впрочем, вскоре выяснилось, что «тот свет» в долгу не остался. Медлила подписывать в печать отдельное издание поэмы цензура, оскорбленная тем, что ее впервые, как говорится, вывели за ушко да на солнышко да еще отнюдь не в авантажном виде:

От иных (дураков. — *А. Т-в*) запросишь чуру —
И в отставку не хотят.
Тех, как водится, в цензуру —
На повышенный оклад.

А уж с этой работенки
Дальше некуда спешить...

«Цензор С. П. Оветисян, — записывал Александр Трифонович, — ... слезно просил меня опустить "одно слово", в то же время держа "на разрешении вопроса" "Театр<альный> роман" Булгакова по соображениям, глупым до дикости. Трудно еще представить, во что мне, журналу обойдется это словечко. Но уж получили! "Над нами же все будут смеяться"».

«...Период неполного торжества, — констатировал автор недели три спустя (6 сентября 1963 года), — как будто она (поэма. — *А. Т-в*) опубликована только по недоразумению или недосмотру, или же так, в виде опыта, и ей еще нужно "легализоваться". Похоже, что если и не позволено на нее обрушиваться критике, то только из соображений (неписаных) приглушения ее. Это "сверху", и это очевидно и недвусмысленно. Молчание газет, торможение с изданием...»

Зато возглавлявшийся, пожалуй, самым откровенным и рьяным из «автоматчиков» Всеволодом Кочетовым журнал «Октябрь» вполне оперативно, уже в сентябрьском номере поместил статью, громко озаглавленную «Тёркин против Тёркина» и не скрывавшую намерения всячески скомпрометировать, осудить, уничтожить «неудачную» поэму.

«Ну нет, куда уж этому новому "Тёркину с того света" против прежнего! — развязно возглашал критик Д. Стариков. — Произведение, вроде бы самым непосредственным образом связанное с его (поэта. — *А. Т-в*) прежним творчеством... в наибольшей степени, чем что-либо иное, сделанное Твардовским, противоречит живому направлению и сущности его таланта, оспаривает неоспоримое в нем и, прежде всего, конечно, "Книгу про бойца".

...Главное, что жажда героя жить, тоска по жизненным благам, оставленным "на этом свете", пока и поскольку они в поэме не соотнесены... с общенародной жизнью и борьбой, оказались замкнутыми в кругу сугубо индивидуальных ощущений "человека вообще" со своей смертью».

Не больно ладно сказано (что это за «сугубо индивидуальные ощущения человека со своей смертью»?!), но автору лишь бы подключиться к развернутой тогда борьбе с так называемым абстрактным гуманизмом!

«В высшей степени характерно, — продолжает Д. Стариков в том же прокурорском тоне, — что жизненный опыт нового Тёркина в отличие от героя "Книги про бойца" не выходит за пределы чисто практической сметки, не поднимается до политических категорий: мир делится в его представлении на "живых" и "мертвых", на "умных" и "дураков"», — и как приговор, то бишь окончательный вывод: — «...Сатирический пафос ее (поэмы. — *А. Т-в*) носит явно односторонний характер».

И пожалуй, можно с этим согласиться, вспомнив слова Твардовского, что пафос его произведения — суд народа над бюрократией и аппаратчиной! Что поделать, если критик явно на стороне живучих «мертвецов» и... (умолкаю в надежде, что недостающее слово читатель добавит сам!).

Высказывалось мнение, будто автор «Тёркина на том свете» несколько преувеличил опасность непонимания условности поэмы. Но, читая эту статью, думалось, что поэт как в воду глядел.

В «Книге про бойца» есть глава «Тёркин — Тёркин» — о встрече героя со своим, тоже отличившимся на фронте, однофамильцем. Они-то друг с другом поладили:

Молвит Тёркин:
— Сделай милость,
Будь ты Тёркин насовсем.
И пускай однофамилец
Буду я...
А тот:
— Зачем?..

В нашем же случае критик производит форменное дознание, чтобы доказать, будто герой новой поэмы это какой-то самозванец, чуть ли не ильфо-петровский «сын лейтенанта Шмидта», ловко использующий чужую славу.

На словах-то Д. Стариков — горой за художественную условность. Но вот на деле!.. Он, например, уличает своего «подсудимого» в том, что «физиологическая» жажда «в нем заметно преобладает над необычными впечатлениями от экскурсии по “тому свету”», — хотя это желание «простой, природной... глотнуть воды» в самом прямом родстве с тягой к жизни.

Еще более роняют героя в глазах критика (и, как он хотел бы, — в читательских) его «гастрономические воспоминания», как выражается Д. Стариков:

... и здесь в загробном сне,
То, чего не съел, не выпил, —
Не дает покоя мне.

Не добрал, такая жалость,
Там стаканчик, там другой.
А закуски той осталось —
Ах ты, сколько — да какой!

Мало того что этот «чревоугодник» помнит даже какую-то жалкую недоеденную «консервов банку» («Только сел, а тут “в ружье”!..»), он... прямо-таки плотояден:

У хозяйки белорусской
Не доел кулеш свиной,
Правда, прочие нагрузки,
Может быть, тому виной.

Орёр, орёр! Ужас, ужас, как говаривали гоголевские дамы. И какая жалость, что критик не пополнил и не увенчал сии разоблачительные выписки еще одной (из «Родины и чужбины»), рисующей моральный облик, как тогда выражались, уже самого поэта, — его последней предвоенной дневниковой записью 20 июня 1941 года:

«Ходил после обеда в Звенигород, на почту. Туда взял лесом, прошел слабой[1] тропой через овраг, поросший настоящим, темным еловым лесом, а на выходе к опушке — черемухой, — там все было, как будто в овраге снег залежался. На дне оврага — светлый лесной ручей. Думал, как обычно в таких случаях, о сельских и столичных местах, о Смоленщине и Подмосковье, о том, что всего не увидишь и везде дач не настроишь.

А на выходе из города, у самой дороги — белого булыжникового шоссе, — в узкой полоске тени от какой-то деревянной амбарушки или сарайчика, на пыльной травке сидел старичок, как сидят мужики в санях — подогнув под себя ноги. Он был без картуза, и его лысина с подтеками пота и прилепившимися прядками желтовато-серых волос освежалась в тени строения. Он уже расстелил платок на травке и расположил на нем хлеб, яйцо, две луковички и только что откупоренную и для предосторожности приткнутую пробочкой четвертинку. Я поздоровался и пожелал ему приятного аппетита.

— Садись — поднесу, — спокойно предложил он,

---

[1] Какой выразительный эпитет!

блеснув на меня светло-голубыми и чуть воспаленными глазками этакого светлого русского старца.

Это “поднесу” было исполнено приветливости и достоинства. Дыша ртом, старец смотрел на меня и ждал. Я вежливо отказался.

— Ну что ж, — так же спокойно согласился он, — смотри. — И, великодушно позволяя мне еще и передумать, предостерегая от возможного раскаяния, еще раз повторил, кивком указывая место напротив себя: — А то поднесу. А? Смотри...»

Тут запись обрывается, и Твардовский — летом 1942 года — добавляет:

«И мне таки жаль теперь, спустя столько времени, жаль, что я отказался, как будто я тогда заодно отказался от многого-многого, что кажется теперь таким дорогим и невозвратимым».

Не так ли и новый Тёркин говорит-то о «закуске», а вздыхает о многом ином, дорогом и невозвратимом?

Критик старательно обходит те эпизоды, где, вопреки его утверждениям, Тёркин явно «подымается до политических категорий», раздражая былого друга, вполне смирившегося с загробными порядками. Самостоятельность и смелость его суждений не по нутру ни бедному покойнику, ни... автору статьи:

— Посмотрю — умен ты больно!
— А скажи, что не умен!

Прибедняться нет причины:
Власть Советская сама
С малых лет уму учила —
Где тут будешь без ума!

На ходу снимала пробу,
Как усвоил курс наук.
Не любила ждать особо,
Если понял что не вдруг.

И не Тёркин ли своими въедливыми расспросами заставил собеседника раскрыть всю «механику» новоявленной преисподней?

В том-то вся и заковыка
И особый наш уклад,
Что от мала до велика
Все у нас
Руководят.

....

В том-то, брат, и суть вопроса,
Что темна для простаков:
Тут ни пашни, ни покоса,
Ни заводов, ни станков.

Нам бы это все мешало —
Уголь, сталь, зерно, стада...

Существует мнение, что первый вариант поэмы был сильнее. Так ли это? Новая редакция и полнее (дорогого стоят одни только вышеприведенные строфы!), и значительно отточеннее.

«Заковыка» в другом... В поэме упомянута «зала ожидания» для не совсем обретших нужную «кондицию», еще «не полностью» покойников.

«Может, все-таки дойдешь в зале этой самой?» — с надеждой обращался к Тёркину былой однополчанин. И хотя сия участь миновала и самого героя, и много претерпевшую поэму, почти десятилетнее пребывание в «зале ожидания» уже этого света не могло не сказаться на судьбе произведения.

Сама возможность его публикации порой казалась автору невероятной:

«Вообще говоря, этот мой цыпленок, проклюнувший скорлупу не вовремя, может быть, уже не будет выведен, хотя я уже столько с ним повозился... С утра вдруг стало опять казаться... что вообще все это дело обреченное» (записи 30 марта и 20 апреля 1962 года).

А несколькими месяцами позже — еще резче и отчаяннее:

«Все же это — как будто курицу, уже однажды сваренную, остывшую, вновь и вновь разогревать, варить, приправлять — уже от той птицы ничего почти не осталось» (13 декабря).

«Клубятся», по выражению Александра Трифоновича, не оставляют эти «мрачные мысли о "Т. на т. св."», — многострадальной поэме, которой, если и суждено быть напечатанной, то — «оказаться чем-то меньшим, чем уже сложившееся представление о ней»: «какое-то "устаревание" этой вещи неизбежно» (14 мая 1963 года).

И хотя по выходе в *самой* «Правде» земля слухом полнится о «звонких читках» этого номера в поездах и даже учреждениях, новый «Тёркин», по мнению автора, все-таки вступает в свою гласную жизнь «глухо».

«Конечно, подавляющее количество писем благодарственных, сочувственных, оценивающих вещь прямым положительным образом, — размышлял поэт над почтой. — Но вместе с тем и недоумения, и возражения, и протесты, и бог весть что.

Почему "тот свет", зачем "темнить", говори прямо про этот? — Может быть, должна была бы явиться вещь более "прямая" — на всем том, что накипело. Но продолжаю думать, что и такая "условная", может быть, уже в чем-то запоздавшая вещь имеет смысл открытия возможности говорить о том, о чем не принято было говорить издавна».

В январе 1964 года в журнале «Дружба народов» было опубликовано письмо пензенского врача Б. Механова «Атака в одиночку», по духу близкое стариковской статье. Оно и послано-то было в кочетовский «Октябрь», откуда его передали в «друже-



Обложка единственного прижизненного издания книги «Тёркин на том свете». *1964 г.*

ственную» редакцию, а там основательно «переработали» в еще более критическом направлении.

Узнав о предыстории этой публикации, Я. Брыль, Э. Межелайтис и А. Сурков подали заявления о выходе из редакционного совета журнала, однако их легко отговорили. На заседании секретариата правления Союза писателей главный редактор «Дружбы народов» Василий Смирнов утверждал, защищаясь, что Твардовский «ведет ошибочную и вредную для советской литературы линию в журнале». Поддержавший же его Грибачев демагогически (и не очень грамотно) разглагольствовал, что если осудить эту публикацию, то «могут пойти разговоры о том, что у нас имеется какая-то каста неприкасаемых (неприкосновенных, как часто у нас эти слова путают! — *А. Т-в*), культ возвращается», и не преминул даже заявить, что и в статье Старикова «точка зрения нормальная».

Секретариат Смирнова «пожурил», но предавать дело гласности и дезавуировать явную фальшивку не стал.

Впереди же поэму ждали новые злоключения. С устранением от власти Хрущева ей долгие годы придется как бы «полусуществовать», не раз быть исключенной из очередного сборника произведений автора и не упоминаться в литературе о нем.

Стояла странная, причудливая пора.

«Наш <u>родной</u> Никита Сергеевич» — вознамерился было назвать свой фильм писатель Василий Захарченко, но подчеркнутое слово как-то не удержалось, выпало из названия — по скромности героя? или уже хотели его недавние «верные» потихоньку да полегоньку умерить свое рвение?

Помимо действительных, разделяемых многими, поводов для недовольства размашистыми действиями и самоуправством Хрущева были у его правления и такие черты, которые оказались не по нутру именно партийно-правительственной верхушке и многослойному аппарату сталинской выучки.

Охотно подхватывая филиппики Никиты Сергеевича против «ревизионистов» или «абстракционистов», «верные» устраивали так, что иные его слова, приходившиеся им против шерсти, как в пустоту падали и заглухали. Словно их и не было!

Вдруг, просмотрев фильм, снятый по роману «Тишина» Юрия Бондарева, сановный зритель возьми да скажи: «Есть люди, которым не нравится борьба с культом личности, и они борются с литературой, которая борется с культом личности». Немало кому не в бровь, а в глаз попало! Поперхнулись, съели, но ходу не дали, лишь еще больше озлились (заодно и на «Новый мир», который эту «Тишину» напечатал).

Потом смелеть стали уже все, «кому не нравится».

«Не будем ли мы повторять некоторые ошибки культа личности, если будем замалчивать такие недочеты? — восклицал, говоря о «Тёркине на том свете», Василий Смирнов на вышеупомянутом заседании секретариата. — Неужели потому, что тов. Хрущеву понравилась эта вещь, то нельзя ее и покритиковать?»

В московском отделении Союза писателей выдвигали кандидатов на Ленинскую премию, но, казалось бы, самую «козырную» вещь — солженицынскую повесть — не поддержали. А когда кто-то удивился: как же, мол, ведь Никита Сергеевич... — ничтожнейший прозаик (от которого в истории ли-

тературы если что и останется, то лишь едкая эпиграмма на его книгу да память об активном участии в травле «Литературной Москвы», этого детища уже покойного Казакевича) с внезапной отвагой изрек: «Ну, это личное мнение Никиты Сергеевича, вовсе для нас в данном случае не обязательное...» Естественно, слушавшие смекнули, что это не личное мнение оратора, и, как говорится, на ус намотали.

Дальше — пуще. И вот уже на самом заседании комитета по премиям все тот же С. Павлов заявил, что Солженицын вовсе не за политику «сидел», а по уголовному делу. «Это ложь!» — крикнул Твардовский и на следующем заседании представил документ, опровергающий клевету (Александр Трифонович запросил его у военной коллегии Верховного суда). Весь красный после его оглашения, Павлов вынужден был сдаться (но слушок тем не менее пошел!..).

Потом заговорили «калибры» покрупнее.

Одиннадцатого апреля 1964 года в «Правде» появилась статья под громким названием «Высокая требовательность», где со ссылками на читательские письма утверждалось, что при всех «бесспорных достоинствах повести» ее «нельзя отнести к таким выдающимся произведениям, которые достойны Ленинской премии».

Приуроченная к решающему голосованию в комитете по премиям статья являлась недвусмысленной «инструкцией» его членам. И даже на тайной баллотировке большинство их не посмело ослушаться: за Солженицына было 20, против — 50. Зато «в отместку» не избрали никого другого.

В нарушение всех правил заставили переголосовать, хотя Твардовский протестовал.

Даже обычно не больно смелый Маршак неза-

долго до смерти сочинил язвительную эпиграмму о некоем удивительном тогдашнем зеркале литературной жизни:

И даже не Хрущев в нем отражен,
А Дмитрий Алексеич Поликарпов.

Иными словами — партийный аппарат и его мнение.

Увы, в случае с Солженицыным Никита Сергеевич умыл руки, видимо, убежденный «коллегами», что иначе будет «недемократично», и не чувствуя, что это еще одно проявление того, как от него уходит реальная власть.

Как-то, находясь в правительственном санатории Барвихе и проводя гостя мимо скопища отдыхающих, которые точь-в-точь, как в поэме о «том свете», «разобрались на четверки и гоняют в домино» (это, как постепенно стало известно, любимое занятие и видных членов Политбюро), Твардовский молвил: «Мои герои!»

Теперь «доминошники» явно обыгрывали Хрущева. Признаки этого умножались.

Еще недавно его помощник Лебедев, устроив выставку своих фотографий, экспонировал там и портрет Солженицына. Теперь же он неделями держал рукопись романа писателя, говоря обеспокоенному этим Твардовскому, что «у нас с вами недоброжелателей больше, чем доброжелателей», и наконец, в конце августа 1964 года «после крупного разговора» (как сказано в рабочей тетради поэта) не только не одобрил книгу, но сказал, что начинает жалеть, что способствовал публикации «Одного дня Ивана Денисовича».

— Не жалейте, Владимир Семенович, не жалейте и не спешите отрекаться, — в свою очередь резко

ответил Твардовский. — На старости лет еще пригодится. (Не успело «пригодиться»: смещенный после падения «патрона», Лебедев вскоре умер. Характерно для Твардовского, что, несмотря на вышеописанное отступничество, Александр Трифонович поехал на похороны опального, помня все сделанное им ранее.)

Прежде при подобных столкновениях поэт ощущал себя в положении Тёркина, когда тот однажды, вырвавшись вперед, попал под огонь своих (вспомним его записи 1954 года).

Теперь эти иллюзии развеялись. «Мне ясна позиция этих (партийных. — *А. Т-в*) кадров, — записывает Александр Трифонович 27 февраля 1964 года. — Они последовательны и нерушимы, вопреки тому, что звучало на последнем съезде... стоят насмерть за букву и дух былых времен. Они дисциплинированы, они не критикуют решений съездов, указаний Никиты Сергеевича, они молчат, но в душе любуются своей "стойкостью", верят, что "смятение", "смутное время", "вольности", — все это минется, а тот дух и та буква останется».

Поэт все явственнее осознавал, что оказался в непримиримом конфликте со всей бюрократической громадой: «И нечего больше делать, как только отламывать по кирпичику, выламывать, выкрошивать эту стену... Мы, т. е. я и журнал, до того вклинились куда-то с недостаточными силами, что уже и обратного пути нет, и продвигаться страшно трудно».

И все же продвигаются! В начале 1964 года «Новый мир» (№ 2, 3) публикует роман Сергея Залыгина «На Иртыше», впервые рисующий истинную картину «великого перелома» коллективизации и раскулачивания, а в летних номерах (№ 7, 8) — «Хранителя древностей» Юрия Домбровского, ост-

ро запечатлевшего чудовищную, фантасмагорическую атмосферу времен сталинского террора. Большой читательский отклик вызвали также мемуары генерала А. В. Горбатова «Годы и войны», содержавшие жестокую правду и о его в числе многих военачальников аресте и заключении, и о тяжелейших, часто неоправданных военных потерях.

Цензура усиленно чинила редакции журнала препятствия, подчас полуанекдотического свойства, задержав, например, на целый год «Театральный роман» М. Булгакова, по ее мнению, подрывавший престиж Художественного театра и учения Станиславского.

Глава цензурного ведомства Романов тревожно предупреждал начальство, что «журнал намерен попрежнему акцентировать внимание своих читателей на произведениях, в которых критическое начало в изображении отрицательных явлений советской действительности будет преобладающим».

С таким «диагнозом» вступал «Новый мир» в послехрущевскую эпоху.

Еще в марте 1964 года на встрече «новомирцев» с ленинградскими читателями Ольга Берггольц, по свидетельству Лакшина, начала речь с воспоминания о блокаде, когда на Невском проспекте, на домах, были надписи: «Граждане! Эта сторона улицы особенно опасна при артобстреле!» И, назвав журнал Твардовского, сказала:

— Похоже, что сегодня особенно опасна эта сторона улицы.

Однако то, по известной пословице, были еще цветочки.

Глава восьмая

ЛЮБИМОЕ ДЕТИЩЕ

Месяц с немногим после сентябрьского пленума ЦК КПСС, 21 ноября 1964 года К. Чуковский записал в дневнике, что «свергнув Хрущева, правительство пребывает в молчании — и обыватели не знают, под каким гарниром их будут вести "по Ленинскому пути"...».

Перекликаются с этим и слова из рабочей тетради Твардовского о том, что перемены «и не желают четко обозначаться — все, как было, только одно имя выпало» и «во что еще это все выльется, как обернется, в частности, для литературы, — бог весть».

Оптимисты уповали на возможность насущных экономических реформ, поскольку возглавивший правительство А. Н. Косыгин предпринимал определенные усилия в этом направлении. Пессимисты же опасались возвращения сталинских порядков.

Между тем в январе 1965 года «Новому миру» исполнялось сорок лет. Твардовский решил воспользоваться этим, чтобы в существовавшей неясной обстановке твердо заявить о позиции журнала. В его статье «По случаю юбилея» кредо журнала и редактора было сформулировано очень четко.

Многократно подчеркивая, что публикуемые в «Новом мире» авторы стремятся следовать правде жизни, а не предвзятым, заранее заданным представлениям о ней, неким «как бы узаконенным нормам освещения ее в литературе», Твардовский отмечал, что «к сожалению, в последние годы и до самого недавнего времени печать проявляла порой заметное недовольство отражением в литературе достоверных черт реальности, подталкивала писателей на прежние стези приукрашивания, фальсификации».

«Читатель остро нуждается в полноте правды о жизни, — повторял он. — Ему претит уклончивость и непрямота художника... Задача литературы не в том, чтобы сопровождать, иллюстрировать "средствами художественного изображения" уже принятые решения, "оформлять" готовые общеизвестные положения. Настоящую помощь партии и народу писатель оказывает тогда, когда честно и смело изучает глубинные явления жизни, изображает нечто важное, новое, о чем, может быть, еще и речи не было в ежедневной печати, в каких-либо документах и узаконениях».

«Мы приветствуем споры, дискуссии, как бы остры они ни были, — говорилось в заключение статьи, — принимаем самую суровую и придирчивую в пределах литературных понятий критику... И сами не намерены уклоняться от постановки острых вопросов и прямоты в своих суждениях и оценках. На том стоим».

Пусть читатель не посетует за эти пространные цитаты, потому что сказанное здесь Твардовским прекрасно выражает дух журнала и полностью соответствует его реальному содержанию, обогащавшемуся буквально с каждым годом. Впоследствии поэт с явным одобрением занесет в рабочую тетрадь сло-

ва из записки академика А. Д. Сахарова о насущной необходимости «всестороннего и бесстрашного изучения фактов в их взаимосвязи», находя в сказанном подтверждение верности «курса» своего журнала.

«Новый мир» продолжал развивать «овечкинскую» линию — не только публикацией очерков Е. Дороша, Л. Иванова, Ю. Черниченко и, как мы вскоре увидим, произведений «большой» прозы других авторов, но и поддержкой и пропагандированием ее в критических статьях (в 1964—1965 годах — И. Виноградова об Овечкине и Дороше, рецензии Ю. Буртина на очерки П. Ребрина), и резким, недвусмысленным осуждением произведений, в которых, по словам одного из рецензентов, нет «стремления к серьезному и самостоятельному осмыслению жизненных проблем современного села».

Слова, сказанные О. Лацисом[1]: «...о тех участках, где не все благополучно, не надо бояться говорить в полный голос», очень характерны для направления всего журнала.

«Только начало» — называлась статья Г. Козлова и М. Румера о хозяйственной реформе, связанной с именем Косыгина и пытавшейся «раскрепостить» отечественную экономику, усилить роль хозрасчета и материальных стимулов. Если она, эта реформа, значительной частью «высших» руководителей и

---

[1] Этот часто печатавшийся в «Новом мире» скрупулезный исследователь отечественной экономики советского периода много претерпел за свою дотошность (вплоть до исключения из партии). Зато один жестоко раскритикованный им автор, чьи, по словам Лациса, «бесстрастно скучные мысли» излагались «бесстрастно скучным языком», сделал головокружительную партийную карьеру и в годы перестройки был притчей во языцех как символ сопротивления ей. Речь идет о Егоре Кузьмиче Лигачеве.

партийно-государственного аппарата всячески тормозилась и саботировалась, то в «Новом мире» всемерно поддерживалась в выступлениях видных и ярких экономистов и публицистов — А. Бирмана, П. Волина, Г. Лисичкина, Н. Петракова.

«Все дело в том, что мы всерьез восприняли то, к чему призывали съезды и другие решения партии... не учитывая, не желая догадываться, что это все езда с ограничителем» — эти, проникнутые горькой иронией слова Твардовского, непосредственно вызванные свертыванием критики «культа личности», все более, особенно после падения Хрущева, оказывались справедливы и по отношению к судьбе косыгинских экспериментов.

Если направление и пафос журнала входили во все большее противоречие с медленно, но верно обозначавшимся попятным устремлением большей части «государственных мужей», то они же роднили «Новый мир» Твардовского с такими прочно вошедшими в историю не только русской литературы, но и общественной мысли печатными органами, как «Современник» и «Отечественные записки» с их борьбой за расширение арены реализма, по щедринскому выражению.

Это живо ощущали в первую очередь и сам Твардовский, и его ближайшие сотрудники. Не случайно одна из статей Владимира Лакшина последующих лет «Пути журнальные» (1967. № 8) в значительной части была посвящена размышлениям над книгой М. Теплинского об «Отечественных записках».

«Журнал вообще дело коллективное», — писал критик, в частности, и напоминал о вкладе, сделанном в это издание Г. Елисеевым, Н. Михайловским, С. Кривенко и другими членами редакции и авторами.

Однако как там фигурами первого плана все же оставались Некрасов, а после его кончины Щедрин, так и в представлении множества современников «Новый мир» зачастую отождествлялся с Твардовским. И причиной тому была не только огромная популярность автора «Тёркина», но и его действительная роль в журнале.

Не окажись он таким редактором, каким был, иные писательские судьбы попросту не состоялись бы или, уж во всяком случае, были бы безмерно осложнены. Достаточно назвать имя Солженицына или вспомнить «хождения по мукам» Овечкина с «Районными буднями» или Константина Воробьева с его «Мы убиты под Москвой».

Твардовский одним из первых поддержал повесть Виктора Некрасова о Сталинграде[1], позже напечатал его роман «В чужом городе».

Мемуаристка Анна Берзер, которой можно верить, свидетельствовала, что впоследствии этот писатель «непросто "проходил" через Твардовского». Однако мало того, что именно в «Новом мире» был помещен очерк «По обе стороны океана», вызвавший начальственный гнев, но и в дальнейшем ставший гонимым, а впоследствии исключенный из партии, автор не только находил там прибежище со своими произведениями (1965. № 4, 12; 1967. № 8; 1968. № 9; 1969. № 9), но даже прямую поддержку.

---

[1] «В Твардовского я совершенно влюбился, — писал В. Некрасов матери 14 февраля 1946 года. — Удивительная простота и полное отсутствие позы у этого человека, дважды "лауретированного" и занимающего такое положение в таком молодом возрасте — 35 лет — в современной литературе. В последний раз я просидел у него чуть ли не четыре часа и никак уйти не мог. Кормит, поит, дает книги читать, а главное — говорит: "Ваше дело правое, победа будет за Вами"».

«Где бы Некрасов ни был — в Италии, Америке, Франции, — он не просто турист (так называли писателя совсем недавно в «Известиях». — *А. Т-в*), — говорилось в заметке Ю. Томашевского (в разделе «Коротко о книгах»), — читатель еще раз повстречается с писателем, не на словах, а всем сердцем любящим родину, принимающим ее радости как свои, ее боли — как свои» (1968. № 1). А вскоре, в мартовском номере появилась большая статья Игоря Виноградова «На краю земли» о знаменитой повести писателя.

И это в то время, когда Виктор Платонович был буквально на краю эмиграции, куда его и вытолкнут через несколько лет, когда, как не преминул отметить близкий друг писателя М. Пархомов, «с "Новым миром" уже разделались».

Современники Щедрина поражались сочетанию в его редакторской деятельности строжайшей взыскательности и даже резкости в оценках с редкостным вниманием к авторам и заботливостью о них. Карикатуристы не преминули изобразить сурового сатирика в виде курицы, хлопочущей о своих цыплятах. И Твардовский тоже мог бы стать подобной «мишенью».

В высшей степени характерна уже упомянутая история его отношений с Овечкиным. Восхищаясь им как очеркистом и публицистом, но не любя его пьес, Александр Трифонович при этом постоянно беспокоился о материальной стороне жизни Валентина Владимировича и, найдя какую-нибудь возможность облегчить ее, шутливо «оправдывался»: «...Я считаю, что ты вообще все время находишься в командировке, к тому же в сейсмическом районе». (Увы, «сейсмически опасной» была не только жизнь в Ташкенте, но и вся предшествовавшая обществен-

но-литературная деятельность адресата этого письма, — впрочем, как и его отправителя!)

А свой ответ на «грустноватое» письмо В. Д. Фоменко Александр Трифонович начинает просто-таки нежным обращением: «Дорогой мой, добрый и умный и, вообще, чудный Владимир Дмитриевич!» и утешающе продолжает: «Мне все, все понятно: это думы и настроения человека, измученного, измочаленного многолетней, сложной и кровно обязательной работой, который переживает самый страшный период, когда работа, по крайней мере в ее определенной и значительной части, окончена, опубликована и когда кажется, что потери и недосмотры зияющие, ужасные и что все далеко не так, как это виделось, представлялось заранее, издалека. И еще не хлынул поток отзывов и откликов печати и читателей, который пусть себе причиняет новые раны раздражения и огорчений и т. п., но старые заволакивает неким целящим илом».

Это грозный-то, часто беспощадный редактор такие целительные слова находит! Способный на убийственно насмешливую отповедь, коли заподозрил неладное, спекуляцию на теме или на необходимости «внимания к молодому автору»:

— Знаете, у нас в деревне говорили: к одному мужику пришел сын, просил денег. «Тятя, говорит, ты своему дитю должен помочь!» А сам вот этак стучит по столу...

«Суровее пастыря в деле поэзии я не знал, — писал Юрий Гордиенко, чьи стихи Твардовский заметил и поддержал в годы войны. — Более жесткого редакторского карандаша, пожалуй, и не было. И недаром требовательность его многими считалась чрезмерной».

И даже поддержанный самим Александром Три-

фоновичем и охотно им печатаемый в «Новом мире» поэт, Константин Ваншенкин, может получить от «покровителя» очень неожиданное, по праву дружбы остерегающее письмо о своей, в целом, одобренной книге:

«Вот у Вас такой продуктивный 56 год... но я не нашел, чтобы эта продуктивность была в плане и духе некоей генеральной думы, одержимости каким-то чувством, задачей, поиском, — нет, всего понемногу, но в основном та же очень приятная (покамест!) любовь ко всем житейским цветам и оттенкам, готовность отозваться на все, что идет в душу: на снег, на дождь, на прочитанную книгу, прослушанную песенку... и отозваться хорошо, выразительно, но уже, простите меня, с некоторой набитостью руки в малых секретах изготовления “вещиц”, не плохих, даже хороших, но уже все на один покрой.

...Поверьте мне, я не каркаю, но очень хочу не умилиться, а чтобы у меня дух захватило».

«Я никогда не назвал бы Твардовского ласковым, — писал в своих воспоминаниях о нем немало «претерпевший» от его редакторской требовательности Виктор Некрасов. — Многие слыхали от него суровые слова. Но это в глаза. За глаза же он умел так хорошо говорить о людях, как немногие. И радоваться чужому успеху тоже умел. Искренно, неподдельно. Появление талантливой рукописи выбивало его из колеи. Об одной из них, помню, он без умолку говорил целый день, увлеченно читал из нее отдельные места, сияя глазами. Такими рукописями он заболевал и отстаивал их потом во всех инстанциях с присущими только ему умением и упорством. Злые языки говорили, что он не любил поэтов, особенно молодых, не растил их, мол. Абсурд! Он просто не любил плохие стихи, ни молодые, ни старые.

И прозу тоже. Он не любил посредственности и дорогу ей не давал. К содержанию, к уровню редактируемого им журнала относился так же требовательно, как к своим собственным стихам».

В эпистолярном наследии Твардовского есть поистине замечательные отклики на взволновавшие его произведения.

«С большим удовольствием прочел “Привычное дело” в “Севере” (журнале, выходившем в Петрозаводске. — *А. Т-в*), — говорится в письме Василию Белову (9 июня 1966 года). — Очень хорошо, густо и без обиняков в отношении жизненной правды. Порадовался за Вас искренне, — ведь и в том, что мы отклоняли, были “зерна”, но эта вещь — решительный подъем по сравнению со всем прежним. <...> Очень хороша многодетная супружеская пара Африканыча и Катерины с ее бедами и трудностями, с подлинной человеческой любовью... О “Привычном деле” будет отклик на страницах “Нового мира”». (Вскоре на этих страницах появятся и замечательные «Плотницкие рассказы» вологодского прозаика.)

«Я давно не читал такой рукописи, чтобы человек несентиментальный мог над нею местами растрогаться до настоящих слез и неотрывно думать о ней при чтении и по прочтении, — горячо пишет Александр Трифонович и Федору Абрамову (29 августа 1967 года) о романе «Две зимы и три лета». — Словом, Вы написали книгу, какой еще не было в нашей литературе, обращавшейся к материалу колхозной жизни военных и послевоенных лет... Книга полна горчайшего недоумения, огненной боли за людей деревни и глубокой любви к ним... Книга населена столькими прекрасными по живости и натуральности своей людьми, судьба которых не может не волновать читателя...»

И еще несколько страниц об удачах, даже «открытиях» автора, а также о том, что представляется Твардовскому спорным или требующим дополнительной работы.

«Я так рад за Абрамова, человека — мало сказать — талантливого, но честнейшего в своей любви к “истокам”, к людям многострадальной северной деревни, и терпящего всяческие ущемления и недооценку именно в меру этой честности», — сказано в письме поэта (17 сентября 1969 года) Борису Панкину, автору положительной рецензии на этот опубликованный в «Новом мире» роман.

Вспоминая лакшинские слова о журнале как «деле коллективном», хочется заметить, что, например, за творчеством Василия Белова в редакции давно внимательно следили, и о его предыдущей книге в 1964 году писала критик Инна Борисова. Обещанный же Твардовским отклик на «Привычное дело» принадлежал перу постоянного автора журнала Ефима Дороша. Разговор об этой книге был продолжен в статье «Страницы деревенской жизни» (1969. № 3) тогдашнего «дебютанта», а в будущем известнейшего критика Игоря Дедкова.

На первый же абрамовский роман «Братья и сестры» «Новый мир» отозвался рецензией Юрия Буртина (1959. № 4), исследователя и страстного пропагандиста творчества Твардовского, впоследствии, с 1967 года, одного из активнейших сотрудников журнала. Новые произведения писателя рассматривались в статьях В. Лакшина и Г. Трефиловой.

Прежде чем на страницах журнала появилась военная проза Василя Быкова, она уже попала в «поле зрения» редакции и высоко оценивалась как в статье А. Кондратовича «Человек на войне» (1962. № 6), так

и год спустя в рецензии Л. Лазарева на повести белорусского писателя (1963. № 6).

«С большим интересом жду любой Вашей страницы не только как редактор, но как читатель», — в свою очередь писал Василию Владимировичу Быкову и «шеф» журнала, выражая восхищение его речью на съезде белорусских писателей (примечательно оговариваясь при этом, что к «последней вещи» Быкова у него есть и «претензии чисто литературного порядка»).

А совсем уж в тяжелейшее для Быкова время он получил из редакции «Нового мира» поздравление с майским праздником, с лаконичной, но многозначительной припиской от руки: «Все минется, а правда останется. А. Твардовский».

«Как при вспышке молнии во тьме, — вспоминал писатель, — явственно обнаружился ориентир, который я, ослепленный и растерзанный, готов был потерять в громыхании критических залпов. Он дал мне возможность выстоять в самый мой трудный час, пошатнувшись, вновь обрести себя и остаться собой.

Потом были многие не менее мудрые и прекрасные его слова, были разговоры, критические и одобрительные, но именно эти первые четыре слова поддержки и утешения на всю жизнь запали в мое сознание» (Воспоминания об А. Твардовском. Сборник. М., 1978. С. 477—478).

Произведения названных и других «новомирских» авторов знаменовали, если снова вспомнить щедринское выражение, значительное расширение арены реализма.

Например, в изображении деревенской действительности, — тут с романами Абрамова и Белова соседствовали повести Чингиза Айтматова «Прощай,

Гюльсары» и особенно примечательная «Из жизни Федора Кузькина» («Живой») Бориса Можаева.

«“Живой”, за которого мы так опасались, кажется, проходит — радость» — красноречивая запись в рабочей тетради поэта-редактора 30 июля 1966 года.

Пресловутый «винтик» государственного механизма — рядовой колхозник предстает у Можаева в своем ежедневье, со своей горестной «экономикой» и отчаянными усилиями удержаться «на плаву» — прокормить себя и семью в тех условиях, когда «палочки» трудодней ровным счетом ничего не приносят.

Однако Кузькин вызывает не только сочувствие, но и восхищение: он из породы «строптивцев», его ум и лукавство напоминают то ли о фольклорных героях — мнимом дурачке Иванушке и неказистом Ерше Ершовиче, способном больно уязвить ополчившуюся на него щуку (а в данном случае — колхозное и даже областное начальство), то ли о Василии Тёркине, с честью выходившем из любых передряг.

Во всем драматизме показана «новомирской» прозой и Великая Отечественная война («Мертвым не больно», «Атака с ходу», «Круглянский мост» Василя Быкова; «Мы убиты под Москвой» Константина Воробьева и др.).

«Почти пятидесятилетие жизни нашей страны еще, конечно, не имеет своей истории, вернее, имеет несколько ее вариантов, — записывает Твардовский в конце 1963 года, разумея под последним словом сменявшие-отменявшие друг друга официальные конъюнктурные ее версии. — Еще так все близко, еще этот период обнимает память одной жизни человека, но уже все так смутно, противоречиво, недостоверно. Старые большевики... свои изустные воспоминания доводят, как подметил кто-

то, до 1921-го, много если до 1924 года. А потом для них как ничего не было. Они уходили в свои воспоминания, все менее понимая, что происходило дальше при них и вокруг них.

...А что знают и помнят из этой полувековой истории люди, сознательный возраст которых приходится, скажем, на пятидесятые годы, или их дети?

Повседневная современная летопись — печать только при дополнительном особом знании может быть каким-то письменным свидетельством об этой эпохе. А что если читать все отчеты о процессах над левыми и правыми, потом материалы XX и XXII съездов! Как-то все надо назвать по-правдашнему — и внутрипартийную борьбу, и коллективизацию, и многое, многое. Лежит же где-то подо всей этой шелухой и мусором подлинная история сложнейшего и значительнейшего периода нашей огромной страны...»

В этом отношении позиция Твардовского опять-таки расходилась с официальной. Советская пропаганда использовала пятидесятилетнюю годовщину Октябрьской революции, а впоследствии и столетие со дня рождения Ленина отнюдь не по его заветам — сосредоточить в подобных случаях внимание на нерешенных вопросах и «больных» местах, а совсем напротив — представляя весь этот период как триумфальное шествие от победы к победе. В «Новом мире» же он во многом выглядел «по-правдашнему».

Гражданская война — в романе Сергея Залыгина «Соленая Падь», «Записках краскома» (красного командира. — *А. Т-в*) уже знакомого нам Ефрема Марьенкова и воспоминаниях А. С. Бартова «Побег из колчаковской тюрьмы», коллективизация — в залыгинском «На Иртыше», индустриализация — в

«Юности в Железнодольске» недавнего выпускника Литературного института Николая Воронова, рассказавшего о реальной тогдашней жизни в прославленном Магнитогорске, «незнаменитая» война с Финляндией — в очерке самого Твардовского «С Карельского перешейка»...

В литературном обиходе шестидесятых годов даже возникло и прижилось понятие «новомирская проза» — то есть бесстрашно правдивая, остро социальная и художественно значительная. (Сам же глава журнала любил употреблять пущенное в ход еще Белинским выражение — «дельная проза».) Под стать ей была и публицистика, о чем вкратце говорилось выше.

Быть опубликованным в этом журнале стало своеобразным «знаком качества». «Судьба писателя до печатания в "Новом мире" — еще не судьба», — читаем в позднейших мемуарах Воронова «Огненная ковка (Из новомирской хроники)».

«Все лучшее в современной литературе идет к нам, тянется за нами, — с гордостью записывает Твардовский уже 29 ноября 1963 года, — несмотря (а может быть, и благодаря) на все атаки со стороны "бешеных" и попустительство (да и только ли попустительство!) со стороны идеологических верхов...»

Действительно, в эту пору журнал окончательно сделался центром притяжения — и не только лучших литературных сил, но всех, кто мучительно искал выход из социально-экономического тупика, в который все больше втягивалась страна.

«Хорошо помню, — писал впоследствии Игорь Дедков, — как в конце шестидесятых годов, живя в старом провинциальном городе (Костроме. — *А. Т-в*), услышал от одного своего приятеля — молодого философа из местного педагогического ин-

ститута: “Для меня подписка на Новый мир как партийный взнос... Не существующая, но партия...”»

И число этих «партийных взносов» росло год от года, несмотря на всяческие противодействия, — например, запрет подписки на «Новый мир» в армии.

Мысль о том, что «Новый мир» действительно в эти годы играл роль партии, оппозиционной «застойному» брежневскому режиму, едва ли не первым высказал Юрий Буртин в статье «Вам, из другого поколенья...» (Октябрь. 1987. № 8).

Привлекательна была сама непринужденная атмосфера, существовавшая в редакции журнала. Владимир Лакшин улыбчиво вспоминал о знакомом, приходившем, по собственному выражению, «подышать вашим воздухом».

«К нему, — писал о Твардовском в воспоминаниях А. Кондратович, — можно... заходить в кабинет, не спрашиваясь. Если он даже занят, то скажет: “Посидите, пока я кончу писать бумагу”. А когда в кабинете есть кто-нибудь из работников или сидит знакомый автор, то заходи, садись и слушай, коли хочешь слушать, и разговаривай, коли есть желание. Поэтому в кабинете всегда шумно и застать Твардовского одного трудно. А если он и остается один, то, посидев немного, поднимается и идет к кому-нибудь в кабинет. Одиночества в редакции он не выносит».

Было в этом нечто напоминавшее обиход отцовской кузницы «под тенью дымком обкуренных берез» — помните? — «тогдашнего клуба, и газеты, и академии наук», где «был приют суждений ярых» обо всем на свете.

«Не помню уже, — продолжает мемуарист, — когда Твардовский обнаружил в конце улицы Чехова, возле Садово-Каретной, палаточку, где продава-

лись превосходные, теплые, свежие бублики. Откуда они там появлялись, непонятно: больше таких бубликов нигде не было. И Твардовский по пути в редакцию стал заезжать туда, прихватывая связку бубликов. Ну, а где бублики, там и чай. И многие авторы попадали на такие чаепития».

И кто там только не бывал! (Как было сказано о кузнице.)

И «старый воин — грудь в крестах», то бишь в орденах, вроде генерала Горбатова, адмирала Исакова, летчика, Героя Советского Союза Марка Галлая со своими «невыдуманными рассказами» (название первой исаковской публикации), ставших авторами журнала. И «местный мученик» — на сей раз не охотник, а свой брат писатель, скажем — старый знакомец поэта Александр Бек, чей последний роман «Новое назначение» годами в печать не пускают (он будет опубликован лишь в эпоху перестройки, когда, увы, уже ни автора, ни главы журнала давно не будет на свете). И совсем новичок в литературе и в редакторском кабинете, хозяин которого станет расспрашивать его о «разных разностях» и чутко слушать, весь подавшись вперед.

Он запомнится и «строгим, с очками на лбу, с твоей рукописью в руках: "Потрудись еще недельку-другую, я там на полях пометки сделал..."»

А то и в запальчивом споре, с побелевшими от гнева глазами, упрямо неуступчивым. «Побежденным, как и большинство людей, признавать себя не любил, но если уж приходилось, то делал всегда это так по-рыцарски, — свидетельствовал далекий от идеализации Твардовского Виктор Некрасов, — с таким открытым забралом, что хотелось тут же отдать ему свою шпагу».

А вот запись самого Александра Трифоновича:

«В редакции... беседовал с Руниным (критиком, автором статьи о поэзии. — *А. Т-в*), кричал на него: что вы принимаете всерьез Евтушенко и т. п. Он терпеливо возражал.

...Я невольно почувствовал, что, может быть, я тут что-то просмотрел, что-то произошло и развернулось... вширь.

...Прочел вчера подряд книжечку "Яблоко" (Е. Евтушенко. — *А. Т-в*). Что говорить, парень одаренный, бойкий, и попал "на струю". В "Яблоке" есть и "самокритика", и переоценка своих "слабых побед", и апелляция напрокудившего и "усталого" лирического героя к "маме", что довольно противно, но в целом книжка стоящая, не спутаешь с кем-нибудь другим...» (6 января 1961 года). Вскоре Твардовский порекомендует включить сборник Евтушенко в серию «Библиотека советской поэзии».

Вышеупомянутая защита Некрасовым поэтического раздела «Нового мира» вызвана иными, весьма критическими мнениями на этот счет. Действительно, поэту-редактору были свойственны и некоторые довольно субъективные оценки.

Он напечатал несколько стихотворений Николая Заболоцкого, но в беседе с автором не поскупился на «суровые слова». (Думается, что его, человека, знавшего весь драматизм коллективизации, больно задела довольно умозрительная трактовка этих событий в поэме Николая Алексеевича тридцатых годов «Торжество земледелия».)

Равнодушен остался он к поэзии Бориса Слуцкого, хотя тот, пусть в совершенно иной поэтической манере, следовал тем же благородным гуманным традициям отечественной литературы, что и Твардовский, восславляя и оплакивая героев и мучеников Великой Отечественной.

Можно сожалеть и о том, что при всей своей суровости и строгости глава журнала снисходительно отнесся к некоторым землякам, авторам из «глубинки» или с фронтовым прошлым. Иные из этих «хороших пареньков», какими они ему показались, не только не оправдали его надежд, но и отплатили самой черной неблагодарностью, печатно оклеветав кто «Новый мир», его авторов и сотрудников, кто — самого́ крестного.

Однако, вопреки категорическим суждениям о «новомирской» поэзии эпохи Твардовского, при нем публиковались стихи Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Ольги Берггольц, Михаила Светлова, Александра Яшина, Аркадия Кулешова, Вадима Шефнера, Давида Самойлова, Кайсына Кулиева, Александра Межирова, Сергея Наровчатова, Мустая Карима, Расула Гамзатова, Владимира Соколова, Владимира Корнилова, Новеллы Матвеевой, Юстинаса Марцинкявичюса и совсем тогда молодых Дмитрия Сухарева, Василия Казанцева, Александра Кушнера, Татьяны Бек. И этот список можно продолжить. Специального упоминания заслуживает внимание Александра Трифоновича к трагическим судьбам воронежцев Анатолия Жигулина и Алексея Прасолова.

Предметом законной гордости Твардовского «со товарищи» был критический раздел журнала. Впоследствии ему будут посвящены специальные исследования[1].

Думаю, что читатель уже из выше сказанного мог

---

[1] *Чупринин С.* Позиция (Литературная критика в журнале «Новый мир» А. Т. Твардовского) // Вопросы литературы. 1988. № 4; *Биуль-Зедгинидзе Н.* Литературная критика журнала «Новый мир» А. Т. Твардовского (1958—1970). М., 1996.

понять, что новомирская критика была очень активна и многотемна. Помимо оперативных откликов на новые книги и статей о проблемах современной литературы, в ней «по-правдашнему» говорилось и об истории отечественной словесности.

С одной стороны, восстанавливались те ее страницы, те имена, которые в сталинскую эпоху были грубо вырваны, зачеркнуты или уж во всяком случае неузнаваемо искажены. Статьи, рецензии, публикации посвящались Анне Ахматовой, Марине Цветаевой[1], Борису Пастернаку, Тициану Табидзе, Ивану Катаеву, Виктору Кину, Андрею Платонову.

С другой стороны, освобождалось от вульгарных, примитивных, спекулятивных истолкований классическое наследие, в частности — в области критики. Здесь особенно примечательны статьи А. Лебедева «Чернышевский или Антонович?» (1962. № 3), Ю. Манна «Базаров и другие» (1968. № 10), А. Володина «Раскольников и Каракозов» (1969. № 11).

Щедрин писал о своих «Отечественных записках», что даже если предположить, будто у журнала «не было положительных качеств, то было отличнейшее качество отрицательное. Он представлял собою дезинфектирующее начало в русской литературе и очищал ее от микробов и бацилл».

---

[1] Примечательно, что огромную роль в подготовке к изданию книги М. Цветаевой «Избранное», первой после десятилетий отверженности, сыграли близкие друзья Твардовского Э. Казакевич и А. Тарасенков. Сам же поэт написал о рукописи в высшей степени положительный отзыв, напечатанный в слегка измененном виде после выхода книги в «Новом мире» (1962. № 2) за подписью «А. Т.». «Она очень хороша», — писала о внутренней рецензии Твардовского дочь Цветаевой А. С. Эфрон, благодарная еще и за то, что по его настоянию в сборник включили одно из лучших стихотворений «Тоска по родине — давно разоблаченная морока...».

Таким началом в полной мере обладал при Твардовском и «Новый мир». Редкий номер журнала не содержал острого, без оглядки на чины и лица, аргументированного, неопровержимого разбора произведений художественно несостоятельных или (и) реакционной направленности, продолжавших в прежнем духе приукрашивать реальную действительность, фальсифицировать прошлое, оспаривать необходимость обнародования правды об ошибках и прямых преступлениях сталинского режима. Тут можно назвать многие статьи и рецензии — Г. Березкина, А. Берзер, Ю. Буртина, Г. Владимова, М. Злобиной, Н. Ильиной, В. Кардина, М. Лифшица, Л. Малюгина, А. Марьямова[1], З. Паперного, М. Рощина, С. Рассадина, Ф. Светова, А. Синявского, В. Сурвилло, В. Шкловского и др.

«Я всегда говорил Александру Трифоновичу, — сказал Маршак в годы все увеличивающейся популярности журнала, — надо терпеливо, умело, старательно раскладывать костер. А огонь упадет с неба...»

Костер, разложенный Твардовским, многое осветил и многих в трудную пору согрел.

Как у всякого живого организма, были у него как сильные стороны, так и слабости. Сотрудник редакции Лев Левицкий видел его «скрытую от глаз внутреннюю жизнь... борьбу самолюбий, интересов, целей», но при этом тоже был твердо убежден: «Значение "Нового мира" громадно. Это — не лучший, а единственный журнал, который знает, чего он хочет, и проводит свою линию с неслыханной для наших условий последовательностью... Все, что есть

[1] Его статью «Снаряжение в походе» (1962. № 1), не оставившую, как говорится, камня на камне от сталинистского и примитивнейшего романа Всеволода Кочетова «Секретарь обкома», Твардовский считал «подвигом журнала».

мало-мальски порядочного, разумного, человечного, сосредоточено в этом журнале».

А Ефим Яковлевич Дорош в пору ожесточенных гонений на детище Твардовского, в июне 1968 года скажет:

— А все-таки Бог меня любит, я счастлив, что он сподобил меня оказаться в «Новом мире» в его «минуты роковые». Что сейчас жизнь в литературе помимо «Нового мира»? Пустота, а тут — история русской литературы.

Глава девятая

«ПРИУСАДЕБНЫЙ УЧАСТОК»

Так Твардовский шутливо называл собственное литературное творчество, где не могла не сказаться напряженная работа в новомирском «колхозе». В записях поэта нередко встречаются сетования на «запущенность» «личного» хозяйства.

Урывками приходилось трудиться и над «Тёркиным на том свете», и над «Далями». А между тем «проклевывались» почки новой книги!

«Сегодня... кажется, впервые за долгий срок почувствовал приближение поэтической темы, того, что не сказано и что мне, а значит, и не только мне, нужно обязательно высказать. Это живая, необходимая мысль моей жизни (и куда как не только моей!)», — записано 14 декабря 1963 года в рабочей тетради, где появляются и первые строки поэмы, получившей название «По праву памяти», писавшейся несколько лет и имевшей трагическую судьбу (обо всем этом речь впереди).

Лирика поэта меньше страдала от нехватки времени. Вообще после войны ее значимость и ее «доля» в творчестве Твардовского чрезвычайно выросла. Этот взлет обозначился уже с появлением стихотворений «Я убит подо Ржевом» и «В тот день, когда окончилась война...».

Новой вехой, отметившей дальнейшее усиление этой лирической струи, стала публикация стихов поэта в сентябрьской книжке «Нового мира» за 1951 год. «Критика наша долго дружно и организованно замалчивала этот цикл, — иронически писала несколько лет спустя Ольга Берггольц (Литературная газета. 1953. 16 апреля) и продолжала: — ...Эти стихи объединяет личность поэта, та живая, непохожая на других (и не боящаяся своей непохожести), та имеющая собственную биографию личность, без которой нет и не может быть подлинной лирики».

Подобные поэтические циклы появлялись и в дальнейшем[1].

Не имевшие явной сюжетной организации, нередко обозначавшиеся автором как «Стихи из записной книжки» (или просто «Из записной книжки»), они, однако, обладали очевидной цельностью, выражая взгляд автора на определенный круг явлений, а порой были заметно сосредоточены на какой-либо теме: в цикле 1951 года — это «жестокая память» о войне, в «огоньковском» 1955-го — мысли о месте, роли, ответственности художника.

Критики давно подметили стремление Твардовского к изображению «всей полноты жизни». В послевоенной лирике оно стало особенно очевидным. Стихи привлекали изобилием разнороднейших впечатлений, восприятием мира во всем многообразии внутренних связей явлений, противоречий и конфликтов, присущих жизни.

Так, воздав щедрую дань в лирике 1950—1960-х годов и в книге «За далью — даль» огромным сибирским стройкам, поэт вместе с тем в стихотворении

---

[1] См.: Огонек. 1955. № 43; Правда. 1958. 7 декабря; Новый мир. 1965. № 9; 1966. № 12; 1968. № 4.

«Разговор с Падуном» заговорил о цене технического прогресса задолго до возникновения в мире серьезной озабоченности этим:

В природе шагу не ступить,
Чтоб тотчас, так ли, сяк,
Ей чем-нибудь не заплатить
За этот самый шаг...
И мы у этих берегов
Пройдем не без утрат.
За эту стройку для веков
Тобой заплатим, брат.
Твоею пенной сединой,
Величьем диких гор.

Заметно меняется, совершенствуется в эту пору сам стиль Твардовского.

Уже будучи известным поэтом, он писал Маршаку (18 августа 1938 года), восхищаясь его переводами Бёрнса: «Я очень рад, что по праву нашей дружбы могу обнять Вас, а вместе с тем — как мне грустно стало, когда я прочел все эти стихи теперь, в целом. Дело в том, что я все больше страдаю от своей тоскливо-повествовательной манеры, давно хочу писать иначе, но все еще не могу. Прочел Ваш цикл — и это было каким-то последним ударом. Похоже, что я до сих пор учился у какого-нибудь Краба или у другого попа, а не у тех, у кого следует. Но хватит об этом. До отчаяния я далек, я порядочно знаю себя и верю, что смогу писать лучше и лучше, верю, что выйду из кризиса прежде, чем самый кризис заметят со стороны».

И в дальнейшем никакие успехи и никакие шумные похвалы «со стороны» не могли его «успокоить», заставить перестать быть самым строгим своим критиком. На самой вершине признания, в конце широко отмеченного юбилейного года (пятидесяти-

летия), накануне присуждения Ленинской премии, в рабочей тетради появляется запись (24 декабря 1960 года):

«Вчера или третьего дня на прогулке впервые за много недель (или месяцев) начало что-то проталкиваться... на давнюю тему о том, что, заставив полюбить тебя сегодня, ты уже связан этим в отношении своего завтра, ради которого ты уже должен огорчить читателя, который, как ребенок, хочет, чтобы ты рассказывал ему "такую" же сказку, как вчера... Будь все таким. Но ты во имя той же любви, что так тебе дорога, должен отрываться от ее теплых объятий и идти дальше, хотя теряешь ее и, может быть, скорее всего, не вдруг обретешь в дальнейшем».

А несколько месяцев спустя неугомонный «автокритик» подвергает вдумчивому анализу свой «творческий процесс»:

«Я думаю по преимуществу прозой — это как бы мой родной язык, тогда как стихи — приобретенный, хотя бы и усвоенный до порядочного совершенства. Только изредка думаю я и стихами, когда, вдруг, набегает строчка, "ход", оборот, лад. Из этих "набеганий" произошли в большинстве "стихи из Записной книжки", т. е. пришедшие вдруг строфы или строчки, не получившие развития в целые "пиесы", которые ("пиесы") обычно мною обдумывались в прозе. Только с годами понял, что такие "набегания" — наибольшая драгоценность, это как самородки, которые, вдруг, выблескивают из-под лопаты, перерывшей прорву породы ради среднего, а то и совсем малого сбора золотого песка. — Большинство, пожалуй, моих стихотворений, особенно "сюжетного ряда", отяжелены их чисто прозаической основой».

Впрочем, тут же добавлено: «Но без этой прозаичности не могло бы случиться и моих больших вещей, которые при этом сильны в частностях “ходов и оборотов” и т. д. строчками из тех, что “набегают”» (9 августа 1961 года).

В статье, посвященной памяти Ахматовой, Твардовский указывал как на характернейшую черту ее поэзии — на «благородный лаконизм, немногословную емкость речи, когда за скупыми строчками стихотворения живет возможность многих тонких подробностей и оттенков».

Таков и его собственный идеал, ставший особенно очевидным в последнее десятилетие жизни. Примечательно стихотворение этой поры:

Всему свой ряд, и лад, и срок:
В один присест, бывало,
Катал я в рифму по сто строк,
И все казалось мало.

Был неогляден день с утра,
А нынче дело к ночи...
Болтливость — старости сестра, —
Короче.
Покороче.

(«Всему свой ряд, и лад, и срок...»)

Высочайшим достижением на этом пути стали уже приводившиеся строки, где его постоянная мысль-чувство обрела предельно лаконичное выражение:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же...

Развернуто-сюжетная «новелла» (слово, впрочем, не любимое Твардовским), столь характерная для его стихов предвоенных и военных лет, в позднем творчестве поэта исчезает, сменяясь либо выразительной и лаконичной зарисовкой, наброском (поистине — «из записной книжки»), либо чисто лирической разработкой темы (например, в цикле «Памяти матери»), точной фиксацией и тщательным, тончайшим воспроизведением различных движений и состояний человеческой души, ее сложнейших сопряжений с «большим» миром.

В «Книге про бойца» было сказано:

От Ивана до Фомы,
Мертвые ль, живые,
Все мы вместе — это мы,
Тот народ, Россия.

(Из главы «О войне»)

Эта искренняя и страстная декларация в дальнейшем претворилась в художественную реальность стихов, постоянное утверждение неповторимой ценности, значительности, исторического смысла каждой достойно прожитой жизни.

Уже в довоенном творчестве Твардовского возникли мотив преемственности человеческих дел, мысль о наследстве, полученном от предшествующих поколений и не подлежащем забвению (вспомним простодушное на вид стихотворение «Ивушка»!). Теперь в этом пафос множества произведений поэта:

Знай и в работе примерной:
Как бы ты ни был хорош,
Ты по дороге не первый
И не последний идешь.

(«Горные тропы»)

И так характерно для Твардовского — напомнить в пору первого и громкого космического триумфа о «новичках из пополненья», подымавшихся в небо навстречу врагу трагической осенью сорок первого года:

Прости меня, разведчик мирозданья,
Чьим подвигом в веках отмечен век, —
Там тоже, отправляясь на заданье,
В свой космос хлопцы делали разбег.

...И может быть, не меньшею отвагой
Бывали их сердца наделены,
Хоть ни оркестров, ни цветов, ни флагов
Не стоил подвиг в будний день войны.

(«Космонавту»)

Разнотемные стихи складываются в некую лирическую летопись, запечатлевшую многие черты и перипетии современности — от признанно масштабных до относительно невеликих, а вернее — «преломившихся» в событиях и эпизодах вроде бы частного свойства. И для позднего Твардовского, пожалуй, особенно дороги и принципиально важны стихи, где происходящие в истории события и переломы проявляют себя, «раскрывают» свои истинные итоги в конкретных человеческих судьбах.

Герой стихотворения «Новоселье», по благодушной интонации напоминающего довоенный цикл про деда Данилу, повествует о своей, в сущности, глубоко драматической жизни — жизни, состоявшей из целой череды «новоселий», вынужденных то «дележкой» по семейным обстоятельствам, то коллективизацией, то войной, после которой опять — «стройся заново, старик», то, наконец, вынужденным переездом в поселок.

Смерть матери[1] побудила поэта напомнить и о еще более горьких «переездах» — взамен обычного ухода замужней женщины из родимого дома:

Там считалось, что прощалась
Навек с матерью родной,
Если замуж выходила
Девка на берег другой.

Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой.

Давней молодости слезы.
Не до тех девичьих слез,
Как иные перевозы
В жизни видеть привелось.

Как с земли родного края
Вдаль спровадила пора.

В финале же стихотворения упомянут и «последний перевоз»:

Перевозчик-водогребщик,
Старичок седой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...

(«— Ты откуда эту песню...»)

---

[1] В дневнике известной актрисы Ф. Раневской, соседки поэта по его последнему дому на Котельнической набережной, есть запись 1965 года:

«В темном подъезде у лифта стоит Твардовский.

Я:

— Александр Трифонович, почему Вы такой печальный?

Опустив голову, отвечает:

— У меня мама умерла.

И столько в этом было детского, нежного, святого, что я заплакала. Он благодарно пожал мне руку».

И в читательской памяти возникает отголосок древнего мифа о седом перевозчике — Хароне...

Уходящая натура, как ныне любят выражаться, запечатлена и в стихотворении «— В живых меня как бы и нету...», простодушном монологе женщины, доживающей век на «притихшем подворье» со своей «пенсийкой». Теперь у нее «благодать и покой... ни забот, ни хлопот» — почитай, впервые в жизни, когда та уже позади и ее тоже как бы и нету, как самóй «забытой старушки»...

Если в стихотворении начала пятидесятых годов «О прописке» поэт с улыбкой называл свою музу «уживчивой», то потом в ней все больше проявлялись черты повышенной взыскательности к действительности и тревожной озабоченности тем, как реальность расходится с громко провозглашаемыми идеалами и принципами.

Появившиеся было с середины пятидесятых годов у Твардовского надежды на перемены к лучшему, отразившиеся в «Далях» и некоторых стихах («Вы знаете, вроде как дело пошло», — говорил «скептик прожженный» в «Свидетельстве»), слабели и угасали. Горько разочаровывали и вести со Смоленщины, и «ходоки» из других мест, и «почта моя ужасная», и впечатления от поездок («Ярославль. Пустые магазины и рынки. Уныние на женских (да и на мужских) лицах. Два сорта рыбных консервов. Безрыбная Волга») и разговоров со своими избирателями[1], когда каждый раз приходилось «выслушивать однообразное горе жилищно-паспортное, без всякой, в сущности, реальной возможности помочь... с чувством стыда и отчаяния», будь то в

---

[1] Твардовский был депутатом Верховного Совета РСФСР второго, третьего, пятого и шестого созывов.

Ярославле или в самой Москве, представавшей, по словам Александра Трифоновича, «подноготной, ужасной».

«Порой кажется, что нет и самóй советской власти, или она настолько не удалась, что хуже быть не может, — записывал он после очередного депутатского приема в райсовете (22 февраля 1964 года). — Там она оборачивается к народу, к отдельному человеку с его бедами, муками и томительными надеждами лишь своей ужасной стороной отказов, вынужденных и непрочных обещаний (чтобы только отвязаться); чиновничьим холодом...»

Вопреки непрерывным победным реляциям о достижениях «реального социализма»[1] все яснее обозначалось его подлинное лицо, и Твардовский переживал это в высшей степени трагически.

«Нечего удивляться той мере мирового разочарования в идеологии и практике социализма и коммунизма, какая сейчас так глубока, если представить себе на минуту повод и причины этого разочарования, — записывает этот искреннейший член партии (10 августа 1962 года). — Строй, научно предвиденный, предсказанный, оплаченный многими годами борьбы, бесчисленными жертвами, в первые же десятилетия свои обернулся невиданной в истории автократией и бюрократией, деспотией и беззаконием, самоистреблением, неслыханной жестокостью, отчаянными просчетами в практической, хозяйственной жизни, хроническими недостатками предметов первой необходимости — пищи, одежды,

---

[1] «Выступает один из руководителей отдела пропаганды, — вспоминал о совещании в ЦК КПСС известный журналист Егор Яковлев. — Александр Трифонович слушает его и вдруг тихо-тихо говорит: “Неужели он, правда, так думает? Неужели он, правда, так думает?”».

жилья, огрубением нравов, навыками лжи, лицемерия, ханжества, самохвальства и т. д. и т. п.».

А через три года, вспоминая ленинские слова о том, что Россия выстрадала марксизм «как единственно правильную революционную теорию... полувековой историей неслыханных мук и жертв», поэт горько заключает:

«С тех пор, как были написаны эти строки, прошло сорок пять лет — почти полвека, еще “полувековая история неслыханных мук и жертв” и т. д.

Страшно подумать, что, выстрадав эту единственно правильную революционную теорию, Россия испытала за этот сорокалетний срок вовсе не единственно правильную революционную практику, стоившую слишком дорого. А теорию тем временем затянуло илом догматики, формализма и гужеедства. Что еще впереди, — кто знает?» (27 мая 1965 года).

«Мне нужно со всем этим развязаться в стихах ли, в прозе», — писал Александр Трифонович в феврале 1958 года после беседы с председателем загорьевского колхоза. Теперь подступала настоятельная необходимость «развязаться» не с одними только деревенскими проблемами, которые были теснейшим образом связаны со всей «историей неслыханных мук и жертв».

Прозаические замыслы поэта перерастали первоначальные рамки, уходя все в большую глубь.

«Пан Твардовский» или просто «Пан» — этот роман с давних, еще довоенных времен значился в планах писателя. О нем упоминается даже в тетрадях военных лет, когда уж, казалось бы, вовсе не досуг было о нем помышлять. Ан, очутившись в Смоленске, рядом с родителями, Твардовский именно этим, по его свидетельству, «занят... большую часть рабочего времени».

«Как у меня все изготовилось для написания смерти деда, — читаем и в позднейшей рабочей тетради 1964 года, — ...и во всем узелки дальнейшего повествования».

Мысли об этой, «главной», как думалось, книге до самого конца жизни мерцали, по выражению поэта, словно «огоньки разнообразных новых или давно задуманных, но законсервированных работ». Но помимо вечного «цейтнота», нехватки времени, «виной» промедления с «Паном» была величайшая требовательность Твардовского ко всему, что выходило или еще только должно было явиться на свет из-под его пера. Рабочие тетради испещрены самокритическими записями: «...Стих усталый, жидкий, как спитой чай... Увидел, что слова стелются по земле... Каждое утро кажется, что поймал жар-птицу, а к полудню она выглядит бесхвостой, ощипанной курицей... Пашня не на той глубине... нет выхода на большую просеку... Стишочки, как мелкие грибочки, где ни одного боровика...»

О чем-то наболевшем удавалось все же сказать в стихах, — о деревне, так и не оправившейся от «великого перелома» и оказавшейся «в отдаленности унылой» от прославляемых новостроек и шумных, сманивших множество сельчан городов:

Там жизнь неслась в ином разгоне,
И по окраинам столиц
Вовсю играли те гармони,
Что на селе перевелись.

А тут — притихшие подворья,
Дворы, готовые на слом,
И где семья, чтоб в полном сборе
Хоть в редкий праздник за столом?

(«На новостройках в эти годы...»)

И о «странностях и страстях», выпадавших на долю крестьянства по предписаниям свыше — сменявшим друг друга рекомендациям, да что рекомендациям — категорическим «приказам по армии» земледельцев:

То — плугом пласт
Ворочай в пол-аршина,
То — в полвершка,
То — вовсе не паши.

И нынешняя заповедь вчерашней,
Такой же строгой, шла наперерез:
Вдруг — сад корчуй
Для расширенья пашни,
Вдруг — клеверище
Запускай под лес...

(«А ты самих послушай хлеборобов...»)

А также о вездесущем неискоренимом бюрократизме, казенщине, пропагандистской шумихе:

Заводят множество бумаг,
Без них им свет не мил.
Свой навык принятый храня
И опыт привозной,
На заседаньях по три дня
Сидят в глуши лесной.
И буквы крупные любя,
Как будто для ребят,
Плакаты сами для себя
На соснах громоздят.
Чуть что — аврал: «Внедрить! Поднять —
И подвести итог!»
И все досрочно — не понять:
Зачем не точно в срок?..

(«Разговор с Падуном»)

«Что еще впереди — кто знает?» — тревожился поэт в 1965 году.

А впереди было вторжение в Чехословакию, по-

давление Пражской весны — попытки создания «социализма с человеческим лицом», встретившей у Твардовского полное сочувствие.

Все лето 1968 года он слушал зарубежное радио (зная цену своему!). Когда там прозвучало письмо-манифест чешских писателей «2000 слов» с призывом к демократическим свободам и раскрепощению печати, Александр Трифонович занес в тетрадь: «По совести говоря, я подписал бы это относительно нашего положения. А написал бы? И написал бы лучше».

Да он и раньше, 24 марта 1966 года, размышлял: «В сущности, если не вилять и не применяться к вынужденной роли, то я, в общем смысле, целиком на стороне автономии искусства. Только показания независимого от государственного партийного регламента искусства в пользу социализма и коммунизма — только они имеют действенную силу и чего-нибудь стоят. Там, где нет автономии, искусство умирает, как у нас (имея в виду так называемое) партийное искусство и в Китае. Оно не может быть придатком, "помощником", — оно может оказывать действительную помощь, могучую, безусловную, но не в качестве "помощника" по должности, по штатному расписанию. По должности "партийное искусство" — прибежище всего самого подлого, изуверски-лживого, своекорыстного, безыдейного по самой своей природе (Вучетич, Серов, Чаковский, Софронов, Грибачев, — им же несть числа)».

«Настоящую радость, до слез, пережил, может быть, за долгие годы» Твардовский, по его словам, когда встреча Брежнева и других наших руководителей с «командой» вожака Пражской весны Дубчека вроде бы завершилась согласием, «с букетами гвоздик, с объятиями». И потому особенно тяжко воспринял последовавший вскоре «ужасный шаг,

повлекший, — как сказано в рабочей тетради поэта уже под новый, 1969 год, — последствия в сущности непоправимые на долгие годы».

В августовскую «страшную десятидневку» он сидел у приемника, «слушал... курил, плакал...». И в тетради тех дней — строки, захлебнувшиеся, словно подавленное рыдание:

Что делать нам с тобой, моя присяга,
Где взять слова, чтоб рассказать о том,
Как в сорок пятом нас встречала Прага
И как встречает в шестьдесят восьмом.

«Он пьет и плачет», — записал в те же дни Бек. Присланное ему «коллективное» обращение к чехословацким писателям Твардовский подписать отказался. «...его содержание представляется мне весьма невыгодным для чести и достоинства советского писателя» — было его ответом.

Занятый горькими мыслями, он и в прочитанном в ту пору находил им отзвук, нередко просто ошеломительный по своей «злободневности».

«В каких только странах на свете не производил опустошений крестоносный меч сбитого с толку странствующего рыцаря... Сражаясь под знаменами религии, освободившей его от подчинения законам справедливости и человеколюбия, он не проявлял ни той, ни другого, безжалостно попирал их ногами, — не внемля крикам несчастных и не зная сострадания к их бедствиям» — сделал Твардовский выписку из романа Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», вероятно, вспоминая и о подавлении венгерского «контрреволюционного» восстания 1956 года, и танки на берлинских улицах в пятьдесят третьем, и другое...

«...Стало проситься в стихи — большие и ма-

лые — о том, как в горы сын пришел с войны, грудь в орденах и ранах, и не застал родную мать, что увезли в изгнание, — записывал он, вспоминая рассказы друзей, судьбу частого новомирского автора Кайсына Кулиева, — и о том, как шофер-парнишка из работавших "на задании" сказал, что пусть бы одних мужчин, а женщин и детишек со стариками не нужно бы, и был назавтра расстрелян перед строем как изменник родины» (запись 20 октября 1968 года).

Чуть позже Твардовский назовет эти месяцы «годом кризиса, когда конец всем иллюзиям», и четко констатирует:

«Как не вдруг и с каким трудом и торможением изживают себя формы политической жизни, обреченные на слом.

Но наступает момент, когда они уже только по инерции существуют и по инерции обязывают. Пока еще справляют службу по памяти и по книгам, раскрываемым (не глядя) на известных страницах, заляпанных воском и с обтерханными уголками, но уже проповедей не только не произносят, но и не читают "по тексту". И прихожанам уже наскучило подмечать за ними все их слабости — недостаток благолепия и натурального воодушевления, — они выходят из церкви (или партийного собрания! — *А. Т-в*) и, надев шапки, говорят и помышляют о своем, житейском, будничном, частном» (запись 9 сентября 1968 года).

И в характерном соседстве с этой записью — восхищение повестью Виктора Лихоносова «На улице Широкой», где «жизнь без "роли парторганизации", без всего такого», без необходимости «приплетать "руководящую роль" там, где ее попросту нет».

Твардовский не удерживается, чтобы не заметить, что те, кто «справляет службу», «руксостав» — «это люди ничего не умеющие, ни на что не пригодные,

кроме руководства — сверху донизу, — у них ни специальности, ни образования, ни навыков работы, ни привычки читать, не то что писать» (запись 30 января 1969 года).

Сказано отнюдь не в запале; Александр Трифонович еще вернется к данному сюжету и в самом серьезном, аналитическом тоне:

«Люди, которые нынче ведут страну, вступили в строй руководящих людей в пору "вынужденных перемещений" (времени массовых арестов. — *А. Т-в*)... и для них без них уже все было решено и представлено как истина в последней инстанции, за которой сила — величайшая и неизменная, — думать было не нужно (да и не безопасно). И так они и держатся этими навыками, апеллируя к прошлому — там было все ясно и хорошо. Но как говорится, "сколько можно"» (запись 18 марта 1969 года).

В такой обстановке и с такими мыслями работает поэт на «приусадебном участке» над новой поэмой. К апрелю 1969 года уже готовы первые главы, которые автор намеревается печатать, хотя они совсем «не ко времени».

Пережитое страной и народом за минувший век было таким горьким, трагическим, сложным, противоречивым, что иные литераторы, не говоря уже о политиках, совсем не прочь, чтобы многое из прошедшего как бы стерлось из памяти.

Твардовскому же, как будет сказано в поэме, напротив, «все былые недомолвки домолвить нынче долг велит»:

А я — не те уже годочки —
Не вправе я себе отсрочки
Предоставлять.
Гора бы с плеч —
Еще успеть без проволочки
Немую боль в слова облечь.

Он снова шел против течения: вокруг усерднейшим образом «стирали»!

Уж на что туманно именовалось в годы «оттепели» происходившее при Сталине, но теперь и стыдливый эвфемизм «культ личности» постепенно исчезает из речей, постановлений и статей. Когда, выступая на очередном писательском пленуме, земляк Твардовского, поэт Николай Рыленков, еще не успев сориентироваться, произнес эти слова, в президиуме ему сделали выговор.

Сходят на нет упоминания о терроре, лагерях, поражениях первых лет войны и тяжких потерях (даже соответствующие главы шолоховского романа в «Правде» не напечатали)[1].

Забыть, забыть велят безмолвно,
Хотят в забвенье утопить
Живую быль. И чтобы волны
Над ней сомкнулись. Быль — забыть! —

негодует поэт.

Когда в открывавшем 1969 год номере «Нового мира» появились его стихи, озаглавленные «На сеновале», никто не знал, что это начальная глава новой поэмы, которая вызовет перепуг в цензуре.

Поэт вспоминает о давней бессонной ночи, проведенной с другом, о взволнованном разговоре юношей, полных искреннего энтузиазма и в то же время наивнейших, еще полудетских упований:

---

[1] «Команда по всем линиям, — записывал Твардовский еще 14 января 1965 года, — никаких лагерей, никаких — как темы лит<ературных> произведений». Непосредственным же поводом для этой акции была заметка М. Хворостова «Почта генерала» в «Вечерней Москве» 19 декабря 1964 года о мемуарах генерала Горбатова и читательских письмах к нему.

Мы повторяли, что напасти
Нам никакие нипочем,
Но сами ждали только счастья, —
Тому был возраст обучен.
....
И всласть толкуя о науках,
Мы вместе грезили о том,
Ах, и о том, в каких мы брюках
Домой заявимся потом...
....
...И чтоб загорьевские девки
Глазами ели нас потом,
Неловко нам совали руки,
Пылая краской до ушей...

Теперь, десятилетия спустя поэт усматривает в этом пылком стремлении вдаль из родных мест нечто близкое эгоистическому нетерпению при прощании с матерями; «...когда нам платочки, носочки уложат их добрые руки, а мы, опасаясь отсрочки, к назначенной рвемся разлуке», — горько сказано в цикле «Памяти матери».

Мы не испытывали грусти,
Друзья — мыслитель и поэт,
Кидая наше захолустье
В обмен на целый белый свет.
....
...А ты, родная сторона,
Какой была, глухой, недвижной,
Нас на побывку ждать должна.

Жизнь по всем статьям оказалась невообразимо сложнее, чем думалось в юношескую пору.

И невдомек нам было вроде,
Что здесь, за нашею спиной,
Сорвется с места край родной
И закружится в хороводе
Вслед за метелицей сплошной...

И ранние голоса юных (под стать самим героям) петушков, представляется ныне поэту из дали пережитого, «как будто отпевали / Конец ребячьих наших дней».

И где, кому из нас придется,
В каком году, в каком краю
За петушиной той хрипотцей
Расслышать молодость свою.

Тут вспоминается встреча с другом в книге «За далью — даль»...

Есть в этой главе, «Перед отлетом» (которой было суждено годами печататься как отдельное стихотворение о том, как думалось и мечталось «жизнь тому назад»), строки, вобравшие в себя весь драматический опыт, все суровые уроки пережитого:

Готовы были мы к походу.
Что проще может быть:
Не лгать,
Не трусить,
Верным быть народу,
Любить родную землю-мать,
Чтоб за нее в огонь и в воду
А если —
То и жизнь отдать.

Что проще!
В целости оставим
Таким завет начальных дней,
Лишь про себя теперь добавим:
Что проще — да.
Но что сложней?

Остальным главам не суждено было увидеть свет при жизни автора.

«Это на съедение», — трезво сказал Твардовский, прочитав в редакции главу «Сын за отца не отвечает», дышавшую опаляющим автобиографизмом.

Эти сталинские слова в пору их произнесения, в тридцатые годы, выглядели нежданным счастьем, облегчением судьбы, своего рода амнистией не для одного Твардовского (хотя впоследствии еще не раз «кулацкое» происхождение ставилось ему «в строку» — вплоть до самых последних лет жизни, до толков и кривотолков о новой поэме).

Горький, саркастический отголосок первоначального благодарного, чуть ли не исступленного ликования, вызванного ими, звучит в поэме:

Конец твоим лихим невзгодам,
Держись бодрей, не прячь лица.
Благодари отца народов,
Что он простил тебе отца
Родного...
Сын — за отца? Не отвечает!
Аминь!

Ныне поэт беспощадно обнажал иной, тягостный смысл этих слов. Они давали возможность (во всяком случае — слабым душой) презреть или вовсе отринуть звенья и ближайших родственных связей (и вытекающие отсюда нравственные обязанности), и более сложной и не всегда выступающей наружу историко-культурной преемственности, той самой, которую Пушкин афористически определил как «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам» и утрата которой способна порождать людей вроде Смердякова или презрительно отворачивающегося от матери и от родины вообще Яши в чеховском «Вишневом саде».

В горячем, захлебывающемся, порой сбивчивом монологе автора точно запечатлен этот процесс размывания связей между людьми, между словом и делом, между провозглашаемым и реальной «практикой», когда, в частности, вскоре после сталин-

ской декларации «званье сын врага народа ...вошло в права».

Подмечены смешение понятий, умственная и нравственная смута, продиктовавшая некогда даже такому поэту, как Эдуард Багрицкий, известные, в сущности, чудовищные слова:

Твое одиночество веку под стать...
Оглянешься — а вокруг враги;
Руку протянешь — и нет друзей;
Но если он скажет: «Солги», — солги.
Но если он скажет: «Убей», — убей.

(«Т В С»)

А другому, Сергею Малахову — строки, исполненные то ли фанатизма, то ли томительного предчувствия будущей собственной судьбы:

Если враг тебе я — бей навылет
Моего (!!) смертельного врага!

(«Пуля»)

Твардовский горько и яростно «переводит» эту натужную патетику на общепонятный, «будничный» язык:

Ясна задача, дело свято, —
С тем — к высшей цели — прямиком.
Предай в пути родного брата
И друга лучшего тайком.

И душу чувствами людскими
Не отягчай, себя щадя.
И лжесвидетельствуй во имя,
И зверствуй именем вождя.
....
Рукоплещи всем приговорам,
Каких постигнуть не дано.

С присущей ему целомудренной «скрытностью» поэт избегает подробного повествования о дотоле

пережитом им «в чаду полуночных собраний», когда «ты именуешься отродьем, не сыном даже, а сынком», — только скупо роняет:

А как с той кличкой жить парнишке,
Как отбывать безвестный срок, —
Не понаслышке,
Не из книжки
Толкует автор этих строк...

Зато со всей страстью, с грустью и сочувствием как бы заново вглядывается в «отца», которого — в отличие от «сына» — ни сталинская «милость» не коснулась, ни последующие политики и историки не спешили лишить «звания» классового врага.

Твардовский как раз берется отвечать за него — и, конечно, не только и, может быть, даже не столько за одного Трифона Гордеевича, с которым его и впоследствии многое разделяло[1].

Как в кино — «крупным планом», предстают в поэме «По праву памяти» «руки, какие были у отца» — и у миллионов раскулаченных, кто «горбел годами над землей... смыкал над ней зарю с зарей»:

В узлах из жил и сухожилий,
В мослах поскрюченных перстов —
Те, что — со вздохом — как чужие,
Садясь к столу, он клал на стол,
И точно граблями, бывало,
Цепляя,
ложки черенок,
Такой увертливый и малый,
Он ухватить не сразу мог.

---

[1] После освобождения от немцев Смоленска, вывезя из деревни и устроив там всех родных — «семь душ» («Неизвестно, что было бы с ними, не найди я их в деревне»), он записывает: «Счастье мое все-таки, что я в молодости жил отдельно».

Те руки, что своею волей —
Ни разогнуть, ни сжать в кулак:
Отдельных не было мозолей —
Сплошная.

Есть в «отцовском» портрете действительные черты Трифона Гордеевича (впрочем, опять-таки свойственные не ему одному, а определенному психологическому типу), у которого «в час беды самой... мужицкое тщеславье, о, как взыграло»:

И в тех краях, где виснул иней
С барачных стен и потолка,
Он, может, полон был гордыни,
Что вдруг сошел за кулака,

Ошибка вышла? Не скажите, —
Себе внушал он самому, —
Уж если этак, значит — житель,
Хозяин, значит, — потому...[1]

Были иные, кто —

...в скопе конского вагона,
Что вез куда-то на Урал,
Держался гордо, отчужденно
От тех, чью долю разделял.
....
От их злорадства иль участья
Спиной горбатой заслонясь,
Среди врагов Советской власти
Один, что славил эту власть...
....
И верил: все на место встанет
И не замедлит пересчет,
Как только — только лично Сталин
В Кремле письмо его прочтет...

---

[1] Так Моргунок в «Муравии» мечтал, «чтоб быть с Бугровым запросто... чтоб рядом он сидел с тобой на лавке на твоей... под ручку чтоб, да с ним вдвоем пойти хлеба смотреть...».

И наконец, пытавшиеся (Трифон Гордеевич одно время тоже думал пойти этим путем) прибиться, «причалить» к другому, казавшемуся спасительным берегу: «...будь добра, гора Магнитка, / Зачислить нас / В рабочий класс...»

Словом, эти «отцы» поэтом помянуты добром — и оплаканы. Не то, что тот, кого десятки лет «народы величали на торжествах отцом родным», кому поклонялись, смиряясь с собственной, «безгласной долей», соглашаясь, по горестно ироническому выражению поэта, «на мысль в спецсектор сдать права» и послушно следовать «верховной воле». И вина за это, увы, не на нем одном:

...За всеобщего отца
Мы оказались все в ответе,
И длится суд десятилетий,
И не видать еще конца.

Третья, последняя глава поэмы («О памяти») открыто направлена против возобладавшего в тогдашних «верхах» стремления если уж не к полной реставрации сталинского режима, так к сохранению самих его основ и замалчиванию совершённых тогда ошибок и преступлений.

Поэт настойчиво повторяет, что напрасно и опасно думать, будто «ряской времени затянет любую быль, любую боль» (какое точное найдено слово: ряской, напоминающее о болоте, если не о трясине, таящейся под обманчиво зеленеющим покровом!).

«Опыт, сын ошибок трудных», если вспомнить пушкинские слова, — но отнюдь не беспамятства, не вымученных стараний «стереть», вымарать из истории то, что было, или, по гневному определению поэта, подчеркивавшему алогичность, бессмысленность этих усилий: «Быль — забыть!»

Делая вид, что не было позади крутых обрывов и

волчьих ям, легко угодить в новые. «Таит беспамятность беду», — сказано в вариантах поэмы.

Память же — не досадно педантичный архивариус, а бесстрашный сапер с миноискателем, не обременительный обоз, а сторожевое охранение.

Прав оказался поэт: «Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу...» Не в ладу с ним были, как вскоре доказала история, и тогдашние «государственные мужи», воспрепятствовавшие публикации поэмы «По праву памяти», семнадцать лет остававшейся под цензурным спудом.

Помимо уже известного читателю — метафорического, был у Твардовского и вполне натуральный приусадебный участок, в подмосковных местах — сначала Внукове, затем в Пахре, где он тоже «горбел... над землей», что, по мнению иных коллег, лишний раз свидетельствовало о «кулацком» происхождении.

Поэт-песенник Лев Ошанин с супругой однажды залучили Александра Трифоновича на свою дачу — показать новые посадки, а он, узнав, что трудился-то там садовник, сказал, что лучше, когда это дело твоих собственных рук. И, конечно, был ославлен (за глаза, разумеется) как частный собственник!

Помню, как радовался «кулак», приобретя тачку, что таким образом избавился от «наемного труда»: а то нагрузить носилки — нагрузишь, а потом клянчи у своих: помогите да помогите...[1]

С детства познав цену труду, Александр Трифонович был крайне чувствителен к работе небрежной, спустя рукава, к нерадивости и глупости в хо-

---

[1] Очень был доволен, когда и «ученая дочь» проявила интерес к земле.

зяйствовании. Вот характерная дневниковая запись (23 июня 1965 года): «Вчера на утренней прогулке (возле санатория. — *А. Т-в*) косят круглый лужок, что справа от шоссе по дороге к мосту. Травой этой любовался еще накануне... Гляжу, сгребают вилами траву в кучи, — оказывается, она пойдет в силос, — дичь, глупость такое сено губить. А ребятам — что? — ни малейшего хозяйского чувства, — смахнуть, спихнуть, выполнить норму».

И все же внимание «хозяйственного мужичка» больше приковано к другому.

«...Второе утро здесь, в моем притихшем под новой осенней окраской Внукове, — читаем в рабочей тетради, — второе свежее по-осеннему, чуткое утро, какие бывают уже перед самыми заморозками. Лес и сад настороженно грустный, с обновленной невыразимостью своей прелести (кажется, что прежние все осени так или иначе были уже выражены и с тем отошли, а эта — нет, начинай все сначала)».

Это — словно «грибница» будущих стихов (кстати, Александр Трифонович грибник заядлый[1]): того и гляди, как белый, боровик из-под опавших листьев, покажется:

Где-то уже позади
День равноденствие славит,
И не впервые дожди
В теплой листве шепелявят.

---

[1] «Он шел по лесу как хозяин, угадывая по своим тайным приметам грибные места, — вспоминал художник Орест Верейский, друг поэта с военных лет, а позже и дачный сосед, — ругался, увидев след варварской порубки. Брошенные в лесу обертки, куски газет, всякий пикниковый мусор возмущал его, и он никогда не шел дальше, пока не вытащит спички, не разожжет костерок и не спалит весь собранный им мусор. И не уйдет, пока не убедится, что костерок догорел». Характерные всё «мелочи»!

(Ах, как выразительно, как к месту это словечко!..)

Не пропускай, отмечай
Снова и снова на свете
Легкую эту печаль,
Убыли-прибыли эти.

Все их приветствуй с утра
Или под вечер с устатку...
Здравствуй, любая пора,
И проходи по порядку.

(«Чуть зацветет иван-чай...»)

Не удивительно ли встречать у поэта, находящегося на самом стрежне жизни, вроде бы совсем неожиданные размышления? «...Если правда, что темп жизни, перенапряженной, устремленной и т. п., не позволяет уже человеческой душе отмечать, впивать во всей медлительной, малоприметной и такой очевидной последовательности переходы времен года — из одного в другое — весен и осеней со всеми их еще и внутренними переходами, не различаемыми почти, но явственными пристальному взгляду в днях, вечерах, утречках (какое нежное слово... — *А. Т-в*), то пошел бы он, этот темп, к чертям собачьим. Нет, лишить всего этого душу нельзя, хотя жизнь лишает этого множества людей — в разной мере. Я-то здесь в некоем заповеднике подслушиваю у своих дубов и орешников отголоски детских впечатлений, испытывая тихую и сладкую грусть, без которой чувствовал бы себя несчастным» (5 октября 1960 года).

Не он ли в своих записях корил поэта-земляка: «...жил будто бы "у истоков"», то есть не в столице, но о чем знал, не писал, а писал без конца и без устали свои «росы-косы», «криницы-медуницы», — и словно бы продолжал в стихах:

Жить бы мне век соловьем одиночкой
В этом краю травянистых дорог,
Звонко высвистывать строчку за строчкой,
Циклы стихов заготавливать впрок.
О разнотравье лугов непримятых,
Зорях пастушьих, угодьях грибных.
О лесниках-добряках бородатых.
О родниках и вечерних закатах.
Девичьих косах и росах ночных...

Жить бы да петь в заповеднике этом,
От многолюдных дорог в стороне,
Малым, недальним довольствуясь эхом —
Вот оно, счастье. Да, жаль, не по мне.

Однако, при всей насущной необходимости поспевать «за бегущим днем» с его заботами и проблемами, Твардовский отнюдь не чурается «соловьиных» тем и не собирается отдавать их «на откуп» другим:

Да! Но скажу я: без этой тропинки,
Где оставляю сегодняшний след,
И без росы на лесной паутинке —
Памяти нежной ребяческих лет —
И без иной — хоть ничтожной — травинки
Жить мне и петь мне? Опять-таки — нет...
...Просто — мне дорого все, что и людям,
Все, что мне дорого, то и пою.

(«Жить бы мне век соловьем-одиночкой...»)

И в стихотворении «О сущем»:

Мне славы тлен — без интереса
И власти мелочная страсть.
Но мне от утреннего леса
Нужна моя на свете часть;
От уходящей в детство стежки
В бору пахучей конопли;
От той березовой сережки,
Что майский дождь прибьет в пыли...

Еще в годы войны поэт записывал, что ему кажется: «Только теперь... научился любить природу,

не только загорьевскую, смоленскую, не только даже русскую, а всю, какая есть на божьем свете. Любить, не боясь в чем-то утратиться...»

Примечательны строки в цитируемом стихотворении — о том, что автору «нужна часть» — и «от моря, моющего с пеной каменья теплых берегов».

И не выглядит ли как некий набросок, эскиз, увы, ненаписанного стихотворения запись в поздней рабочей тетради (5 декабря 1962 года):

«Сосны той породы, которая, говорят, на всей земле вымерла лет 30 000 тому назад. У них нет родни ни в этих горах Кавказа... ни на Урале, ни на Д<альнем> Востоке, ни в Канаде, нигде. Одинокое, отчужденное племя сосен, как будто знающих что-то свое, но и живущих уже, как во сне, за чертой своего века. Как выразительно, что они сбились у самого моря, сливают свой шум с его шумом и “жаханьем”, — им есть, должно быть, о чем поговорить: у моря век еще куда более древний.

Крупные круглые электрофонари там-сям меж этих сосен, как в какой-нибудь древней пещере. От дождя поутру хвоя этих сосен под ногами — обычно светло-рыжая, красная, верней сказать, гнедая и блестящая, как эта масть на добром сытом коне. Вот и конь — древнее вымирающее животное».

Не ощутимо ли, что и пишущему «есть о чем поговорить» с новыми, казалось бы, экзотическими «собеседниками» и что свежим впечатлениям и краскам «отзываются» знакомые и дорогие еще с давних детских лет?!

«Вчера открыл новый маршрут... по побережью, — записано в те же декабрьские дни, — красиво до слез».

В пейзажной лирике Твардовского с давней поры нередко проступает как бы «второй план» —

мысль или, может быть, скорее чувство соответствия круговорота природных явлений срокам человеческой жизни.

Я не пишу давно ни строчки
Про малый срок весны любой;
Про тот листок из зимней почки,
Что вдруг живет, полуслепой;
Про дым и пух цветенья краткий,
Про тот всегда нежданный день,
Когда отметишь без оглядки,
Что отошла уже сирень;
Не говорю в стихах ни слова
Про беглый век земных красот,
Про запах сена молодого,
Что дождик мимо пронесет,
Пройдясь по скошенному лугу;
Про пенье петушков-цыплят,
Про журавлей, что скоро к югу
Над нашим летом пролетят;
Про цвет рябиновый заката,
Про то, что мир мне все больней,
Прекрасный и не виноватый
В утрате собственной моей...

(«Признание», 1951)

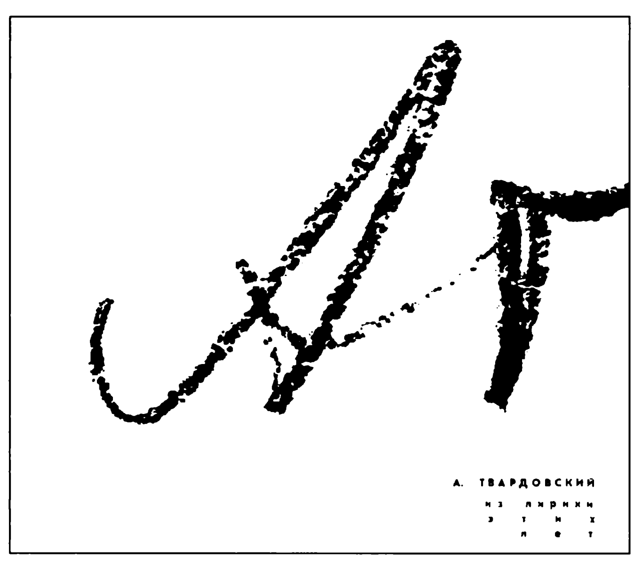
Не различимы ли за этим перечнем наши собственные весны, осени, закат, близящаяся зима?..

И только ли про осенний день сказано в более позднем стихотворении «Просыпаюсь по-летнему...»?

Приготовься заранее
До конца претерпеть
Все его отставания,
Что размечены впредь.

Или в уже известном читателю стихотворении «Чуть зацветет иван-чай...»?

Увы, «доброй старости», о которой, по собственным словам поэта, «простодушно» мечталось порой, ему даровано не было...



Обложка последнего прижизненного сборника стихов поэта «Из лирики этих лет». *1967 г.*

Письмо из действующей армии:
«Дорогой Твардовский! Очень хочется мне пожать Вашу руку, руку поэта, за Вашего “Тёркина”...» *10 марта 1943 г.*
Из архива А. Твардовского

Действующая Армия
10.III.43 г.
Дорогой Твардовский!
Очень хочется мне пожать Вашу руку,
руку поэта за Вашего „Теркина", и
руку земляка за родные, до боли
знакомые, смоленские мотивы в
В/творчестве.

Глава десятая

ОБЛАВА

«Время — точно опустело, — записывал Твардовский летом 1965 года, через несколько месяцев после смещения Хрущева, находясь в санатории «Барвиха». — Действительно, читаю газеты, живу среди читающих газеты, и даже редактирующих их, среди членов коллегий министерств, как мой сосед по столу... и повыше — маршалов, министров, крупных пенсионеров, коим по самой их сути полагается быть "политиками", и никаких "дискуссий", мнений, рассуждений о проживаемом времени, — как ничего не произошло и не происходит: уженье рыбы, домино, кино — и всё. Разговоры на редкость однообразные, плоскошуточные, пустоутробные. Время точно онемело, — в нем умолк нескончаемый затейник-оратор, а на место его словно бы никто не пришел, — как бы все в ожидании...»

Дух и стиль клана «вышестоящих» запечатлен здесь весьма выразительно. Он и в «оттепельную»-то пору сказывался, когда тоже не раз всё и все «в ожидании» замирали. Тогда ходила шутка: вроде бы и «Шаго-о-м...» скомандовали, только вот «марш!» сказать забыли.

Теперь, однако, заминка была недолгой.

«Из Цензуры позвонили, — занес в тетрадь поэт-редактор 15 сентября 1965 года — снимайте статью Синявского — он арестован».

«Дело писателей» — Андрея Синявского и Юлия Даниэля — стало, по выражению В. Каверина, «уголовным судом над художественной литературой». Непосредственным поводом для их ареста послужили публикации их произведений, начиная с 1957 года, за границей под псевдонимами Абрам Терц и Николай Аржак.

Однако даже по советским законам это не было преступлением. Тогда в вину обоим вменили... сатирическое содержание написанного, и в ход пошла печально известная 70-я статья Уголовного кодекса: антисоветская агитация и пропаганда, распространение антисоветской литературы.

Для «Нового мира» случившееся было серьезным ударом. Андрей Донатович Синявский в последние годы активно сотрудничал с журналом, и в январском, юбилейном номере Твардовский назвал и его среди представителей молодой критики, которая «успешно соперничает с молодой поэзией и прозой».

Автор статей об Ахматовой, Пастернаке, Ольге Берггольц, Синявский не чурался и «дезинфекционной» (помните это щедринское словечко?) работы, в частности остро и убедительно раскритиковал стихи одного из рьяных «автоматчиков»-погромщиков — Софронова.

Теперь же статьи Синявского были приобщены к растущему списку «грехов» «Нового мира», существование которого уже и так было под угрозой. «Дела плохи, журнал, как в блокаде, — записывал Твардовский в июне того же года. — Есть слух, что будет стоять вопрос на идеологической комиссии (была и

такая в ЦК! — *А. Т-в*). "Надо кончать", — такие слова будто бы говорил нынешний зам. Демичева (секретаря ЦК по идеологии. — *А. Т-в*) Степаков...»

Был срочно «мобилизован» народный любимец, актер Борис Чирков, который напечатал в «Правде» 20 июля 1965 года статью «Самоцветы» (сам ли ее написал или, как часто водилось тогда, всего лишь «подмахнул»?), где была поведана прямо-таки «трогательная» и вместе с тем укорительная по определенному адресу история:

«Познакомились мы с товарищем Колодиным, рабочим одного из совхозов Московской области... Много повоевал солдат! Одним из его лучших товарищей и в бою и на отдыхе стал Вася Тёркин.

...И вдруг узнал, что по воле "отца своего родного" отправился Вася Тёркин на тот свет!

И обида охватила бывшего солдата... И бывший воин, которому до всего дело, вооружается карандашом, берет тетрадку и принимается за литературные занятия. Он, читатель и друг литературного героя, по-новому сочиняет продолжение его судьбы. Любовно, но требовательно выговаривает автору за то, что тот демобилизовал Тёркина, увел его из нашей действительности. Решительно определяет он ему место "в рабочем строю". Хозяин земли и жизни зовет Тёркина в деревню, на передовую линию борьбы и труда».

«Пропаганда таким крупным деятелем искусства, как Б. Чирков, образцов художественной самодеятельности делает ему честь, — с иронией говорится в ответном письме «родного отца», которое со скрипом зубовным пришлось напечатать «Правде» (1 августа 1965 года). — Но в своей статье он утверждает по ходу изложения, будто бы в "Тёркине на том свете" речь идет о том, как "прославленный воин вдруг

ушел из нашей жизни" и что автор "демобилизовал Тёркина, увел его из нашей действительности" и т. п.».

Напомнив, что поэма направлена против косности и бюрократизма (а это ли не «передовая линия борьбы»? Какая уж тут «демобилизация!), Твардовский заключал: «...Разумеется, каждый вправе как угодно относиться к замыслу и выполнению этой моей вещи, давать ей любую оценку — все это нормальная литературная жизнь, но одно условие необходимо соблюдать: судя о произведении, принимать или отвергать его действительное, а не мнимое содержание».

Но «высокому» начальству было не до нормальной литературной жизни! Непокладистость автора «загробного» Тёркина (к тому же и редактора крамольного издания), кажется, только масла в огонь подлила. В те же августовские дни на очередном совещании, где с докладом о воспитании молодежи выступил уже известный читателю Павлов, прямо-таки хором возопили: «В каком государстве издается этот журнал, раз мы на него не можем найти управы?.. Почему мы должны терпеть? Надо снимать Твардовского!»

А некто Кузнецов из Московского городского комитета партии ради нее, родной, пустился во все тяжкие и с ханжески обеспокоенным видом заявил: «Нельзя человеку с замутненным алкоголем сознанием руководить журналом».

...И знаете что, читатель? Не уважить ли нам Кузнецова с его более высокопоставленными «суфлерами», не «тряхнуть ли стариной» (впрочем, еще совсем недавней) и впрямь не озаботиться ли «персональным делом Твардовского А. Т.»?

Помните, как и «на том свете»:

Вот с величьем натуральным
Над бумагами склонясь,
Видно, делом персональным
Занялися — то-то сласть.

Тут ни шутки, ни улыбки —
Мнимой скорби общий тон.

В раннем варианте поэмы далее говорилось:

Признает мертвец ошибки,
Извернуться норовит...

Но перед нами-то — живой Твардовский, для кого изворачиваться не в привычку! Ах, как помнится уже ранее упомянутое, первое слышанное мною выступление Александра Трифоновича во время «проработки» журнала в 1951 году, из-за статьи «космополита» Гурвича! Как гордо вскинул он голову, еле процедив дежурные слова «покаяния», и воинственно, почти вызывающе объявил, что вовсе не намерен посыпать голову пеплом!

Да, «пить — пивал», как писал «загробный» Тёркин о деде. Однако в беседе с автором воспоминаний о создателе «Швейка» заметил: «...сам я человек пьющий, но не хотел бы, чтобы меня вспоминали потом, как вы Гашека, с этой точки зрения».

Что было — то было. Дневниковые записи поэта, относящиеся ко времени «срывов», когда, по его горестно-шутливому выражению, «хмелек за хмелек цепляется», свидетельствуют, как тяжело он переживал их, какая это была для него мука-мученическая, как жестоко корил себя за огорчения, которые доставляет ближним.

Но, даже понуждаемые разнофамильными кузнецовыми, объявлявшимися и в иные времена, взглянуть на поэта «с этой точки зрения», можем ли

забыть, что, помимо широкой распространенности вечной российской «слабости», было у человека, изначально искалеченного «великим переломом», побывавшего «кулацким подголоском» и «классовым врагом», много такого, что могло способствовать этой тяге?!

Не случайно, как мы знаем из записи Бека, поэт «много пил» в пору потрясшей его «войны незнаменитой»; сказалось и все пережитое на новой войне, куда пострашнее.

А потом?.. Рассказывая о первом разгроме «Нового мира», я не упомянул, что на последнем решающем заседании в ЦК Твардовского не было — все по той же причине. Кое-кто его корил и утверждал, что это усугубило проявленную к нему строгость, — а то, может, «помиловали» бы...

Но представим себе, чтó он тогда переживал: и «кулацкое» происхождение припомнили, и Катаев угодливо поддакнул начальству своим доносом, да и кое-кто из ближайших сотрудников готов был отступиться...

Что ж, тоже осудим? Или все же поймем «обвиняемого» — и в этом случае, и в тех, что еще впереди?

В более поздних записях запечатлен разговор с одним из тех деятелей, кто, совершенно по Крылову, «в рот хмельного не берут, и все с прекрасным поведеньем», — разве что отнюдь не сильны в том, чем занимаются и — больше того — чем руководят («Не понимаю, почему вы считаете, что “Один день Ивана Денисовича” хорошо написан», — удивлялся Демичев, вскоре назначенный министром культуры!):

«...Около месяца кошмарное бытие... Пропустил все предсъездовские “встречи” (с руководством. —

А. Т-в) ...и на съезд (писателей. — *А. Т-в*) явился в предпоследний день.

Демичев: — Что же так, Александр Трифонович?

— Ослабел.

— Нужно держаться.

— Да. Многомесячная психологическая бомбежка, — сорвался.

— *Но ведь любовь народная остается, а это главное*. (Буквально)» (запись 2 июня 1967 года).

Как прям, даже простодушен поэт и как вальяжен и выспренен его «наставник»! Говорит о «народной любви», чуть ли не попрекает ею, — а «предмет» любви на его глазах, да и не без его участия, бомбят, и еще будут — годами, покамест не доконают...

Уф! Не пора ли нам «закрыть дело» и вернуться туда, в конец шестидесятых — под «бомбы»?

Твардовский отмечал, что его записи все больше превращаются в «хронику журнального "мигательного" горения и редакторских мытарств». А однажды, придя на работу, «увидел что-то в лицах» сотрудников: прошел слух, что он уже снят!

В следующем, 1966 году все еще больше напряглось.

Журналу припомнили всё — и Синявского, и «протаскивание» произведений Солженицына, и — «по новой» — «Тёркина на том свете» в связи с его постановкой в московском Театре Сатиры.

Прекрасный это был спектакль, блестяще поставленный Валентином Плучеком, с Анатолием Папановым в главной роли. Зал заходился от смеха, когда, словно бы выйдя из зрительских рядов, на сцену с важным видом поднимались Георгий Менглет с партнером и начальственно выражали недовольство:

— В век космических ракет,
Мировых открытий
Странный, знаете, сюжет.
— Да, не говорите.

— Ни в какие ворота.
— Тут не без расчета...
— Подоплека не проста.
— То-то и оно-то...

Между тем их вполне реальные «двойники» вроде главного редактора скучнейшей газеты «Советская культура»[1] Большова с «меньшими» сотрудниками уже строчили:

«Первые просмотры этого спектакля... дают основание утверждать, что мы имеем дело с произведением антисоветским и античекистским по своему существу. Мы были поражены, как советский театр смог нанести глубочайшее оскорбление гражданским, патриотическим чувствам советских людей[2].

...На наш взгляд, главный порок в литературном первоисточнике, которому, к сожалению, до сих пор не дано принципиальной оценки».

И не кто иной, как сам глава КГБ Семичастный, некогда «прославившийся» тем, что сравнил автора «Доктора Живаго», Пастернака, со свиньей, мало того что (как записано поэтом 20 марта 1966 года) «высказался в том смысле, что все знают, что такое Твардовский и чего от него ждать», но и дал слушателям Академии общественных наук, где выступал,

---

[1] При одном из редакторов газеты, Данилове, ее прозвали Даниловским кладбищем.

[2] А они-то, несознательные!.. Шофер, однажды везший Твардовского, мечтательно сказал: «Вот, говорят, посмотреть “Тёркина на том свете”. Моя тетушка работает в институте ревматизма, как-то достала билет. Если, говорит, ты не видел, так ничего не видел».

конкретный совет: мол, «нельзя только администрировать, здесь нужна помощь общественности, ваша помощь»: «Соберитесь, пойдите на спектакль, устройте обструкцию...»

Это было уже совсем в духе щедринской Торжествующей свиньи, где к толпе взывали: «...давай, братцы, ее (Правду. — *А. Т-в*) своим судом судить... народным!!»

Другие действовали не столь прямолинейно.

У Плучека «вдруг» объявилось множество грехов и упущений, приведших в негодование Городской комитет профсоюзов работников искусств: и груб-то он, и закон о труде нарушает, о чем немедленно оповестила большовская «Советская культура» (8 апреля 1966 года).

Позже затронул эту тему и критик Даль Орлов в статье «Оглянись во гневе...» (Труд. 1966. 26 июня) с развязным «интригующим» подзаголовком — «Несколько мыслей о Театре Сатиры, его главном режиссере и одном профсоюзном собрании». Но здесь, как и в некоторых других печатных откликах, был применен новый хитрый фортель.

«Печально, — пригорюнясь, писал автор, — что в театре можно услышать: "Тёркин" — наше знамя. Трудно идти в поход под таким знаменем...»

Но, Боже упаси, не подумайте, что он против поэмы! Он — за нее горой, перед Твардовским так и расшаркивается. Он идет «в поход» лишь на спектакль!

Перенос поэмы на сцену — это, понимаете ли, совсем другое дело.

«Можно ничего не иметь против подобного рода затеи (не зря мимоходом брошено это пренебрежительное словечко! — *А. Т-в*), но трудно избавиться от подозрения в некоем следовании моде: нынче у

нас любят ставить письма, телеграммы, стихи... Теперь — поэма. Мода — это, если хотите, синоним серийности. А серийность — шаг к серости», — жонглирует критик словами, шаг за шагом продвигаясь к выводу, что вышло у Плучека «порою скучно, порою непонятно», а «смысловые, идейные акценты в спектакле сползли в сторону пессимистического испуга перед злом».

Однако (экая ведь незадача!) «расхваленный» Твардовский опубликовал в «Литературной газете» (30 июля 1966 года) возмущенную и ядовитую «Реплику автора». Напомнив, что до плучековского спектакля приходилось слышать по поводу самóй поэмы те же упреки в «пессимизме», ныне «переадресованные» театру, поэт засвидетельствовал полное тождество постановки с ее литературным первоисточником.

Но спектакль все равно сняли, как выражались тогда, «идя навстречу пожеланиям трудящихся», в данном случае... самого коллектива театра!

Между тем грянула и другая беда. Повторился гроссмановский «сюжет»: на этот раз изъяли, арестовали рукопись солженицынского романа «В круге первом», сначала хранившуюся в новомирском сейфе, но потом опасливо взятую автором назад.

В феврале 1966 года «подоспел» и приговор Синявскому с Даниэлем.

«Семь и пять лет со строгим режимом, — записывал поэт 15 февраля. — ...В сущности, ничего не хочется делать, можно сказать, что и жить не хочется: если это поворот к “тому” (прошлому. — *А. Т-в*), то, право, остается существовать. Но, конечно, вряд ли это действительно “поворот” — просто бездна слепоты и глупости невежд (а это не то ли самое)».

И как-то «погасли», по выражению Твардовско-

го, отошли на второй план — в нем, еще не так давно правоверном коммунисте — сомнения в правомерности публикации произведений за рубежом. Остались только сострадание и боль:

«В газетах уже сомкнулись волны над судьбой тех двоих, уже о них и “гав-не-брехав”, а они где-то близко ли, далеко ли. Но, конечно, порознь друг от друга, в разных партиях, эшелонах или вагонах, уже под командой людей, для которых они только арестанты, во власти людей, которые не читали их писаний, не слышали речей (на суде. — *А. Т-в*). Там они где-то со своими вещевыми мешочками, в которых все, что тебе осталось для жизни, — все на тебе или под головой на нарах. А впереди — семь и пять»[1] (17 февраля).

Подписать письмо секретариата правления Союза писателей, одобряющее приговор, Твардовский отказался наотрез.

Между тем вот и первые «оргвыводы» (памятное словцо советских лет!) по его собственному «делу»: ставший на «хрущевском» еще, XXII съезде КПСС кандидатом в члены ЦК КПСС, Твардовский теперь даже депутатом на очередной съезд не был избран.

«Все более укрепляюсь в чувстве некоего освобождения от чего-то обязывавшего в чем-то и чему-то не согласному с совестью и даже отчасти тщеславного удовлетворения неизбранием», — записывает «наказанный» (17 марта 1966 года).

Одним «неизбранием» не ограничились. Что на съезде, что в газетах — «главный враг “Новый мир”, — резюмирует поэт услышанное и прочитан-

---

[1] «У него руки тонкие, почти светятся, — говорил о Синявском Александр Трифонович. — Каково ему будет на лесоповале». К счастью, до этого дело не дошло.

ное. — ...В редакции, кроме обычных радостей (задержание Симонова[1], после предоставления всех необходимых справок и заключений вплоть до военной цензуры), новая, во всяком случае, не известная нам в такой определенности в прошлом году: “резкое ограничение” подписки на “Н<овый> м<ир>” (исключение ж<урна>ла из рекомендательных списков для бюджетной подписки в Армии и школах!)» (1 октября 1966 года).

На очередном совещании, в Кремлевском театре, выступает секретарь правления Союза писателей Г. Марков. «Первый же вопрос к нему, — как со слов А. Г. Дементьева, присутствовавшего там, записал поэт 24 октября, — был: “Когда и какие меры будут приняты в отношении ‘Нового мира’?” — “Будем обсуждать, дело это непростое, трудное”. Гул возмущения, какие такие трудности!»

«...Своим судом судить... народным!!!»

Не унимаются, донимают. Хором выступают в октябре 1966 года на Всесоюзном совещании-семинаре идеологических работников — В. Шауро, С. Павлов, секретарь ЦК компартии Грузии Д. Стуруа. «Ряд материалов “Нового мира”, я должен сказать прямо, — витийствует последний, — содержат в себе критику колхозного строя, скрытую иногда, с чисто кулацких, эсеровских позиций. Этого не видеть нельзя. Мы говорим, и это правильно, что нужен особый подход к творческим организациям, деятелям литературы и искусства. Но это не значит, что мы должны вводить у нас такие порядки, при которых каждый волен пропагандировать свои мысли».

---

[1] То есть задержка публикации военных дневников К. Симонова.

От поучений и угроз уже, как говорится, свет не мил. Именно 1966 годом помечены стихи поэта:

В самый угол шалаша,
Где остывшая солома,
Забирается душа,
Чтоб одной побыть ей дома;

Отдышаться от затей
И обязанностей ложных,
От пустых речей, статей
И хлопот пустопорожних;

И не видеть их лица —
Резвых слуг любой эпохи:
Краснобая-подлеца,
Молчаливого пройдохи;

Полномочного скота,
Групповода-обормота,
Прикрепленного шута
И внештатного сексота...

Дайте, дайте в шалаше,
Удрученной злым недугом,
Отдохнуть живой душе
И хотя б собраться с духом.

(«В самый угол шалаша...»)

Слава Богу, что доносятся иные голоса.

«Мы тут, в провинции, наслышаны о всяком по адресу "Нового мира", — пишет 8 апреля 1966 года Кондратовичу Василь Быков, — поэтому я спешу выразить Вам лично и всем товарищам новомировцам мою самую сердечную читательскую, человеческую и авторскую благодарность.

Мой особый нижайший поклон Александру Трифоновичу, чья выдержка и принципиальность беспримерны».

Когда-то Блок, получив в трудную минуту сочув-

ственное письмо, благодарно отвечал: «В таких письмах, как Ваше, есть некое “слышу, сынку” из “Тараса Бульбы”».

И не похожее ли чувство испытал Твардовский, прочитав «чудесное письмо “старой учительницы” — явно в связи с последними “санкциями”...»?

«Уважаемый и дорогой Александр Трифонович! — писала В. Немыцкая. — Спасибо Вам за то, что Вы есть, что Вы такой, какой Вы есть, и что Вы не складываете оружия перед Сахно и Горбатюками (персонажи повести В. Быкова «Мертвым не больно», только что напечатанной «Новым миром». — *А. Т-в*).

Наверное, Вы получаете много подобных писем, и все же мне кажется, что Вы не знаете, как много людей, хороших советских людей безгранично любят и уважают Вас. А когда есть кому до конца верить и кого любить и уважать — это большое счастье.

Не стану объяснять Вам, какой Вы большой поэт, это Вы и без меня хорошо знаете. Хочу только сказать, что от всего, что Вы пишете, так легко дышится, потому что нет там никакой фальши, никакого лицемерия, и все настоящее, большое, человеческое, подлинно коммунистическое, потому что герой Ваш — правда, потому что горит в Вас тот “недремлющий недуг” (слова из главы о встрече с другом в «Далях». — *А. Т-в*), который горит во всех настоящих людях нашего поколения. Вы — совесть нашей эпохи.

Берегите себя... Есть, конечно, у нас и другие хорошие поэты и люди, но такого, как Вы, у нас нет, и это не слова, а сущая правда.

Желаю самого большого счастья Вам и всей нашей стране, без ее счастья и Вы не сможете быть счастливым».

Но облава-то набирает силу! Если раньше «вурдалачья стая», как окрестил Твардовский всех этих «автоматчиков», сделала все, чтобы провалить кандидатуру Солженицына на Ленинскую премию, то теперь уже само опубликование «Одного дня Ивана Денисовича» вменяют Твардовскому в вину: дескать, это он «в компании с Хрущевым учинил» (вопреки мнению ЦК), иронически пересказывает поэт демичевскую речь на заседании Московского горкома. Было в ней также упомянуто, что неизбрание Твардовского в ЦК и Верховный Совет — это серьезное предупреждение ему: «не учтет — примем дальнейшие меры».

К самому «предупреждению»-наказанию Александр Трифонович отнесся довольно хладнокровно: «Так постепенно спадает с меня все, что не я, а нечто извне присвоенное и связывающее и ничего не дающее, кроме удовлетворения (всегда неполного) ничтожного тщеславного чувства. Нужно быть только тем, что ты есть, — не дай бог иметь все, кроме этого... Но нельзя не сознаться себе, что душа не минует и некоторого суетного самоуслаждения опалой, — ведь это меня выделяет из официального, никому не милого ряда. Этим тоже не нужно услаждаться, — помнить Толстого с его отречением от “славы людской”. Кажется, я уже и не член Лен<инского> ком<итета>» (запись 11 марта 1967 года).

Иное дело — как это отражается на положении журнала. Одновременно с безудержной критикой Солженицына (а то и прямой клеветой на него — якобы не политического заключенного, а уголовного преступника), которую Твардовский воспринимает как «поход против всего, что... дорого и без чего... не согласен жить», с атакой на повести Василя Быкова и некоторые журнальные статьи, где усмат-

ривалась «дегероизация советской действительности», цензура и идеологические отделы ЦК производят форменный погром многих номеров «Нового мира», что влечет за собой изъятия, оскопление, перетасовку материалов и постоянные задержки с выходом в свет. Так, цензура запретила интереснейшие дневники Константина Симонова военных лет, сняв их уже из номера. Это привело к уничтожению тиража. Такое было лишь сорок лет назад, в 1926 году — из-за публикации в «Новом мире» повести Бориса Пильняка «Свет непогашенной луны», содержавшей намек на подозрительные обстоятельства смерти народного комиссара по военным и морским делам М. В. Фрунзе.

Возглавлявший Союз писателей Константин Федин по-прежнему входил в редколлегию «Нового мира». Этот «странный», по выражению Твардовского, ее член обычно старательно обходил возникавшие острые проблемы. «Ну, что еще ему нужно? — негодовал поэт. — Вторую звезду не дадут[1], первую не отнимут. Чего он трясется?»

На сей раз «комиссар собственной безопасности», как некогда прозвали Федина, побеседовав с Демичевым, стал уговаривать Александра Трифоновича уже не только признать «ошибки», но и дать согласие на «обновление», «укрепление» редколлегии.

Тут был новый «стратегический» маневр начальства; оно, мол, таким образом хочет «вывести из-под удара» главного редактора, который доверился со-

---

[1] Речь шла о звезде Героя Социалистического Труда. Твардовский ошибался: посредственному прозаику Георгию Маркову, который, будучи секретарем правления Союза писателей, фактически и руководил им, «звезду» вручили дважды!

трудникам (к которым Демичев около года назад в личной беседе призывал поэта «присмотреться»), а те его подвели[1]. Но Твардовский решительно отверг это предложение, сказав, что «ничего серьезного и решающего» в «Новом мире» никогда не появлялось без его ведома.

«Пришлось» обойтись без согласия Твардовского: его заместителя А. Г. Дементьева и ответственного секретаря журнала Б. Г. Закса вызвали в ЦК и «рекомендовали» им подать в отставку.

Твардовский был жестоко оскорблен. «...Еще вчера у меня была редакция, планы и т. д., — горько и негодующе записывал он 5 января 1967 года, — а сегодня уже все другое, и я уже, в сущности, не редактор...»

И саркастически «фантазировал»:

«Если можно без меня вывести, то уж ввести без меня — тем более, да и логично: прихожу в редакцию, а там сидят Дангулов и Суровцев (прозаик и критик, оба ортодоксальных взглядов. — *А. Т-в*), и освободить их я уже не могу.

Пусть коренные работники — Кондрат<ович>, Лакшин не хотят работать с этими новыми — ничего уже не поделать — свершилось. До этого — один шаг».

Он был готов подать в отставку в связи с этим — фактически — увольнением своих многолетних сотрудников и явственным намерением заменить их какими-то неизвестными ему людьми.

---

[1] В эту пору В. Лакшин в новомировской статье «Пути журнальные» (1967. № 8) упомянул, что царское правительство, преследуя «Отечественные записки», старалось отделить возглавлявшего их, после смерти Некрасова, Щедрина от его соратников: «...его изображали редактором, "не знавшим, что делается у него в журнале"».

Общими усилиями (в том числе «отставников», в особенности А. Г. Дементьева) отговорили его. Александр Григорьевич продолжал по-прежнему принимать самое активное участие в работе редакции.

То ли чтобы оправдать произведенные в редакции перемены, то ли (что вернее) давая понять, что облава, то бишь кампания за «оздоровление» журнала, будет продолжаться, «Правда» 27 января 1967 года опубликовала статью «Когда отстают от жизни», критиковавшую «Новый мир» за «односторонне избирательный подход»:

«К сожалению, из нашей многообразной действительности внимание “Нового мира” привлекают не факты и явления, показывающие, что из всех испытаний наша партия и народ выходят еще более закаленными и сильными... а в большинстве случаев лишь явления одного ряда, связанные с теневыми сторонами, с разного рода ненормальностями, с болезнями быстрого роста...»

Нетрудно представить, какие чувства вызывали эти утверждения о возрастающей силе и быстром росте у поэта, который только что прочел «подвижнический», по его определению, труд Роя Медведева «Перед судом истории», содержавший глубокий, подробно аргументированный анализ минувшей эпохи и ее тягостных, незалечиваемых последствий.

«Голова ломится, сердце замирает, и просто жутко от этого всего, что наплывает, связывается, обступает и не дает жить вне этого, — записывал поэт о «переполняющем душу впечатлении» от прочитанного, еще более укреплявшего его в давно происходившем «самоизменении». — ...Чтение... как-то все еще осветило и уточнило для меня все, что и без того знал как будто и делал кое-что в достойном духе» (записи 4 декабря 1966-го и 4 января 1967 года).

Меж тем близился очередной писательский «форум» (вошло в моду это пышное слово). «Живет слух, что перед съездом будет встреча (конечно, историческая), — пишет Твардовский 11 марта 1967 года, понимая, что при этом опять польются речи о «новом подъеме» и в литературе. — Там, если будет возможно, скажу, что если исходить из понятий великой лит<ерату>ры, то хвастаться нам нечем... Главная причина в нашей куда большей несвободе художника, чем в XIX в., когда религия или не была обязательной нормой, или избиралась по собственному желанию, без догмы. Мы же во власти своей "религии", ограничившей нас, урезавшей, окорнавшей, обеднившей. Явление Солженицына — первый выход за эти рамки, и отсюда нынешняя судьба его, — не дозволяется».

Видно, как у человека «накипело»!..

«Ужасное свидетельство духовной несвободы» Твардовский с горечью видит даже в творческой судьбе своего ближайшего друга Михаила Исаковского, предисловие к собранию сочинений которого он стал с весны обдумывать, решительно «забраковав» свои прежние статьи о «Михвасе» («Однобоко, по-газетному краснословно, — что значит 17 лет назад...»): «...Дело оказалось деликатным: талант несомненный и ценный, но в ужасных шорах, в пределах потребного и дозволенного, с какой-то удручающей покорностью внешним установлениям и нормам, с невыходом за черту» (запись 21 июня 1967 года).

Руководство же Союза писателей озабочено другим. Еще 2 июля 1966 года «странный член» редколлегии «Нового мира» Федин, он же глава писательской организации, говорил Г. Маркову с «оргсекретарем» К. Воронковым, с которыми пребывал

в самых теплых отношениях, о «своем» журнале: «Журнал не одинаков. Публикуются хорошие произведения, но есть и “перекосы”. Обсуждать журнал необходимо».

«Мы с Марковым, — продолжает Воронков дневниковую запись, — согласились, что откладывать обсуждение нельзя. Журнал последнее время неоднократно критиковался в писательских кругах, в печати, в выступлениях общественных деятелей. Федин сказал: мы обязаны реагировать на критику, журнал — наш орган».

И пококетничал: «Но будьте беспощадны и ко мне, ведь я состою там членом коллегии».

Обсуждение намечалось на декабрь (но было «заменено» устранением Дементьева с Заксом). По тогдашним наметкам Твардовского в рабочей тетради видно, какой принципиальный характер хотел он придать дискуссии:

«Обсуждение журнала — это нечто большее, чем обсуждение одной какой-либо книги или рукописи, как бы они ни были значительны сами по себе. Журнал, обладающий сколько-нибудь развитой и признаваемой журнальной “физиономией”, обликом и т. п., — это явление общественной жизни, это некий узел, где сходятся и связаны интересы и настроения, взгляды и оценки не только одного редактора или редколлегии, или даже коллектива ближайших и неближайших сотрудников, и не только более или менее значительной армии читателей (о чем нельзя забывать)...» (запись 15 декабря 1966 года).

А «Новый мир», продолжает он, «живет и действует под общепринятым знаком “порочности”, “очернительства” и т. п. ...а между тем самый беглый обзор того хотя бы, что написали различные органы печати о вещах, напечатанных в нем, дает совсем

другую картину. Журнал куда более хвалили, благодарили и приветствовали, чем бранили и упрекали. И дело не в прямом количественном сопоставлении оценок, но в том, что положительные конкретны, доказательны, обращены непосредственно к материалу страниц журнала, а отрицательные чаще всего основаны на трудноуловимых "дуновениях" молвы, на письмах земляков (например, о «Вологодской свадьбе» Яшина. — *А. Т-в*), мимоходом брошенных обвинениях руководящих товарищей, не дающих, между прочим, оснований заподозрить их в самоличном прочтении произведений, о которых идет речь», — с изящно выраженной язвительностью заключает поэт.

Выступая же на обсуждении журнала 15 марта 1967 года, он еще более заострил свои мысли:

«"Новый мир" открыто заявляет о своих идейно-эстетических пристрастиях и воспринимает как похвалу странные упреки в том, что он "гнет свою линию". "Гнуть свою линию" — значит быть принципиальным, держаться того, в чем убежден... Да, мы придерживаемся линии *реализма*, правдивого изображения действительности, верности великим заветам русской классической литературы...

Так сложилось, что "Новый мир" в последние годы приобрел значительное общественное мнение... С одной стороны, очевидный факт, что по крайней мере две трети художественных произведений, привлекавших в последнее время самый широкий читательский интерес, появилось на страницах "Нового мира". С другой стороны, деятельность журнала как в печати, так и в устных выступлениях характеризуется как порочная, очернительская».

Со сказанным Твардовским было трудно спорить, и прения в общем сложились в пользу «кра-

мольного» издания[1]. На общем фоне «выделялись, — записывал Александр Трифонович на следующий день, — гнусавцы Чаковский (всё пытавшийся дать понять, что линия “Нового мира” выходит за пределы собственно литературные) и Соболев, которого я оборвал при его попытке пришить мне Синявского».

Чаковский доносительски сетовал на то, что «чрезвычайно редко можно увидеть на страницах “Нового мира” слова “социалистический реализм”», и был поддержан Тихоновым, который, со своей, еще раньше подмеченной Твардовским «чиновничьей готовностью потрафить чему полагается», поддакнул: «Что же касается социалистического реализма — там его не найдешь».

Но наиболее явственно выражал официальную точку зрения на журнал и «рвался в бой» Грибачев. «А где же, — гневно вопрошал он, совершенно в духе недавней правдинской статьи, — в журнале произведения другого плана, показывающие поступательное развитие жизни, с широким общественным дыханием? Таких ярких произведений нет. И получается однобокость».

Подобно Чаковскому, не чурался он и определенного внелитературного «жанра»: «Мне кажется, что часть артиллерии “Нового мира” установлена с наводкой на одни и те же позиции. Я не буду уточнять, вы знаете, о чем речь».

Эх, если бы и все обсуждение было в таких тонах, — вероятно, досадовали в «высоких» кабинетах.

Впрочем, в дневнике Воронкова все выглядит в «нужном» духе:

---

[1] Федина не было: заболел (?).

«Выступления товарищей были содержательны, отличались критической заостренностью, принципиальностью и доброжелательством. Было высказано много убедительных мнений по отдельным произведениям, опубликованным в "Новом мире". Товарищи, характеризуя их негативную окраску, отмечали, что хорошо бы журналу, владеющему "воинственным пессимизмом", овладеть "воинствующим оптимизмом"[1], подвергли обстоятельному анализу отдел критики, на ряде примеров показали пристрастность суждений о творчестве отдельных писателей, приводящих в итоге к узости взгляда на многообразие литературных явлений, указали на шаткость некоторых эстетических позиций журнала. Говорили о важности партийной позиции каждого литературно-художественного органа и на примерах показали допущенные просчеты журнала... Было отмечено, что попытка редакции бесстрастно относиться к провокационной болтовне за рубежом о "либеральной" направленности журнала недопустима и ставит редакцию в ложное положение».

И ни слова о том, что, как записывал поэт, «критика сопровождалась густыми комплиментами журналу и главному», что говорилось о «целом ряде блестящих произведений», опубликованных в «Новом мире»! «Проработка», на которую многие надеялись, явно не состоялась.

Не в эти ли дни родилось стихотворение, которое поэт в самом начале апреля предложил, в числе других, «Юности», где оно и было вскорости, в мае, опубликовано:

---

[1] Как похоже на претензии, высказывавшиеся в свое время по отношению к «Дому у дороги»!

Такою отмечен я долей бедовой:
Была уже мать на последней неделе,
Сгребала сенцо на опушке еловой, —
Минута пришла, — далеко до постели.

И та закрепилась за мною отметка,
Я с детства подробности эти усвоил,
Как с поля меня доставляла соседка
С налипшей на мне прошлогоднею хвоей.

И не были эти в обиду мне слухи,
Что я из-под елки, и всякие толки, —
Зато, как тогда утверждали старухи,
Таких, из-под елки,
Не трогают волки.

Увы, без вниманья к породе особой,
Что хвойные те означали иголки,
С великой охотой,
С отменною злобой
Едят меня всякие серые волки.

Едят, но недаром же я из-под ели:
Отнюдь не сказать, чтобы так-таки съели.

(«Такою отмечен я долей бедовой...»)

Однако и не сказать, чтобы унялись!..

Тем более что медведь, как за глаза со злобной опаской именовали Твардовского противники, просто, по их понятиям, на рожон лез! Восхищенный солженицынским талантом, не только напечатал несколько его рассказов, трудно проходивших через цензуру, но и думал опубликовать роман «В круге первом» — о заключенных, работавших в так называемых шарашках, секретных научных лабораториях, а то и целых закрытых институтах. Еще в 1964 году с автором был заключен договор, и Твардовский пытался добиться разрешения на публикацию, вновь, как и в случае с «Одним днем...», направив часть рукописи Лебедеву. Тот, однако, на этот

раз высказался о ней крайне отрицательно. А после смещения Хрущева вскоре последовал фактический запрет публиковать произведения на «лагерную» тему.

Другой роман Солженицына, «Раковый корпус», тоже очень понравился Твардовскому, который для ознакомления с ним ездил на несколько дней в Рязань, к автору. Роман казался более «проходимым», но его продвижению воспрепятствовали быстро ухудшавшаяся «репутация» Солженицына и арест его рукописей.

Окончательно все осложнило направленное Солженицыным в мае 1967 года письмо четвертому Всесоюзному писательскому съезду с предложением потребовать отмены цензуры.

Конечно, Солженицын был прав. Твардовский заговаривал о том же еще при своих встречах с Хрущевым по поводу «Одного дня...».

Однако история с письмом съезду, которое было для поэта-редактора полной неожиданностью, впервые ясно обнаружила, что любимый автор с ним, выражаясь мягко, недостаточно откровенен.

Александр Трифонович склонен был объяснять и оправдывать его поступок изъятием рукописей и всей складывающейся вокруг него атмосферой. И сделал все, чтобы случившееся не только не имело для его «подшефного» тяжелых последствий (на чем уже настаивали![1]), но даже открыло бы дорогу «Раковому корпусу». Твардовский добился было решения срочно напечатать в «Литературной газете»

---

[1] В возникшей на секретариате правления Союза писателей острой полемике Александр Трифонович гневно «предлагал» кардинальное решение: «Посадить Солженицына, а заодно и меня, как крестного отца его».

главу из романа с указанием, что полностью он будет опубликован в «Новом мире». Однако от Солженицына требовали, чтобы он предварительно в какой-то форме «отмежевался» от «шума» вокруг его письма съезду, а он не соглашался.

Положение же Твардовского становилось двусмысленным и, в сущности, трагическим. «...Все это идет "заподлицо" (вровень, в уровень. — *А. Т-в*) — и моя судьба, и Солженицына, и "Нового мира"», — записал поэт 5 ноября 1969 года, узнав об исключении Александра Исаевича из Союза писателей. В глазах партийного и писательского начальства Твардовский выглядел человеком, полностью солидарным со своим «выдвиженцем», который, как все больше выяснялось, вел собственную игру, нимало не посвящая в нее того, кто становился ответчиком за все, что бы ни делал его «протеже».

В своей недавней книге «Варлам Шаламов и его современники» Валерий Есипов напомнил о том, что с сентября 1965 года в результате осуществленного КГБ подслушивания разговоров Солженицына с его другом В. Теушем (на квартире последнего) высшее партийное руководство знало о его взглядах и намерениях несравненно больше, чем сражавшийся за него к тому времени уже около пяти лет Твардовский.

И неудивительно, что отныне отношение к поэту-редактору во многом складывалось согласно известному принципу: скажи мне, кто твой друг, — и я скажу, кто ты...

Когда однажды, в том же сентябре, уязвленный неискренностью «крестника», Твардовский запальчиво воскликнул: «Я за вас голову подставляю, а вы!..» — он все же и представить себе не мог, насколько сказанное было справедливо и как во мно-

гом оправдалось в дальнейшей его — и журнала — судьбе.

Сам Солженицын признавал, рассказывая об этой вспышке: «Да и можно его понять: ведь я ему не открывался, вся сеть моих замыслов, расчетов, ходов была скрыта от него и проступала неожиданно».

Непростым было отношение «крестника» к «крестному»!

Поначалу он видел в Твардовском «либерала с партийным билетом» да и с либерализмом-то, «разрешенным сверху».

Но прием, который встретила у поэта рукопись «Одного дня...», его борьба за публикацию, радость при выходе в свет, чуть ли не бóльшая, чем за собственные произведения, нескрываемая влюбленность в новичка, всевозможные заботы о нем да и сама личность Твардовского не могли не возыметь действия. Это явственно ощутимо в автобиографической книге Солженицына «Бодался теленок с дубом», вышедшей уже после смерти Твардовского.

Однако при ее чтении нельзя не ощутить и другого: политические цели, преследуемые автором, «битва» с советской властью, в его глазах оправдывали, обеляли сомнительные средства, им порой применявшиеся, и освобождали от каких-либо моральных обязательств перед людьми, сыгравшими важную роль в его судьбе. Мессианское начало явно превалирует в книге, как и вообще в деятельности ее автора, над естественными, «элементарными» чувствами по отношению к людям, к ближним.

Автор не без иронии пишет о «покровительстве» Твардовского, о том, что поэт считал его менее опытным в литературных и не только литературных делах, пытался руководить его поступками и, как витиевато сказано в «Теленке...», «преувеличивал

соотношение наших кругозоров, целей и жизненного опыта».

Но если поэт «преувеличивал» это соотношение, как прозрачно читается в «Теленке...», так сказать, в свою пользу ради доброй опеки над дебютантом, то последний судил о «покровителе» с нескрываемым превосходством человека, по точным словам Ю. Буртина, «раз и навсегда решенных вопросов», категорического и по-своему авторитарного склада мышления.

Увы, «бедный Трифоныч», «бедный А. Т.», как со снисходительным сочувствием порой выражался Солженицын, не только не сразу распознал многое в характере Александра Исаевича, но так до конца жизни и не узнал, куда покатится «Красное колесо» его новых романов.

На обсуждении горького (и, надо сказать, прекрасного) рассказа «Матренин двор» Твардовский с тревогой и болью воскликнул: «Ну да нельзя же сказать, чтоб Октябрьская революция была сделана зря!»

Главный его собеседник и оппонент, Солженицын, до поры уклончивый, и на сей раз благоразумно промолчал. Ведь, по его-то мнению, революция, как он открыто скажет потом, это «трагическая история, как русские в *безумии* (курсив мой. — *А. Т-в*) сами разрушили свое прошлое и свое будущее». И в «Красном колесе» Солженицын станет обличать «безумие» не только большевиков, у которых, дескать, «вся партия была бандитская», но и всех других сколько-нибудь «левых» или даже кадетов и прочих участников февральского (семнадцатого года) «позора», а заодно и куда более ранних «приготовителей» революции — «Белинских, Добролюбовых», «наблюдателей, баричей» (сиречь писателей-дво-

рян). И будет это все совсем неподалеку от убеждения одного из его друзей по пресловутой шарашке — Панина, что «большевики — это орудие Сатаны, что революция в России была следствием злонамеренных иноземцев и инородцев».

Вспоминая в «Теленке...» вышеупомянутый эпизод и сказанное тогда поэтом: «Так ведь если б не революция — не открыт бы был Исаковский!.. А кем бы был я, если б не революция?..» — Солженицын насмешливо и свысока заметил: «Только эти факультативные (необязательные. — *А. Т-в*) поэтические события и подвернулись ему на язык в ту минуту».

Между тем эти факты «подвернулись»-то на язык просто в качестве очевиднейшей и, как справедливо заметил современный исследователь, «одной из наиболее ярких иллюстраций позитивных, истинно демократических статусных изменений, которые принесла с собой Октябрьская революция».

«Фактически Александр Твардовский говорил в данном случае не о себе, не о своей "успешной карьере"... — пишет Валерий Есипов, — а судьбе всего народа, впервые получившего уникальную историческую возможность социальной и духовной самореализации... творческое явление Александра Твардовского можно считать прямым порождением культурной революции, произошедшей в СССР: без избы-читальни, символа 1920-х годов, без новой литературной среды, возникшей в провинции, и без массового народного читателя он вряд ли бы мог состояться как поэт с той степенью масштабности и поэтической самобытности, какая ему в итоге оказалась присуща»[1].

---

[1] *Есипов В.* Варлам Шаламов и его современники. Вологда: Книжное наследие, 2008. С. 88.

«Мы подобны были, — пишет о себе и Твардовском автор «Теленка...», — двум математическим кривым со своими особыми уравнениями. В каких-то точках они могут сблизиться, сойтись... но их исконная первообразность неминуемо и скоро разведет их по разным путям».

С этим нельзя не согласиться. Доживи Твардовский до более позднего времени, его окончательно «развело» бы с былым крестником, крупнейшим русским писателем, но и одним из главных создателей и проповедников неисторического мифа о «России, которую мы потеряли» (из-за революции) как об идеале и едва ли не путеводной звезде на будущее.

Но покамест, в 1967—1968 годах Александр Трифонович продолжает «подставлять голову», пытаясь добиться разрешения на публикацию «Ракового корпуса». Во многом уже «остыв» к автору, тем не менее настойчиво повторяет (в письме Федину), что «он занимает нас уже не просто сам по себе... а потому, что волею многосложных обстоятельств... находится в *перекрестии* двух противоположных тенденций общественного сознания и нашей литературы, устремленных либо *туда*, назад, либо *сюда*, вперед — в соответствии с необратимостью исторического процесса...».

Он высказывает свое твердое убеждение: «Опубликование "Ракового корпуса", которое само по себе явилось бы событием литературной жизни, рассосало бы образовавшуюся из задержанных рукописей "пробку", как это бывает на дороге, когда головная машина тронется. Это было бы бесспорным благом для советской литературы на нынешнем ее, скажу прямо кризисном, весьма невеселом эта-

пе, разрядило бы атмосферу глухой "молчанки", тяжелых недоумений, неясности, бездейственного ожидания...»

Увы, ко всем этим аргументам остаются глухи и в так называемом Доме Ростовых на Поварской (тогда улице Воровского), где восседает руководство Союза писателей, и на Старой площади, в ЦК.

Там покойного Поликарпова, прямолинейно ортодоксального, но лично честного и, при всех несогласиях, к Твардовскому расположенного, сменил В. Ф. Шауро, по выразительной характеристике, данной ему Кондратовичем, «руководитель совсем иной формации, созревавшей еще при Хрущеве и окончательно сложившейся ...как тип при Брежневе».

Замечателен разговор, вскоре произошедший у Шауро с всенародно известным поэтом!

— Вы отстали от жизни, не знаете ее.

— Это вы не знаете, — сказал Александр Трифонович.

— Нет, я знаю, я бываю на собраниях.

Когда же в октябре 1967 года Шауро стал повторять о Солженицыне заведомую ложь, Твардовский резко пристыдил его и — получил в ответ обещание, что еще пожалеет о сказанном.

Не утаил поэт своего мнения и о поведении — пусть и номинального — главы Союза писателей Федина, чья позиция, по словам Твардовского, это — «не только оставить без внимания все, о чем взывает "Письмо" (съезду. — *А. Т-в*), но и предать самого Солженицына политическому остракизму, несмотря на никем не оспариваемую — ни в одном пункте — сущность его "крика души"».

«Слышать от Вас, Константин Александрович, друга А. М. Горького и продолжателя его традиций в

руководстве литературой, слова этого Вашего предложения представляется странным и непонятным, — с почти не скрываемым гневом говорится в письме Александра Трифоновича Федину (7—15 января 1968 года). — ...Кроме того, уж совсем между нами говоря, Вам не хуже, чем мне, известно, что мировая история литературы не знает примеров, когда гонения или нападки на талант, с чьей бы то ни было стороны, даже со стороны таланта же, — увенчались успехом».

Твардовский и раньше пытался воззвать к совести маститого писателя, который вдобавок к своей обычной сверхосторожности еще и явно взревновал к успеху Солженицына, этой поистине «беззаконной кометы в кругу расчисленных светил» литературной «номенклатуры».

— Помирать-то будем, Константин Александрович, — проронил Александр Трифонович на одном из обсуждений «вопроса».

После его письма «беспартийная руина», как однажды в сердцах назвал Твардовский Федина, имея в виду не столько возраст, сколько очевидную творческую бесплодность[1], проявил завидную прыть и активность и получил аудиенцию у самого Брежнева.

«Была трехчасовая беседа, — записал Кондратович. — Нетрудно предположить, что комплиментов по нашему адресу, по адресу А<лександра> Т<рифоновича> Федин не произносил. Возможно, цитировал или ссылался на письмо А. Т., соответственно комментируя его. В общем, добра не жди, гадостей — пожалуйста».

---

[1] Печатавшийся в «Новом мире» роман К. А. Федина «Костер» лишь «чадил» на его страницах, и очередные главы уже сдавали в набор... не читая.

И верно, еще пущим холодом потянуло. Это сказывалось во всем.

Как раз в эти же дни умер давно угасавший Овечкин. «Даже если мы волей-неволей уже свыкаемся с мыслью о безнадежном состоянии дорогого нам человека — все равно весть о его смерти наносит нам свой как бы внезапный удар, — писал Твардовский. — ...Сегодня за чертой, отделившей от нас живого и работающего писателя, мы вправе считать "Районные будни" его "главной книгой", которую, бесспорно, никогда не обойдет стороной история советской литературы».

Этот некролог поэту заказали «Известия», но потом «ушли в кусты»: «Мало ли что он напишет, еще и про "Новый мир" вставит и про то, что "Районные будни" именно там печатались!» Твардовский позвонил главному редактору «Правды». Нет, нет, у них некролог уже есть! То же повторилось в «Литературной газете».

«Я уже не помню, когда стихи свои мне так приходилось пристраивать, как этот некролог», — заметил Александр Трифонович.

В марте 1968 года погиб Юрий Гагарин. Взволнованный поэт откликнулся на горькую весть стихами. Тот же главный редактор «Правды» Зимянин через сотрудника попросил снять «очень печальную» строфу, получив отказ, позвонил сам. Твардовский был в ярости:

— Так само по себе событие невеселое! Я пишу стихи уже сорок лет и знаю, что хорошо и что плохо. И что нужно, знаю. Почему вы думаете, что знаете лучше меня? Откуда у вас такая уверенность? ...Вы хотите добавить патриотизма, хотите, чтобы я дописал обязательные стенгазетные слова? Я этого

делать не буду... Не печатайте стихи. Нет, я не хочу печататься в вашей газете.

Больше ему из «Правды» не звонили. Зачем иметь дело с человеком, который, как возмущался Демичев, считает, что процесс демократизации замедлился, и которому нужна еще какая-то правда, тогда как она вся уже сказана партией?

И если уж до «Нового мира» доходят слухи, что то какой-нибудь член Политбюро, то сам Брежнев «в узком кругу» не скрывают, что снятие Твардовского «дело решенное», то уж правдисты не менее информированы!

Теперь, когда обнаружилось многое из происходившего в партийном закулисье, стало, в частности, известно из записки от 6 августа 1969 года одного из заместителей завотделом культуры ЦК, что еще в мае 1968 года по докладу отделов культуры и пропаганды было поручено обсудить вопрос о руководстве журнала, «имея в виду новые кандидатуры на пост главного редактора и его заместителей».

А тут «Новому миру» опять вышла боком близость с Солженицыным, когда выяснилось, что его начали печатать за границей (чему Александр Исаевич отнюдь не противился).

Вдобавок военная «верхушка» возмутилась опубликованной в журнале повестью И. Грековой «На испытаниях» («дегероизация!» «клевета на армию!!»). Последовал залп разносных статей — в «Красной звезде», «Литературной России», даже журнал Академии наук «Русская речь» внес свою «лепточку».

Запретили (и, как оказалось, на много лет) спектакль Театра на Таганке по другому «новомировскому» произведению — можаевской повести о Федоре Кузькине. Тут и постановщик «удружил». «Когда актерам положено выходить на аплодисменты, они

выходят все с номерами “Нового мира” и читают его, уткнувшись в номер», — записал после просмотра, так называемого прогона, Кондратович. А присутствовавший там же критик А. Лебедев мрачно сказал ему: «Вы — внутренняя Чехословакия, и сейчас нет лучшего момента вас разогнать».

В редакцию явилась комиссия — «проверять партийную работу», допытывалась, почему журнал не отвечает на критику в печати и на похвалы в зарубежных изданиях, и — вдруг исчезла. «Ждут указаний», — прокомментировал Александр Трифонович.

В ЦК напустились на новомирскую публицистику, и часть тиража пошла под нож из-за статьи... о Гитлере: «Написано так, что возникает много аналогий с нашей партией...» В результате номер вышел с трехмесячной задержкой и более чем на четверть урезанный. «Когда выйдет такой номер, израненный, окровавленный, всякий поймет, что была борьба и мы не сдались», — говорил Лакшин.

«Я должен прямо сказать, что идет удушение журнала», — заявил Твардовский посетившим редакцию Маркову с Воронковым. Те юлили, «сочувствовали», предлагали ему идти к Демичеву... к Кириенко... к Суслову. «Ну, вижу, что ничего не могут, — подытожил Александр Трифонович. — Плыви сам и тони сам».

Демичев же безбожно тянул с «аудиенцией». Он был зол на поэта, который однажды уже «рубанул»: «Я вам не верю, вы говорите одно, а потом все получается по-другому».

Тогда Твардовский позвонил и написал аж «самому». Брежнев откликнулся, позвонил, был любезен и доброжелателен (давно, мол, хотел встретиться). Пообещал вскоре принять.

«Какое ликование было в редакции, — записывал в дневнике Лакшин, — женщины, прознав о звонке, едва не целовались и ходили все улыбающиеся с раскрасневшимися лицами. Кто знает, может быть, журнал наш еще потянет?»

Но чуть позже: «Фон для беседы нехорош. С Чехословакией дела все грознее».

И всё же ждали звонка. Целыми днями. «Всё еще верили!» — горько вспоминал Кондратович.

Но грянула августовская «страшная десятидневка», и обещанная встреча так и не состоялась.

Да Твардовский ее уже не добивался и не хотел: «Нам не о чем говорить».

Глава одиннадцатая

РАСПРАВА

Мы подошли к самому трагическому периоду в истории «Нового мира».

«Вчера, — записал Кондратович 22 августа 1968 года, — настаивали из райкома, чтобы мы провели собрание в поддержку действий наших войск и правительства. Долго спорили... Что делать? Не проводить? Значит, сразу же партбилеты на стол, и конец журналу. Мы все думаем, что даже в этой тяжкой обстановке журнал дороже. Он важнее всех нас вместе взятых... Я не хочу оправдывать себя или других, но в нашем положении идти на самоубийство бессмысленно» («Новомирский дневник»).

Действительно, после отказа Твардовского поддержать августовскую акцию аналогичное решение редакционного коллектива было бы равносильно немедленной гибели журнала в его тогдашнем виде. Лучшего оправдания для немедленной расправы с ним и быть не могло.

Солженицын, испытывавший, по его словам, «боль и стыд» за то, что новомирцы «капитулировали» вместо того, чтобы открыто осудить вторжение (чего, кстати, он сам не сделал!), прекрасно это понимал, но все же заявлял: «Закрыться тогда — было ПОЧЕТНО!»

Его не смущала неминуемая утрата страной в таком случае «единственного честного свидетеля современности», как сам же характеризовал журнал, «единственного источника свежего воздуха», каким был «Новый мир» не для одного автора этих слов — генерала-диссидента П. Г. Григоренко, непримиримо при всей уважительности тона спорившего с Александром Исаевичем.

По утверждению последнего, журнал Твардовского все равно уже больше не был прежним и, так сказать, заживо умер.

Конечно, писал Кондратович, вспоминая последние полтора года существования *своего* журнала, «под жутким прессом мы не могли говорить полным голосом...». И однако именно тогда напечатали записки Твардовского «С Карельского перешейка», «Белый пароход» Айтматова, «Круглянский мост» Быкова, «Обмен» Трифонова, «Неделю как неделю» Н. Баранской, «Юность в Железнодольске» Н. Воронова, «Три минуты молчания» Г. Владимова, «Пелагею» Ф. Абрамова (да и его «Деревянные кони», опубликованные уже после ухода Твардовского, были подготовлены до!); напечатали целый ряд значительных статей — И. Борисовой (впервые подробно рассматривавшей прозу Виктора Астафьева), В. Кардина, В. Лакшина, Ю. Манна, И. Соловьевой, новичка на новомирских страницах — И. Деդкова, статей часто остро полемической направленности (Г. Березкина о сталинистской поэме Сергея Смирнова, А. Берзер, М. Злобиной, С. Рассадина); по-прежнему в публицистике горячо ратовали за экономические реформы А. Бирман, П. Волин, В. Канторович, Г. Лисичкин, О. Лацис, А. Стреляный.

По меткому суждению Григоренко, «теленок» бодался не только с «дубом» режима, но и с опекав-

шим писателя «Новым миром». Некогда, восхищенный «Одним днем Ивана Денисовича», Маршак сравнил его автора с огнем, слетевшим на разложенный костер журнала. Горько и больно это говорить, но впоследствии «огонь» был к своей родине-костру не только довольно равнодушен, даже когда любимое детище Твардовского разметали силой, но сам изображал его если не в черных, то в серых тонах.

И поскольку нам, читатель, увы, вскоре предстоит расстаться не только с поэтом, но и с его ближайшим окружением, не замолвить ли несколько слов в их защиту?

Как это ни покажется парадоксальным, но Солженицын, подобно тогдашнему партийному руководству, постарался отмежевать Твардовского от его сотрудников и помощников (чем, кстати, потом не замедлили воспользоваться авторы совсем уж низкопробных сочинений; как говорится, куда конь с копытом, туда и рак с клешней).

Александр Исаевич весьма ехидно живописует этаких «трех хранителей Главного — Дементьева, Закса, Кондратовича» — понимай: не то от идеологических ошибок, не то от настырных авторов, не то вообще от жизни, от «подпора» идущих снизу (и от самих пишущих, и от менее «сановных» сотрудников) идей и рукописей.

В кажущемся «симпатягой, еле сдерживающим свое добродушие» Дементьеве автор «Теленка» сразу заподозрил «недоброго духа» Твардовского: у него «миссия» (знамо, откуда — от высшего начальства) не позволить шефу оступиться «с проверенного мощеного пути».

Что ж, в ленинградском прошлом Александра Григорьевича Дементьева, особенно в пору борьбы с «космополитизмом», были грехи, и, возможно, при

его приходе в «Новый мир» в нем видели этакого Фурманова при Чапае-редакторе. Но «комиссар», как его честит Александр Исаевич, искренно полюбил Твардовского и все свое немалое дипломатическое искусство пускал в ход, дабы уберечь от бед и угроз и великого поэта, и журнал. В грозу 1954 года он доказал свою верность и преданность «костру». «Вчера, — записал К. Чуковский 15 июня 1954 года, — Федин рассказывал, что, когда Поспелов вызвал к себе редакцию "Нового мира" — по поводу нового "Тёркина", — смелее всех держался Дементьев». Александр Трифонович очень ценил АлГрига, как сокращенно его именовал, хотя и любовно подтрунивал временами над его хитроумием и оглядчивостью.

А вот портрет Алексея Ивановича Кондратовича солженицынской «кисти»: «...маленький, как бы с ушами настороженными, дерганный и запуганный цензурой... его неосновательность и несамостоятельность видны были мне с летучего взгляда». (К слову сказать, не слишком ли многое вообще характеризуется автором «Теленка» с такого взгляда?[1] «Отвратительный язык. Все придумано» — «проглядев несколько страниц» пастернаковского «Доктора Живаго», или: «Это не русский язык, а одесский жаргон» — на основании цитаты из чьей-то рецензии на книгу Бабеля.)

Мало того что Алексей Иванович, для нас, авторов — Алеша, души не чаял и в журнале, и в его главе, в которого был прямо-таки по-мальчишески

[1] Несколько лет спустя в книге «Угодило зернышко промеж двух жерновов» Александр Исаевич и сам признáет, что «о внутренней обстановке "Нового мира"... судил по слишком беглым своим, всегда на лету, впечатлениям».

влюблен и о котором впоследствии написал хорошие книги. Этот «запуганный» мог в ответ на требование откликнуться на очередное партийное мероприятие самому Поликарпову «ляпнуть»: «Не каждый же раз обедню служить!» — да и с цензорами постоянно схватывался. И — в отличие от Александра Исаевича — его уважали и те, и Поликарпов, который, повозмущавшись и «поволтузив» Алешу, мог в заключение неожиданно сказать: «А у вас в "Новом мире" все-таки не дураки работают...»

И не лучше ли всех сказал о Кондратовиче Григоренко: «Сколько ума, мужества и изворотливости надо, чтобы вести линию примерно в избранном направлении среди грозных цензурных скал... Я преклоняюсь перед такими людьми, хотя сам неспособен на подобную гибкость. Но без таких "гибких", что бы делать "несгибаемым"? Именно гибкие нащупывают в сплошной тьме те площадочки, на которые можно было бы опереться "несгибаемым". Давайте, Александр Исаевич, воздадим должное стремящимся к лучшему "гибким"»[1].

Владимиру Лакшину в «Теленке» вроде бы повезло больше, но и тут при чтении на ум приходит незабвенное собакевичевское: «Один там только и есть порядочный человек... да и тот, если сказать правду...»

Однако погрузимся вновь в тяжкую «послеавгустовскую» атмосферу.

На осеннем пленуме ЦК про «Новый мир» не забывали. Секретарь Краснодарского крайкома Золотухин напомнил, что журнал уже не раз «справедливо» критиковали, а он опять — за свое: в то время как положение в сельском хозяйстве стало хорошим

---

[1] Из письма к Солженицыну 20—26 июня 1975 года // Общая газета. 1995. 19—25 января.

(!!), публикуются «Плотницкие рассказы» Василия Белова, по-прежнему рисующие деревню в мрачных красках. Призвал к ответу автора этой прекрасной повести (а с ним и «Новый мир»!) и другой оратор, возможно, обидевшийся за выведенную там «родственную душу» — «старого активиста», который, по собственному горделивому выражению, «в части руководства ни с чем не считался» и не только колокола с церкви «спёхивал» (заодно и малую нужду с колокольни справляя), но и людей заставлял «кровавой слезой» плакать, с азартом раскулачивая соседей.

— Сплошная тьма надвинулась, — сказал, выслушав новости, вернувшийся из отпуска Твардовский.

А при встрече с Воронковым услышал: «Положение очень серьезное — вашей крови хотят некоторые там», а также переданные «по секрету» слова Шауры: «Он окружил себя разными...»

Воронков настоятельно советовал просить о встрече с Брежневым. Пришлось снова писать «на высочайшее имя». ...Шли дни, но, как записывал поэт, «оттуда — ни звука».

Самые мрачные впечатления вынес он после заседания «вурдалачьей стаи» секретариата правления, а находясь в Кунцевской больнице, — из разговоров с соседом по палате, по его характеристике, типичным «звеном» руководящего аппарата.

«...Убегает, убегает от малейшего наклонения разговора в серьезную сторону, — записывал поэт (18 февраля 1969 года). — Окончил ИКП (Институт красной профессуры. — *А. Т-в*) по экономическому факультету... международник, секретарь комиссии Верх<овного> Совета по иностр<анным> делам и т. д. Но, боже мой, живет представлениями обо всем на уровне информации “Правды”».

Этот Федор Степанович с упоением рассказывал о своей даче — и, к негодованию Александра Трифоновича, одновременно «в любой день и час мог прочесть лекцию-филиппику против погибельной привязанности тетки Дарьи к приусадебному участку, корове и т. п. и мог оформить и "доложить" любой проект утеснения тетки Дарьи... "Нет, знаете, я против частной собственности"».

Такой вот, по горестному заключению поэта, «представитель той силы, которая в сущности во многом, почти во всем определяет сейчас наше развитие».

Из-за задержки материалов журнал по-прежнему все время оказывался «на мели»: декабрьский номер вышел в конце февраля, январский, новогодний пошел в печать только в начале марта.

На секретариате ЦК было принято постановление, внешне выглядевшее как ослабление и чуть ли не отмена цензуры, но Твардовским сразу воспринятое «лишь как дополнительная форма зажима». Слова о «повышении ответственности редакторов и организаций, органами которых являются издания», по его мнению, означали, что журналам определен «в дядьки» Союз писателей, практически секретариат правления СП. А цензурные инстанции оставались живехоньки, только главным образом обязывались заботиться о сохранении военной и государственной тайны.

«Все-таки, значит, могут заниматься и не одной охраной тайн», — умозаключил Кондратович, больше других имевший дело с пресловутым Главлитом. Дальнейшее показало, что Алеша был прав: вынужденные «контакты» со старыми знакомыми, весьма язвительно охарактеризованными в его дневнике, ничуть не ослабевали.

Что касается «ответственности организаций», то на очередном после постановления заседании писательского секретариата, как насмешливо сказано в рабочей тетради поэта, «все начали доказывать с горячностью друг другу, что Секретариат не может и не должен *читать* — иначе ему некогда будет *работать* — и не должен брать на себя ответственность, которая есть привилегия самих журналов, их редакций».

«Прошло всего неск<олько> месяцев с той так назыв<аемой> реформы положения о цензуре — и все, как и следовало ожидать, возвратилось к прежнему порядку, — записал позже Лакшин. — Редакция бесправна, Союз писат<елей> — безучастен, а малейшее сомнение цензура решает, передавая материалы, как это и бывало прежде, в Отдел (ЦК. — *А. Т-в*). Новость только та, что происходит это перекидывание материалов в еще более густой неопределенности и тайне».

Было ясно, что «ответственное» руководство Союза писателей будет и дальше послушно следовать подсказке сверху. А за ней дело не стало.

Двадцать пятого января 1969 года Воронков записал: «Звонил К. А. Федин. Сказал, что сегодня более четырех часов провел в отделе ЦК КПСС. Состоялась очень интересная и важная беседа по многим вопросам литературным и о делах Союза писателей». Подробности дневнику доверены не были, хотя, судя по новой записи 10 февраля, «К. А.» говорил, что «прежде всего, стоило бы просмотреть редакционные коллегии, укрепить кадры».

Словом, не в результате ли «очень интересной» беседы в ЦК Твардовскому в марте было предложено пополнить редколлегию уже намеченными секретариатом персонами? Среди них значились не

только просто неизвестные поэту люди, но и слишком хорошо знакомые, совершенно одиозные фигуры вроде «отличившегося» как во время травли «Литературной Москвы», так и в «деле» Синявского и Даниэля Дмитрия Еремина, и те, чьи книги резко критиковались на страницах журнала (Владимир Чивилихин), и совершенные ничтожества, зато «с прекрасным поведеньем», как «активная общественница» Лидия Фоменко, всегда действовавшая «с верным прицелом», как называлась хвалебная рецензия на одно ее сочинение.

Твардовский категорически не согласился на такое «укрепление» и настаивал на возвращении в редколлегию Дементьева и утверждении своим заместителем Лакшина, который уже фактически исполнял эту обязанность и в котором Александр Трифонович видел своего преемника.

Давление на журнал усилилось. 5 марта «Литературная газета» поместила — с соответствующими комментариями — письмо очередных «земляков» (вспомним историю с яшинской «Вологодской свадьбой»!) — на сей раз магнитогорцев, которые «глубоко возмущены» повестью Николая Воронова «Юность в Железнодольске». (Они — а по правде, те, кто подбивал их на «протест», — еще раньше пытались прервать эту журнальную публикацию.) На следующий же день «Правда» не только поддержала «Литгазету», но напомнила, что «Новый мир» уже неоднократно подвергался критике, и подытожила: «Общественность вправе ожидать, что редакция... наконец сделает верные выводы из этой критики».

«Меня встречают, звонят мне, — записал несколько дней спустя Кондратович, — и я видел, слышу соболезнования, сочувствие. Так говорят с безнадежно больными, с теми, кому вот-вот умирать».

— Наступают последние времена, — сказал и Твардовский, «крупно», не стесняясь в выражениях, поговорив с заведующим отделом печати ЦК А. Беляевым.

Тем временем «Литературка», как ее называли в обиходе, перенесла огонь на новомирскую критику, а позже на новую повесть Василя Быкова «Круглянский мост».

«Укрощенный» же Главлит снял статьи о Чернышевском, об экономической политике нэповских времен и о борьбе большевистской партии... с царской цензурой. («Есть аналогии», — сказал глава советской.)

Но Твардовский «выводов» все не делал! И тогда, наконец, 14 мая Воронкова уполномочили передать ему предложение подать в отставку...

«Посол» сказал, что это предложение отдела ЦК согласовано с Демичевым, намекал на всякие беды, которые могут последовать в случае непослушания, и посулил отступное — 500 рублей в месяц как одному из секретарей правления Союза писателей, без необходимости появляться на «рабочем месте».

Неизвестно, помнили ли соблазнявшие поэта этой щедрóтой строки из книги «За далью — даль», где он, говоря о пугающей возможности (впрочем, для него-то совершенно гипотетической!) утратить доверие читателей, с горестным сарказмом заключал:

Тогда забьюсь в куток под лавкой
И затаю свою беду.
А нет — на должность с твердой ставкой
В Союз писателей пойду...

Это были страшные дни. Давно надорванный многолетней, постоянной борьбой, поэт заколебался и, оказавшись во власти своего старого злого не-

дуга, готов был счесть дальнейшее сопротивление безнадежным («Насильно мил не будешь», — повторял Александр Трифонович).

В ту пору, встретившись со мной, он «вдруг» сказал:

— А вы, Андрей Михайлович, мало написали о конце «Отечественных записок»! — имея в виду книгу о Щедрине.

А думал-то о судьбе собственного детища, трагически напоминавшей мытарства «предка».

И сам был истерзан, как его великий «коллега», еще до запрета «Отечественных записок» (получавших одно цензурное предупреждение за другим) производивший, по словам современника, «впечатление какого-то судна с разорванными парусами и снастями, перенесшего только что жестокую бурю».

Дело было в Пахре. Я пошел проводить Александра Трифоновича. Идем, разговариваем, сворачиваем на улочку, где стоит его дача, и вдруг он резко останавливается: смотрю и вижу черную «начальственную» «Волгу». Видно, опять по его душу незваные гости с уговорами!

Однако ближайшие сотрудники Твардовского были решительно против его ухода и обещали, что в этом случае немедленно подадут заявления об отставке. И Мария Илларионовна, как всегда в тяжкий час, поддерживала и ободряла мужа. «Ино еще побредем!..» — вспоминалось аввакумовское.

Александр Трифонович сказал Воронкову, что о «должности с твердой ставкой» и речи быть не может и судьба журнала должна стать предметом серьезного обсуждения на секретариате: «Пусть мне объяснят, за что меня снимают!»

Но вот этого-то — сущего минимума демократии и гласности! — «верхи» и не хотели. Им досаж-

дало, мешало уже то, что о возможном уходе Твардовского вовсю, по радио и в печати, заговорили «за бугром», как тогда выражались, — за границей, а в редакцию пошли письма с настоятельными просьбами не покидать журнал.

Пришлось отступить, а скорее — помедлить!

Летом «бомбежка» журнала и его главы началась с новой силой. И первой мишенью стали опубликованные в февральском номере записки «С Карельского перешейка» Твардовского. Сказанная там горькая правда о «незнаменитой» войне резко контрастировала с возобновившимся в ту пору замалчиванием подобных страниц истории, в частности проявившимся в мемуарах маршала К. А. Мерецкова «На службе народу» (подписанных в печать 2 января 1969 года). В них о первых, неудачных месяцах этой войны говорилось очень глухо, а уж «большие потери» и «очень большие потери» вообще, оказывается, были только у противника!

«Кому это нужно?» — называлась рецензия подполковника запаса Н. Афанасьева на записки Твардовского, напечатанная в журнале «Коммунист Вооруженных сил» (1969. № 12). Это был орган Главпура (Главного политического управления Советской армии), возглавлявшегося характернейшей фигурой того времени — генералом А. А. Епишевым. Генеральское звание он получил с назначением на эту должность, а впоследствии, в 1978 году, стал (хочется сказать: был назначен)... Героем Советского Союза. Уж не за «героическую» ли борьбу с правдивой литературой (да и кинофильмами) о Великой Отечественной войне, в частности — с публиковавшейся в «Новом мире», и даже с «Тёркиным», переизданию которого он всячески препятствовал?!

Именно будущий «герой» и подписку в армии на «крамольный» журнал запретил, и был одним из главных доносчиков на него. Еще в ноябре 1966 года на заседании Политбюро Брежнев, возмущаясь новомирскими статьями, не скрывал источника своих «познаний»: «На днях мне об этих и других фактах рассказывал т. Епишев».

«Грубая епишевская брань, с охватом проблемы руководства журнала», как определил поэт афанасьевскую статью, весьма пришлась к месту, хотя Александр Трифонович и думал: «В общей печати вряд ли еще возможна была бы такая "выдача" мне». Увы, он ошибался.

Наступление развивалось по всем направлениям.

Шестнадцатого июля «шеф» Главлита Романов направил в ЦК весьма пространное письмо, где информировал, что за первую половину года редакция «Нового мира» «подготовила и опубликовала... ряд материалов, в которых тенденциозно, неправильно освещались отдельные вопросы современности, истории, экономики и политики советского общества, а также с позиций, преследующих групповые цели, некоторые явления в литературе». Это материалы «в основном критического содержания по отношению к нашей действительности».

Сообщалось, что цензура была вынуждена снять из июньского номера стихи главного редактора (имелась в виду поэма «По праву памяти»), что в очерке Е. Дороша «Иван Федосеевич уходит на пенсию» «проводится мысль о возврате к доколхозным формам труда», «искаженную картину развития Советского государства за 50 лет» дает статья О. Лациса «Опыт полувека», Г. Лисичкин неверно трактует ленинский план кооперации и его судьбу, и т. д. В заключение же говорится, что все это «лишь наиболее

серьезные замечания, других замечаний было значительно больше».

Не по закону ли «сообщающихся сосудов» тут же после этого сугубо «служебного» документа печать так и взъярилась?

Двадцать шестого июля, когда поэт находился на лечении в Кунцеве, к нему один за другим кидались, как он записал, «знакомые и незнакомые с раскрытыми в ужасе ртами»: в больнице «рвали из рук в руки» свежий номер «Огонька» (1969. № 30), который редактировал в ту пору А. Софронов, со статьей «Против чего выступает “Новый мир”? Письмо в редакцию».

Непосредственным поводом для ее появления была статья А. Дементьева «О традициях и народности (Литературные заметки)» в апрельской книжке «Нового мира» за 1969-й, который из-за обычных цензурных мытарств поступил к читателям лишь в июне. Автор подробно анализировал содержание журнала «Молодая гвардия», приобретавшего все более откровенный националистический характер[1].

---

[1] Чтобы современный читатель мог понять, в чем состояло обвинение в «националистическом характере» содержания журнала, следует хотя бы кратко объяснить первопричину полемики. В 1965 году художник П. Корин, скульптор С. Коненков, писатель Л. Леонов обратились к молодежи с письмом «Берегите святыню нашу!», напечатанным в майском номере «Молодой гвардии» к 20-летию Победы. Напоминая об исторических истоках проявленного в войне патриотизма, авторы письма призывали бережно относиться «к прошлому, к истории, к народным героям, к заветам и победам предков наших», выражали обеспокоенность тем, что уничтожаются храмы, предметы культового искусства, другие национальные памятники. По решению Совета министров РСФСР было создано Всероссийское добровольное общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). В журнале начали публиковаться разнообразные материалы соответствую-

Не лишенная определенных идейных стереотипов того времени, статья, однако, верно предупреждала о той опасности, которая многим стала ясна значительно позже.

С ответом Дементьеву выступил весьма примечательный «коллектив». «Письмо одиннадцати», как его вскоре окрестили, подписали Михаил Алексеев, не раз критиковавшийся на страницах «Нового мира», Виталий Закруткин, Сергей Смирнов, Владимир Чивилихин, Николай Шундик, у которых в этом отношении тоже был «зуб» на журнал, заместитель главного редактора «Молодой гвардии» Анатолий Иванов, а также Сергей Викулов, Сергей Воронин, Сергей Малашкин, Александр Прокофьев и Петр Проскурин.

Подписать-то они подписали, но... из опубликованных уже на рубеже веков мемуаров критика, в прошлом заведовавшего отделом в «Молодой гвар-

---

щей тематики, к примеру, «Господин Великий Новгород» Д. Балашова, «Письма из Русского музея» В. Солоухина, рассказывающие об отеческой старине, народных традициях, гибельности исторического беспамятства (в это же направление влилась «деревенская» проза). Особое неприятие А. Дементьева вызвали статьи В. Чалмаева «Великие искания» и «Неизбежность» (Молодая гвардия. 1968. № 3, 9), где приводились высказывания дореволюционных мыслителей В. Розанова, К. Леонтьева, содержались иносказательные апелляции к «священному идеализму» (читай: православию). Опираясь на цитаты из Ленина, Дементьев сравнивал статьи Чалмаева с антибольшевистской «социал-шовинистической печатью», иронизировал над «витийственным церковным красноречием» автора; мелькали определения «сектантство», «мужиковствующие» и пр. Содержание и тон дементьевской статьи вызвали ответное открытое письмо «Против чего выступает “Новый мир”?» (где тоже без Ленина не обошлось — знак времени), названное в критике «Письмом одиннадцати». — *Прим. издательства.*

дии», Виктора Петелина «Счастье быть самим собой» (М., 1999) сделалось известным, что первоначальный текст письма принадлежал перу его и нескольких других коллег тех же взглядов. Но, жалуется мемуарист, «мы остались в тени, а все подписавшие это "Письмо" впоследствии получили лауреатские звания Героев соц. труда». Весьма небезынтересное свидетельство!

Что же все-таки эта компания писала или подписывала?

В письме отнюдь не ограничивались изобильными обвинениями А. Дементьева в том, что он, «выступая на словах в защиту истинного патриотизма... не упускает случая поиздеваться надо всем, что связано с любовью к отчим местам, к родной земле, к деревне» и «весь свой критический запал направляет против тех произведений, которые отстаивают традиции русской и других национальных культур, идеи преемственности поколений, народно-революционной борьбы, советского патриотизма».

Вот что сказано обо всем журнале в целом:

«Мы полагаем, что не требуется подробно читателю говорить о характере тех идей, которые давно уже проповедует "Новый мир"... Всё это достаточно хорошо известно. Именно на страницах "Нового мира" печатал свои "критические" статьи А. Синявский. Именно в "Новом мире" появились кощунственные материалы, ставящие под сомнение героическое прошлое нашего народа и Советской Армии... глумящиеся над трудностями роста советского общества (повести В. Войновича "Два товарища", И. Грековой "На испытаниях", роман Н. Воронова "Юность в Железнодольске"). Известно, что все эти очернительские сочинения встретили осуждение в нашей прессе. В критических статьях

В. Лакшина, И. Виноградова, Ф. Светова, Ст. Рассадина, В. Кардина и других, опубликованных в "Новом мире", планомерно и целеустремленно культивируется тенденция скептического отношения к социально-моральным ценностям советского общества, к его идеалам и завоеваниям».

Прочитав все это, Твардовский записал: «Ну, подлинно, такого еще не бывало — по глупости, наглости и лжи и т. п. ...это самый, пожалуй, высокий взлет, гребень волны реакции в лице литподонков, которые пользуются очевидным покровительством...»

В самом деле, не говоря уже о вторящих официозной критике и явно несправедливых оценках названных в «Письме» произведений, как можно было «упустить из виду» только что напечатанные в «Новом мире» проникнутые любовью к родной земле и болью за нее «Две зимы и три лета» Федора Абрамова (1968. № 1—3), «Плотницкие рассказы» Василия Белова (1968. № 7), повести Василя Быкова «Атака с ходу» и «Круглянский мост» (1968. № 5; 1969. № 3) и Виктора Лихоносова «На улице Широкой» (1968. № 8), рассказы Василия Шукшина (1968. № 11), — словом, подобно персонажу знаменитой крыловской басни, «слона-то... и не приметить»? Всего, что, и правда, *проповедовалось* со страниц журнала!

Что же до разнообразных культурных традиций и их преемственности, об этом много писал постоянный автор «Нового мира», а с недавних пор и член редколлегии Ефим Дорош. В его «Размышлениях о Загорске» (1967. № 5) с величайшим уважением говорилось о Сергии Радонежском и других, как он писал, «выдающихся деятелях и блестящих умах» среди православного духовенства, а в статье «Обра-

зы России» (1969. № 3) восславлялась древнерусская культура и в ее исконной крестьянской природе, и в плодотворных связях с европейскими «соседками». Да разве не было на страницах журнала и вдумчивой статьи Даниила Гранина о Петре Первом «Два лика» (1968. № 8), и выступлений академика Н. Конрада, Д. Лихачева, историков А. Каждана, В. Кобрина и других?

Лишь с одним в «Письме одиннадцати», как отметила впоследствии дочь поэта, историк В. А. Твардовская, можно согласиться, с тем, что «Новый мир» — это журнал, пытающийся, «говоря словами В. И. Ленина, "согнуться до точки зрения *общедемократической* вместо точки зрения пролетарской"», — с той поправкой, что на деле как раз подняться до общечеловеческой точки зрения и утверждения приоритета общечеловеческой, а не классовой морали.

С поразительной «оперативностью», в тот же день, когда вышел этот тридцатый номер «Огонька», его выступление уже поддержала газета «Советская Россия», позже — «Литературная Россия» и «Ленинское знамя», партийный орган Московской области.

А «Социалистическая индустрия»[1] решила сделать собственный вклад в развитие «эпистолярного жанра» и 31 июля напечатала «Открытое письмо главному редактору журнала "Новый мир" А. Т. Твардовскому» Героя Социалистического Труда, токаря Подольского механического завода Н. Захарова:

«Создается впечатление, что Вы, Александр Трифонович, не видите, какие люди вокруг Вас вырос-

---

[1] Литературный отдел там возглавлял С. Высоцкий, чью повесть «Спроси зарю», в частности, критиковал А. Дементьев в своей статье.

ли. Очерков о рабочем классе нет в “Новом мире”... почти вся проза про деревню, да и очерки тоже. Только деревня в Вашем журнале выглядит чаще всего мрачной и неуютной.

...Кто дал право некоторым Вашим авторам издеваться над самыми святыми чувствами наших людей? Над их любовью к родине, к дому своему, к березке русской?»

Не унимается и «Советская Россия»:

«В самом деле, почему наши идейные противники так настойчиво расхваливают советский журнал “Новый мир”? ...Неужели главный редактор А. Т. Твардовский, коммунисты редакции и на этот раз не задумаются над тем, почему их позиция в литературе и общественной жизни вызывает столько радости в стане антисоветчиков, почему ни один другой советский печатный орган не пользуется таким “кредитом” у буржуазных идеологов, как “Новый мир”?»

И в заключение: «Советская общественность знает, что это заигрывание буржуазной пропаганды с “Новым миром” идет давно. Кажется, флирт слишком затянулся».

«Не схожу ли я с ума? — записывает Александр Трифонович без четверти два часа ночи 12 августа 1969 года. — ...Нет сил быть подробным в изложении всей той лжи, заушательства, оскорблений и облыжных политических обвинений, которые обрушиваются на журнал и на меня уже столько времени и в таких формах перед лицом миллионов читателей — моих и журнала, редактируемого мной.

Кому это я пишу, у кого прошу защиты?»

Однако услужливая печать переусердствовала, и случилось неожиданное, и для «верхов» очень неприятное: только за август—сентябрь редакция жур-

нала получила около полутора тысяч писем в свою поддержку (порой это были копии возмущенных посланий в «Огонек» и другие улюлюкавшие «Новому миру» издания). «Читательские письма идут трубой», записывал поэт уже 13 августа, и тремя днями позже: «...Столько в них доброго сочувствия, понимания всего и, попросту, затраченных на это дело энергии и времени. — Всегда считаю, что за каждым письмом не менее сотни подписей тех, что могли бы и даже собирались (но не собрались, как это часто бывает за нами, профессиональными людьми) написать сами». «Да мы и сами, — вернется он к этому и месяц спустя, — полгода или год назад не представляли в такой очевидности этот мощный подпор за нами. Стоило, говорит Дементьев, за такую награду и претерпеть...»

В. А. Твардовская высказывала мнение, что «именно этот "мощный подпор" читателей временно приостановил травлю журнала... заставил власть изменить свой маневр».

Горячо поддерживали поэта и находившиеся одновременно с ним в Кунцеве режиссер Михаил Ромм, знаменитый «Чапай» — Борис Бабочкин, архитектор Б. Иофан, скульптор Л. Кербель (говоривший, что в нем под влиянием истории с журналом «нравственный перелом» произошел) и целая группа писателей, направлявших свои протесты (как и читательские письма, не публиковавшиеся) против атак на «Новый мир», — К. Симонов, К. Чуковский, М. Исаковский, С. С. Смирнов, Д. Гранин и др.

Даже Василий Белов, в известной мере разделявший взгляды «молодогвардейцев», высказал инициатору огоньковского выступления Петелину решительное неодобрение: «Я бы это письмо не

подписал... потому что, объективно, письмо против Твардовского... Я не берусь судить за всех, но, как мне кажется, Витя Астафьев и Саша Романов (вологодский поэт. — *А. Т-в*) тоже не поставили бы свои подписи против Твардовского, да еще теперь, когда его гонят из журнала».

Редакции «Нового мира» удалось, хотя и не без труда, опубликовать в седьмом номере, вышедшем лишь ближе к сентябрю, свой ответ, сдержанный по тону, но, в сущности, убийственный для «одиннадцати», бóльшая часть которых, как говорилось в нем, «в различное время подвергалась весьма серьезной критике на страницах “Нового мира” за идейно-художественную невзыскательность, слабое знание жизни, дурной вкус, несамостоятельность письма».

На совещаниях редакторов в ЦК стали говорить, что в этом противостоянии, дескать, виноваты обе стороны и даже что огоньковское «письмо» выдержано в хулиганском стиле.

Великой опорой и отрадой в это лето, да и в других тягостных обстоятельствах была для поэта всегдашняя любовь и наставница — большая литература.

Перечитывая в июне «Войну и мир», он испытывает такое чувство, «точно бы после долгих скитаний по чужим неприютным углам воротился в родной и священный дом правды, человечности, доброй мудрости — и прочь все пустое, суесловное, тупое и жестокосердное, что накатывается со всех сторон и порой головы не дает поднять».

«Ценнейшее» впечатление вновь оставляют герценовские «Былое и думы» со всей их, по выраже-

нию поэта, «свободой изустной речи или дружеского задушевного письма». Страницы рабочих тетрадей заполняются выписками из Томаса Манна, размышлениями над книгой Халдора Лакснесса «Самостоятельные люди», в которой Александр Трифонович нашел «много близкого» своей «главной книге» — давно лелеемому замыслу «Пана».

Он открывает для себя Блока-критика, а в особенности радуется «живительному свету» (от которого тоже «вся муть стала уходить»), исходящему от прочитанных в больнице писем Цветаевой («чистое золото в поэтическом и этическом, в неразрывности этих смыслов»). С интересом и сочувствием читает записи покойного Тарасенкова о разговорах с Пастернаком и письма Бориса Леонидовича, видя в нем «умного, честного и глубоко несчастного человека, по-своему, но в общем правильно понимавшего... время и трагическую роль искусства».

Передышка, как и думали в редакции, оказалась недолгой, и «окончательное угробление» журнала, как выразился Твардовский, оставалось у его противников «задачей номер один».

Иначе и не могло быть в тогдашней атмосфере, когда не только упорно циркулировали слухи о предстоящей в декабре 1969 года в связи с 90-летием Сталина его «реабилитации», но и был напечатан откровенно сталинистский роман Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?», не только оправдывавший террор тридцатых годов, но и, по словам Александра Трифоновича, выглядевший «отчетливым призывом к смелым и решительным действиям по выявлению и искоренению “отдельных”, то есть людей из интеллигенции, которые смеют чего-то там размышлять, мечтать о демократии и пр.».

Первый «звоночек» последовал уже в октябре все из того же «Огонька», организовавшего очередное возмущенное «письмо» — на этот раз против повести В. Быкова «Круглянский мост».

— Да, значит, угомону на них нет, — мрачно сказал Твардовский.

Накануне же октябрьской годовщины взялись за дело уже вполне по-кочетовски: исключили из Союза писателей Солженицына.

— Это катастрофа, — сразу сказал Дементьев, да и сам Александр Трифонович решил, что теперь «наш черед».

Тем более что исключенный снова преподнес «родителю» сюрприз, адресовав секретариату правления Союза писателей громовое письмо, означавшее совершенный разрыв со всеми «верхами», повинными в состоянии «тяжело больного общества».

Диагноз был верным и точным, но сам поступок — безоглядным, а уж для журнальной «колыбели» автора влекущим действительно самые катастрофические последствия. Расправа с «Новым миром» и так была уже не за горами (в эти же ноябрьские дни знакомая цензорша украдкой предупредила, что, похоже, принято решение об увольнении Лакшина, Кондратовича и Виноградова).

Солженицынское письмо могло только утвердить «верхи» в их намерениях.

— Мы его породили, а он нас убил, — горестно сказал Александр Трифонович. И неудивительно, что он снова «сорвался» на несколько дней.

По нему уже били прямой наводкой. «Мы, к сожалению, иногда являемся свидетелями девальвации мировоззрения у иных мастеров слова, которые в недалеком прошлом создавали талантливые реалистические произведения, достойные своего геро-

ического времени, своего народа-читателя», — говорил Сергей Михалков на декабрьском пленуме правления СП, и эта речь тут же была напечатана в «Московской правде».

Были опубликованы тезисы ЦК к столетию со дня рождения Ленина, где упоминалось, что «партия отвергает любые попытки направить критику культа личности и субъективизма против интересов народа и социализма, в целях очернения истории социалистического строительства, дискредитации революционных завоеваний, пересмотра принципов марксизма-ленинизма».

Услышав это, Александр Трифонович, по свидетельству Кондратовича, даже потемнел. «Любые попытки, — сказал, покачивая головой. — Так это значит — ничего нельзя».

Поэма «По праву памяти» вполне могла быть охарактеризована теперь как такая «попытка». А она и без того уже на долгие месяцы застряла в цензуре. Тем временем, по слухам, уже печаталась за границей.

Примечательная деталь: председательствовать на юбилейном вечере Исаковского в Концертном зале имени Чайковского его давнему ближнему другу даже не предложили. И в то время как собравшиеся в зале встретили Твардовского продолжительной овацией, сидевший в президиуме крупный цековский чин Беляев весь напрягся, даже подался вперед, словно готовясь кинуться к оратору, от которого мало ли чего можно ожидать.

А неделю спустя Беляев с Воронковым показывали Александру Трифоновичу зарубежные публикации его поэмы и настаивали, чтобы он дал «отпор». От обсуждения же ее всячески уклонялись, а «между делом» снова возобновляли разговор о необ-

ходимости «укрепить» редколлегию и в этой связи называли... того самого Большова, который выступал против плучековского спектакля и его литературной первоосновы.

Четвертого февраля 1970 года — в отсутствие Твардовского — состоялось заседание узкого состава секретариата правления Союза писателей, на котором Большов был назначен заместителем главного редактора журнала, а в редколлегию вместо Лакшина, Кондратовича и Виноградова вводились В. Косолапов (дотоле директор Гослитиздата; ему и предстояло сменить Твардовского), прозаики О. Смирнов (второй зам главного) и А. Рекемчук, а также литературовед А. Овчаренко.

Последний только что, в самом начале февраля, выступил на обсуждении журнальной прозы минувшего года с грубой демагогической речью о поэме «По праву памяти» и назвал ее «кулацкой».

Газетное сообщение о переменах в редакции составили так, что можно было подумать, будто поэт на заседании присутствовал и принимал участие в обсуждении.

Словом, было сделано все, чтобы, как давно мечталось «автоматчикам», «выманить медведя из берлоги», поставить поэта в глубоко оскорбительное и совершенно невыносимое положение. Его обращение в ЦК с протестом против решения секретариата осталось без ответа.

Двенадцатого февраля Твардовский подал заявление об уходе, немедленно удовлетворенное, но еще несколько дней приезжал в редакцию в тщетном ожидании встречи с Брежневым, которому написал о «фактическим разгроме» «Нового мира», предостерегая:

«Осуществленные ныне мероприятия по “укро-

щению" журнала не могут не иметь... самых отрицательных последствий, не только литературных, но и политических. В широких кругах наших читателей они неизбежно будут восприняты как рецидив сталинизма».

Однако «политический деятель ленинского типа», как угодливо именовали генсека, не соизволил ни принять «опального», ни ответить на его письмо.

Не возымели действия и многочисленные писательские обращения к «верхам».

«У нас нет поэта, равному ему по таланту и значению», — говорилось о Твардовском в письме, отправленном еще 9 февраля А. Беком, В. Кавериным, Б. Можаевым, А. Рыбаковым, Ю. Трифоновым, А. Вознесенским, Е. Евтушенко, М. Алигер, Е. Воробьевым, В. Тендряковым, Ю. Нагибиным и М. Исаковским.

«...Получив письмо, Брежнев поморщился, — вспоминал Анатолий Рыбаков. — "Что за коллективки такие? Пусть придут в ЦК, поговорим".

"Коллективками" назывались коллективные заявления, в армии они были запрещены, полагалось писать только индивидуальные рапорты...

Нам передали, что в понедельник писательскую делегацию (не более пяти человек) по поручению ЦК примет товарищ Подгорный. О часе приема будет сообщено в редакцию "Нового мира".

...Прождали до полуночи. Никто не позвонил» (*Рыбаков А.* Роман-воспоминание. М., 1997).

Восемнадцатого февраля, как стало известно, Брежнев дал согласие на вынужденную отставку Твардовского.

«В пятницу (20 февраля. — *А. Т-в*) простился с редакцией, обошел все этажи и комнаты...» — записано в рабочей тетради поэта. А Дементьев предло-

жил каждый год в этот день собираться — «пока будем живы».

За рубежом произошедшее с «Новым миром» вызвало, по словам Твардовского, «цунами». Писали, что его отставка «олицетворяет собой конец целой эры».

Нечего говорить, что в советской печати ничего подобного не было. Об уходе Твардовского, в сущности, не сообщалось. И отклики на это событие поневоле носили устный или «нелегальный» характер. Появился, например, листок «После умерщвления “Нового мира”. Вместо некролога». Автор, философ Г. Г. Водолазов, писал, что власти и не могли сказать о произошедшем правду, потому что это «значило бы обнаружить перед всем миром действительное бессилие противостоять могучему духовному влиянию журнала духовными же средствами...».

«Очевидно, ничего другого, как исключить Солженицына, снять Твардовского, им не оставалось, — занес в дневник и Борис Бабочкин. — Даже, я бы сказал, осуществилась их заветная мечта: теперь картина будет уж совсем гладкая».

А живший в Костроме критик Игорь Дедков, прочитав «меленько набранное и неприметно заверстанное» в «Литературной России» сообщение о смене редколлегии, записывал в дневнике: «Так узнают обычно о несчастиях. Сразу. То, что произошло и что еще произойдет (отставка Твардовского и др.) — собственно, это одновременное, как бы ни хотели отделить Твардовского от других, — это происшедшее еще трудно оценивается, но на душе скверно, как при встрече с неизбежным. Едет огромное колесо — верхнего края обода не видно — и давит».

«Вполне здоров», — записано в рабочей тетради поэта в день, когда исполнился «ровно месяц, как принято решение об удовлетворении просьбы т. Твардовского» (об отставке). В последних словах нетрудно услышать и гневный, горький сарказм, и скрытую боль. Недаром на той же странице сказано: «записывать нет сил».

Лишь через несколько дней Александр Трифонович вернется к разговору о «здоровье». «Нынешняя моя весна света, — пишет он в конце марта, вероятно, припомнив излюбленное пришвинское выражение, — как после многолетней болезни оклемаюсь (оклемываюсь? — *А. Т-в*), еще не веря, что “болезнь” позади. Именно, что болезнь — 12 лет (второй срок редакторства. — *А. Т-в*) без передышки (с “передышками” известного рода, без отпусков и сроков). Как бы болезнь непонимания, невнимания к тому, что нельзя (не поощряется, запрещено. — *А. Т-в*) (авось, можно). Выбиваясь из хомута, боком, боком по скользкой глине изволока, под кручу, с замираньем в груди (сорвусь!), с мукой и отвращеньем и только с неизменным сознанием, что бросить нельзя — совесть заест. И весь мир понял, что “Новый мир” тянул до последнего часа свой непомерной тяжести воз. Дотянуть заведомо нельзя было, но в том же и суть, что тянули, несмотря на эту заведомую невозможность дотянуть».

Замечательная по выразительности и страстности характеристика осиленного пути!

Еще когда после вторжения в Чехословакию над журналом стали сгущаться тучи, поэт невесело пошутил:

— Ну, если они снимут нас, то это уже бессмертие!

И в самом деле, разгром «Нового мира» — это одна из таких же трагических и памятных вех отечественной истории, как прекращение некрасовского «Современника» и щедринских «Отечественных записок».

«...Салтыкову это потеря личная, потеря родного детища», — писал один из друзей великого сатирика.

То же можно сказать о Твардовском.

Глава двенадцатая
«ВСЕ ТОНЬШЕ СЛОЙ ОСТАТНИХ ДНЕЙ...»

Что касается меня, то я покуда чувствую только повсеместную боль. Чувствую также, что я лишен возможности периодически беседовать с читателем, и эта боль всего сильнее...

Из писем Салтыкова-Щедрина после закрытия «Отечественных записок»

...И как он будет жить без своего редакционного дела?

Из переписки его друзей

Когда-то в самый разгар работы над «Тёркиным» поэт признавался жене, что его «охватывает порой такое тревожно-радостное чувство, такое ощущение честного счастья, как если бы... совершил подвиг».

В одном же из стихотворений поздних лет он высказался о сделанном в свойственном ему улыбчивом, чуть ли не тёркинском тоне:

На дне моей жизни,
на самом донышке
Захочется мне
посидеть на солнышке,
На теплом пенышке.

И чтобы листва
красовалась палая
В наклонных лучах
недалекого вечера.

И пусть оно так,
что морока немалая —
Твой век целиком,
да об этом уж нечего.

Я думу свою
без помехи подслушаю,
Черту подведу
стариковскою палочкой:
Нет, все-таки нет,
ничего, что по случаю
Я здесь побывал
и отметился галочкой.

(«На дне моей жизни...», 1967)

Экое ведь приискал скромнейшее, «несерьезное» словечко, целомудренно скрадывая неиссякаемое «ощущение честного счастья»!..

Лишь после разгрома журнала и своей собственной разлуки с ним, в разговоре с навестившими его, такими же осиротевшими сотрудниками Александр Трифонович не скрыл этого ощущения, сознания значительности совершенного:

«Нам всегда казалось, что кончится “Н<овый> м<ир>” и над мачтами сомкнутся волны. Но вот я читаю много писем, и не от писателей, а от читателей, пишут все — учителя, слесари, инженеры, студенты, — пишут о нашей беде, и пишут так, что я вижу: волны не сомкнулись, нет, не сомкнулись, — и мачта наша с нашим флагом еще трепещет над волнами. Наше дело живет»[1].

---

[1] «Мы торопимся, — писала, например, от группы читателей А. Шкодина 11 февраля 1970 года, — в те немногие дни, что все вы еще вместе — принести вам свою несказанную и невыразимую благодарность... Мы, ваши читатели, всегда с вами — знайте и помните это: мы вам всегда благодарны и гордимся вами. Спасибо вам за все то, что вы успели сделать. Спасибо вам за все то, что вы еще сделаете».

А двумя месяцами позже записывал: «Новая волна читательских (и отчасти писательских) писем в связи с получением на местах второго номера за подписью В. А. Косолапова. Волна не сказать чтобы высокая, но дает и мне представление о том, что “там, во глубине России”[1] уже довольно хорошо понимали значение “Нового мира”, и собственную популярность мне суждено было ощутить в наибольшей, может быть, мере в эти печальные, послеразгромные недели и месяцы».

Даже в вынужденно оставленной им «крепостце» хотя и убывающие — кто по болезни, кто по воле начальства — бойцы прежнего гарнизона некоторое непродолжительное время не только старались довести до печати принятые еще самим Александром Трифоновичем произведения, но ухитрялись «протаскивать» (по тогдашней терминологии) новые, но написанные в прежнем «новомирском» духе, что, как свидетельствовал близкий к журналу мемуарист, вызывало «очередные конвульсии... приступы раздражения у идеологического начальства».

Бывшим «новомирцам» приходилось нелегко. «...Все никак не могу приняться за дело. Не лежит душа ни к чему», — записывал Кондратович, «милостиво» назначенный членом редколлегии малоинтересного журнала «Советская литература на иностранных языках». А от Лакшина Александр Трифонович услышал «грустное до отчаяния признание... крик души для него необычный»: «Не мо-

---

[1] Строка из знаменитых некрасовских стихов:

В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России —
Там вековая тишина.

гу ничего работать. Руки не берут. Все обессмыслилось...» (Его «трудоустроили» в журнал «Иностранная литература».)

Да и сам поэт постоянно возвращался к горькой мысли: «М<ожет> б<ыть>, жизнь кончилась, осталось дожитие, хоть и не верю в это, верю в жизнь, чую за собой еще силы и возможности» (запись 22 февраля 1970 года); «Нечего скрывать от себя, что жизнь, пожалуй, кончена, остается дожитие, обращенное вспять, на “героический период” моей зрелости в “Новом мире”» (25 февраля).

Он задумывает книгу «16 лет в “Новом мире”» и перечитывает дневниковые записи этой поры. Да и не без какого-то ли расчета — быть может, в связи с давними, неотступными мыслями о «Пане» — на самой последней июньской странице рабочей тетради вновь переписаны (в первый раз это было сделано в марте 1969 года) стихи из тетради тридцатых годов:

Батя, батя, где ты, где ты
Нынче носишься по свету?
Под какой ночуешь кровлей,
Жив, здоров ли?

От годов, трудов и злости
Может только стал горбатей:
Или вовсе паришь кости
На неведомом погосте,
Батя, батя...

За трудами на дачном участке приходили строки:

Все тоньше слой остатних дней,
Но не поникну в горести...

Незадолго до близящегося шестидесятилетия, узнав о водворении видного генетика Жореса Медведева в Калужскую психиатрическую больницу

(частый тогда метод «полемики» с диссидентами!), Твардовский поехал туда поговорить с врачами, «посмотреть им в глаза» и высказал свое возмущение случившимся в телеграмме Косыгину. Благодаря и его, в числе других, протесту «больного» отпустили, зато юбиляру поступок стоил «умаления» в награде. Ходила легенда, будто он в результате лишился звания Героя Социалистического Труда и, узнав об этом, сказал: «А я не знал, что Героя дают за трусость!»

Начальственное неблаговоление отразилось и в печатных откликах на юбилей: в газете «Неделя» мою статью «Поэт народного подвига» сильно сократили и на «сэкономленное» место поставили заметку о гастролях третьестепенных французских артистов. В статье же Сергея Наровчатова «За далью — даль» в «Новом мире» (1970. № 6) не были упомянуты ни «Тёркин на том свете», ни «Дом у дороги».

В Смоленске, записывает поэт, «утесняют сестру на службе (это синхронно — как со мной что-нибудь — тотчас отзывается на моих)»; верного друга АлГрига, Дементьева, увольняют из Института мировой литературы, неприятности возникают даже у жен Кондратовича и Лакшина. Сам Александр Трифонович на писательском съезде оказывается в одиночестве, его «не узнаю́т» при встрече. Были и другие подобные последствия отставки.

На снимке еще недавних лет Твардовский, кажется, пышет здоровьем, особенно по сравнению со стоящим рядом худым и сгорбленным Ярославом Смеляковым. И кто бы мог подумать, что «доходяга» пусть ненадолго, но переживет «здоровяка»...

Между тем еще 23 мая 1970 года в рабочей тетради появились страшные своим спокойствием слова:

«Все глубже ухожу в тину-трясину безразличия ко всему, думы и предположения насчет конца концов».

Десять дней спустя записи вообще оборвутся. Навсегда.

В своих дневниках 1970 года Кондратович и Лакшин упоминали то о появившейся у Александра Трифоновича еще в марте усталости, слабости, то об одышке, жалобах на эмфизему и боли в ноге и руке. Летом он уже с трудом делал дарственные надписи на своем двухтомнике, отправляемом многим поздравившим его с юбилеем.

Двадцать второго сентября у него случился инсульт; отнялась правая половина тела, пострадала и речь. А 14 октября, уже в больнице, был обнаружен рак легких. По словам мемуаристов, медики полагали, что хотя опухоль появилась (и не была замечена врачами) еще года два назад, но события последних месяцев сыграли роковую роль.

Заговорили о близком конце.

«Вверху» всполошились.

«На Старой площади (в ЦК. — *А. Т-в*) недовольны болезнью Твардовского», — записал слова Косолапова Лакшин и позже продолжал: «Каждый день начальник Кремлевки (так называемой Кремлевской больницы на Воздвиженке, тогда проспекте Калинина. — *А. Т-в*) звонит Демич<еву> и докладывает о состоянии Трифоныча... М<арии> Ил<ларионов>не звонил референт Брежнева и сказал, что отдано распоряжение сделать все возможное — предоставить любых врачей и лекарства...»

Простодушная цензорша прояснила причину этой озабоченности: «Только бы Твардовский не умер в нынешнем году — это была бы крупная не-

приятность» (слишком очевидна была бы связь с разгромом «Нового мира»).

Но богатырское здоровье позволило поэту еще больше года сопротивляться страшной болезни.

В феврале 1971-го Александра Трифоновича перевезли домой (хотя потом из-за ухудшения снова временно брали в больницу).

«Глаза синие, умные, — записывал часто навещавший его Лакшин, — и несчастные, когда “слово мечется”, как он выразился, а его не схватишь. ...Я упомянул в связи с чем-то “Новый мир”. Он сказал: “...Это боль, это боль”».

«Правая рука — крупная, тяжелая, неподвижно лежала на колене, — вспоминал Кондратович. — “Скрюченные персты” — сразу же вспомнились его же слова об отцовской руке, руке кузнеца. Скрюченные персты уже не разгибались много недель. Он подал здоровую, левую, в ней была жизнь, в пожатии я почувствовал силу, которую еще надо было немного сдерживать, и меня это очень обрадовало. Потом я увидел, как он этой левой довольно легко достал из кармана пижамы сигарету и, зажав в коленях коробок спичек, сам прикурил, и во мне вспыхнула надежда: а вдруг, случаются же на свете чудеса!

И еще день был такой ослепительно мартовский. Я шел сюда от Калужского шоссе кратчайшим путем, лесом. Чистый звенящий наст слепил глаза, и надо было идти, глядя вниз, под ноги, а на веки ложилось блаженное тепло. Такой же теплый свет лился теперь в комнату, и он, улыбаясь, спросил: “Новости... Есть?”

Спросил, как прежде, только слова теперь существовали отдельно, не связываясь в одну слитную фразу. И я сказал, что кое-какие новости есть, и рассказал ему о них, и он слушал с вниманием, весь по-

давшись вперед, а за окном виднелся кусочек дачного участка с березами и елками, просвеченными мартовской синевой, маленький кусочек Смоленщины, или Подмосковья, или самой России — все, что осталось ему видеть каждый день. Но казалось, что он и этим доволен, он улыбался, слушая новости и вглядываясь своими синими-синими глазами за окно. И подумалось мне, что чудо и впрямь может случиться.

И тогда Александр Григорьевич Дементьев, который тоже пришел проведать Александра Трифоновича, сказал: "Давай-ка, Саша, пройдемся, ты же любишь ходить". С помощью Дементьева он с удовольствием и без особого напряжения поднялся и, уверенно ступая левой ногой и приволакивая правую — еще месяц назад она была совсем неподвижна, — прошел всю длину комнаты и обратно. "Смотри, смотри, Саша, сейчас гораздо лучше, чем в последний раз", — удивлялся Дементьев, и в голосе его тоже слышалась надежда.

"Какой прекрасный день! — сказал я. — По всему видно — началась весна".

Сказать мне хотелось не то, мучительно хотелось сказать, что, может, все обернется по-другому, и болезнь пойдет вспять...

Почувствовав мое настроение, Александр Григорьевич нашел осторожные слова моей и своей, нашей общей надежде: "Да, Саша, хорошо на улице. Скоро все растает, не заметишь, как май пройдет, и ты выйдешь под те вот березки..."

И слушая его и продолжая улыбаться, Александр Трифонович в ответ медленно повел головой. Ни один мускул не дрогнул на его лице, но смотрел он не за окно, а на нас, и медленно повернул голову в одну сторону, затем — в другую. "Нет, — безмолвно ответил он, — по траве я уже больше не пройдусь..."

Он все знал и ни на что не надеялся. И был спокоен. Только улыбка медленно стала сходить с лица. И, по-моему, он нас в это время не видел.

Я давно и отлично знал, что у Твардовского сильный характер — это знали многие. Но я не мог даже предположить все величие этого характера перед лицом самой смерти».

Он слабел и худел, но иной раз по-прежнему остро реагировал, если разговор касался того, что волновало.

Когда, еще в конце 1970 года, Солженицыну присудили Нобелевскую премию, Александр Трифонович сказал жене: «А ведь и нас вспомнят, как мы за него стояли», — и с улыбкой: — «И мы — богатыри». Выслушав же прочитанную ему ругательную статью в «Известиях» о новом лауреате проронил: «А я вот в нетях» (не в силах протестовать, что ли?).

«Ожил, повеселел, когда я стал вспоминать Маршака, — записывал Лакшин 15 июля 1971 года, — даже пытался, как прежде, передразнить его.

Как-то невольно повернулся разговор на "Новый мир", я сказал о письмах, какие все еще идут, и что дело-то не погибло. "Не погибло, не погибло!" — вдруг вскричал он с каким-то ожесточением и азартом. "Не погибло!" — и рукой замахал».

А вот каким запечатлелся Александр Трифонович в памяти поэта Константина Ваншенкина:

Он, словно между дел
И словно их немало,
Средь комнаты сидел,
Задумавшись устало.

Ушла за дальний круг
Медлительная властность,
И проступила вдруг
Беспомощная ясность

Незамутненных глаз.
А в них была забота,
Как будто вот сейчас
Ему мешало что-то.

Он подождал, потом
(Верней, слова, ложитесь!)
Негромко и с трудом
Промолвил: — Покажитесь...

Я передвинул стул,
Чтоб быть не против света,
И он чуть-чуть кивнул,
Благодаря за это.

И, голову склоня,
Взглянул бочком, как птица,
Причислив и меня
К тем, с кем хотел проститься.

А «наверху» одни все еще не могли уняться и бдительно следили, как бы не пропустить «лишнее» упоминание о поэте или колючую строчку из его стихов, другие же, похоже, несколько стеснялись всего содеянного и делали примирительные жесты: выдвинули на Государственную премию чуть ли не четырехлетней давности сборник «Из лирики этих лет» (1967).

Мария Илларионовна возмущалась этим запоздалым «ласкательством». Сам же лауреат был доволен, пока не увидел себя в списке награжденных рядом с затеявшим гроссмановскую «историю» Вадимом Кожевниковым. Отчаянно замахал руками: «Ну-ну-ну!» (что было у него знаком крайнего недовольства).

Как раз в эти дни мы приехали в Пахру вместе с вдовой Тарасенкова, Марией Иосифовной Белкиной, которую Александр Трифонович знал и любил с молодых лет.

Страшно исхудалый, он сидел в комнате с большим окном, откуда глядела поздняя осень.

— Рад... рад... — Он почти не мог говорить, но когда еще подошли дачный сосед Григорий Бакланов и АлГриг и разговор зашел о чем-то, всех тогда волновавшем, вдруг со страстью и болью воскликнул: «Да! Да!! Да!!!»

И было в этом что-то, напоминавшее эпизод из «Тёркина», когда смертельно раненный в разгаре боя командир крикнул замешкавшимся было бойцам:

— Вперед, ребята!
Я не ранен. Я — убит...

Полтора месяца спустя, 18 декабря 1971 года, Твардовского не стало.

Он умер во сне, глухой ночью. Незадолго до того стал зябнуть, его укрыли. И, быть может, в гаснущем сознании прошло что-то близкое мыслям любимого героя, совестившегося спать в тепле, когда «в поле вьюга-завируха, в трех верстах гудит война»:

Ах, как холодно в дороге
У объезда где-нибудь,

Как прохватывает ветер,
Как луна теплом бедна.
Ах, как трудно все на свете:
Служба, жизнь, зима, война.

Кончина поэта стала для начальства серьезной «неприятностью»: как бы чего не вышло! Запричитал же вдруг старый писатель Леонид Борисов над гробом Зощенко: «Миша, дорогой, прости нас, дураков, мы тебя не защитили, отдали тебя убийцам...» С той поры усопшие попадали под бдительную «опеку». «Только умер, а те, кого он ненавидел,

уже тащат его к себе, — негодовал Твардовский, слушая рассказ Бека о проводах Паустовского. — Уже Михаил Алексеев (один из пресловутых «одиннадцати». — *А. Т-ов*) выступает над гробом. Умрешь — и с тобой сделают то же» (из дневника А. Бека).

«Настоящая стратегическая операция готовится, как перед сражением», — записал в дневнике Лакшин в день похорон, 21 декабря 1971 года, увидев у Центрального дома литераторов, где проходили прощание и панихида, «разводы милиции, цепи военных». Но операция началась много раньше — с работы над официальным извещением о смерти (здесь, как иронически писал один из «новомирцев» Л. Левицкий, «был установлен ранг покойного» — «выдающийся поэт») и некрологом (где в числе его произведений не были упомянуты ни «Тёркин на том свете», ни даже «Дом у дороги»), а также с цензурования (трудно тут иное слово употребить!) списка ораторов на панихиде и на кладбище.

«Как клеймятся порядки старой России. Какие слова выискиваются, когда обличаются произвол и безобразия царского самодержавия, — писал в дневнике Левицкий. — Но можно ли себе представить, чтобы в самые мрачные годы досоветской России ближайшие друзья умершего писателя были бы лишены возможности высказаться о нем на панихиде?»[1]

«Если завтра будет какая накладка — головы полетят», — передавалась чья-то то ли угрожающая, то ли пугливая фраза. В Союз писателей приезжал

---

[1] *Левицкий Л.* Утешение цирюльника. Дневник: 1963—1977. СПб., 2005. С. 234.

«сам» Шауро, уговаривал Марию Илларионовну «доверять комиссии по похоронам» («У нас все продумано»), величал Твардовского «подвижником» и вынужден был выслушать от вдовы несколько резких слов: «Но ведь это вы его сняли...»

Незадолго до начала панихиды поток шедших проститься с поэтом неожиданно поредел. Потом выяснилось, что «вежливый кордон» пускать перестал: панихида, мол, уже началась.

«В час дня, после того как в почетном карауле отметились лучшие друзья покойного — Софронов, травивший Твардовского в "Огоньке", и Овчаренко, клеймивший А. Т. как носителя враждебной идеологии, на сцену выползло союзное начальство и расположилось вокруг гроба», — свидетельствует Левицкий[1].

Били все, кому не жалко,
Уложили наповал.
Вот стоят у катафалка
Те, кто бил и мордовал.
Знаем, знаем их замашки —
Супермены, туз к тузу.
У них речи на бумажке
И слезиночка в глазу.

Стихи эти, написанные поэтом Дмитрием Сухаревым по другому поводу (не одного Твардовского тогда затравили), и в данном случае к месту!

Речи произносили Алексей Сурков («к ужасу семьи», отмечает Лакшин: слишком памятна была роль оратора в событиях 1954 года), Григол Абашидзе (от имени многонациональной литературы), генерал Востоков («сплошные штампы», по отзывам

---

[1] *Левицкий Л.* Утешение цирюльника. Дневник: 1963—1977. СПб., 2005. С. 234.

провожавших), Сергей Наровчатов, Константин Симонов, единственный упомянувший о «Новом мире», произнесший слова: «великий поэт», а на кладбище Михаил Дудин и Михаил Луконин, — почти все — далекие от покойного люди, как и те, кто «обновлял» редколлегию «Нового мира»!

Свою долю в напряженную атмосферу похорон внес Солженицын. Родные поэта предлагали ему проститься с Александром Трифоновичем накануне, в морге, где собрались близкие покойного. Однако Александр Исаевич сослался на занятость, явно желая, чтобы его прощание с поэтом имело *публичный* характер и получило огласку.

Несмотря на все принятые меры, чтобы не пропустить Солженицына на панихиду, он все же проник в Центральный дом литераторов, и это «эффектное» появление произвело сенсацию среди зарубежных корреспондентов, для которых «героем дня» стал он. Продолжал Александр Исаевич привлекать к себе внимание и на Новодевичьем кладбище, где картинно осенил гроб крестом.

Когда панихида закончилась и люди стали покидать зал, произошел примечательный эпизод, засвидетельствованный и Лакшиным, и Левицким:

«Какая-то женщина закричала в толпе: "И это все? А почему никто не сказал о том, что последняя поэма Твардовского не была напечатана? Почему не сказали о том, почему, за что сняли его из редакторов "Нового мира"?» (Лакшин)[1];

«...Какая-то женщина в очках негромким голосом сказала, что никто не упомянул главного. Никто не сказал о совести Твардовского, о том, что его

---

[1] *Лакшин В.* После журнала // Дружба народов. 2004. № 11. С. 154.

последняя поэма была запрещена и что рот ему заткнули раньше, чем закрылись его глаза» (Левицкий)[1].

При небольших расхождениях эти, дополняющие одна другую, записи сохранили прозвучавший после «казенных», по отзыву Давида Самойлова, речей искренний и взволнованный голос, который подал тот, к кому поэт всю жизнь обращался и чьим мнением дорожил:

Читатель!
Друг из самих лучших,
Из всех попутчиков попутчик,
Из всех своих особо свой...

(«За далью — даль»)

Много лет назад Вениамин Каверин, припомнив известное изречение: юбилей — это день заслуженных преувеличений, посетовал на то, что наша литература знала слишком много незаслуженных преуменьшений.

Увы, не избежал этого и герой нашей книги. И не только при жизни, но и за те почти сорок лет, которые прошли после его кончины.

Сначала по-прежнему годами держали под цензурным спудом и «Тёркина на том свете», и — в особенности — «По праву памяти», где, по докладу начальника Главлита, мало того что советское общество 1930—1940-х годов автор «оценивает... как искалеченное и развращенное... способное на любое предательство ради достижения “высшей цели” и бездумного возвеличивания вождя» и говорит о «реальной опасности возрождения нового культа личности», но и «открыто выступает против какого-

---

[1] *Левицкий Л.* Утешение цирюльника. С. 233.

либо контроля в области идеологии, который он называет “опекой” над мыслями».

Замалчивали деятельность поэта как главного редактора «Нового мира», — словно и не было этого! И если, например, выходила книга об Овечкине, там не найти было ни слова о том, кто же и где опубликовал восславляемые в ней «Районные будни».

А уж в какую тягость руководству и «помощникам партии» становился очередной юбилей покойного! Обделать бы все тихохонько да смирнехонько, как говаривал незабвенный щедринский лицемер Иудушка, без «эксцессов»... как на похоронах!

«Но не о нем хлопоты, — горько и гневно записывал в пору семидесятилетия со дня рождения «виновника торжества» известный белорусский писатель Алесь Адамович, — он великий поэт и таким пребудет над всеми оценками. О нас хлопоты и речь.

...Какие мы без Тв.? Да вот такие, какие есть... И при нем мы кое-что бы постеснялись гов<орить> так, как гов<орим> сегодня...

Когда возникнет в литературе еще фигура, перед которой стыдно будет (даже если он и не читает тебя) за полуправду и т. п.? Когда? Но и тогда Т. будет недоставать.

...Мы его забыли? Или — себя?»

Невозможно переоценить все сделанное в этой обстановке вдовой поэта. С именем Марии Илларионовны связаны самые заметные публикации его дотоле не печатавшихся стихов, сборники статей и писем Твардовского о литературе, а также ряд новых изданий его произведений.

Начатую ею в более поздние годы публикацию рабочих тетрадей поэта, содержащих драгоценные дневниковые записи, затем продолжили дочери —

доктор исторических наук Валентина Александровна и художница Ольга Александровна. Ими была составлена книга «Я в свою ходил атаку...», куда вошли дневники военных лет и тогдашняя переписка с женой, дающая представление о роли, которую сыграла Мария Илларионовна в его творчестве своими замечаниями и советами.

Все эти публикации имели огромное значение не только в пору застоя 1970-х и начала 1980-х годов, но и совсем в иную пору, когда крикливые «поминки по советской литературе», как называлась одна из нашумевших бойких статей на рубеже XX—XXI веков[1], не обошли стороной и Твардовского — и как поэта, и как редактора журнала, который, видите ли, был недостаточно смел и последователен в критике советского режима.

«Мне думается, — писал недавно, споря с подобными высказываниями, Даниил Гранин, — "Новый мир" поддерживал в течение многих лет очищающую работу мысли. Нужно было разгрести авгиевы конюшни зла, предрассудков, вывихов сознания... И многое тут было сделано "Новым миром"»[2].

Вспоминается сказанное некогда Герценом об отношении современного ему молодого поколения к «предшественникам, выбивавшимся из сил, усиливаясь стащить с мели глубоко врезавшуюся в песок барку нашу»: «Оно <поколение> их не знает, забыло, не любит, отрекается от них, как от людей

---

[1] *Ерофеев В.* Поминки по советской литературе // Литературная газета. 1990. 4 июля.

[2] «Вот Твардовский много нес людям, много внес в общественное сознание», — говорил в одном интервью известный экономист Г. Лисичкин (см.: Пресса в обществе. 1959—2000. Оценки журналистов и социологов. Документы. М., 2002. С. 82).

менее практических, дельных, менее знавших, куда идут; оно на них сердится и огулом отбрасывает их, как отсталых... Мне ужасно хотелось бы спасти молодое поколение от исторической неблагодарности и даже от исторической ошибки».

Верные и злободневные слова!

К счастью, наиболее вдумчивые и чуткие из нового литературного поколения прекрасно знают, с личностью какого масштаба имеют дело.

Твардовский «был частью советского литературного истеблишмента, — писал десять лет назад известный прозаик Олег Павлов, — но так и не стал своим среди тогдашнего литературного барства: повернул дело своей жизни, саму свою жизнь против его сладенькой лжи — сделался отщепенцем, неудачником, потерял и чин литературный, и привилегии, и журнал. Он встал на сторону униженных и оскорбленных своего времени, хоть мог бы пировать с победителями...»[1]

Что к этому добавишь?!

В последнем полученном мной от Александра Трифоновича письме (от 5 июля 1970 года) он шутливо благодарил за то, как говорится далее, что «Вы еще 10 лет назад бабахнули обо мне в “Известиях”», и заключал: «Буду рад, если и к 70-летию моему — буду ли я или не буду жив к той поре — Вам не придется пожалеть об этих и иных Ваших добрых словах о Вашем покорном слуге (какие были прекрасные обороты письменной речи в старину!) — А. Твардовском».

---

[1] *Павлов О.* Пир победителей // Литературная газета. 2000. 7—13 июня.

В той заметке к пятидесятилетию поэта, о которой он упомянул, Твардовский был назван одним из величайших русских поэтов.

И я поныне не жалею о сказанном.

В течение десятилетий что бы ты ни писал о Твардовском, всё вспоминались его строки:

Я не то еще сказал бы, —
Про себя поберегу.
Я не так еще сыграл бы, —
Жаль, что лучше не могу[1].

Да и теперь эта книга хотя и подводит некий итог авторских трудов, но, разумеется, никак не может считаться «истиной в последней инстанции».

Как писал покойный историк Михаил Гефтер, «впереди еще Твардовский, вновь понятый и заново открытый веком XXI-м».

Кто доскажет, кто дослышит —
Угадать вперед нельзя.
(«Василий Тёркин»)

Возможно, будущий исследователь оспорит иное (или даже многое) из здесь написанного.

Что ж, мне остается повторить мужественные и прекрасные слова современного поэта Дмитрия Сухарева:

Кто-то нас перебивает —
Поприветствуем его!

---

[1] Так и Маршак надписал Твардовскому свою книгу о нем в 1961 году.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. Т. ТВАРДОВСКОГО

1910, 21 июня — родился на «хуторе пустоши Столпово», близ деревни Загорье Смоленской губернии.

1920 — поступил в сельскую школу. «Он очень любил книги и удивлял нас знанием их» (из воспоминаний однокашницы поэта А. Н. Седаковой-Ерофеевой).

1924 — «Летом я начал посылать небольшие заметки в редакции смоленских газет» (из «Автобиографии»).

1925, 19 июля — в газете «Смоленская деревня» опубликовано стихотворение «Новая изба».

1926 — участвует в работе съезда селькоров.

1927 — первая поездка в Москву со стихами.

1928 — уход из родительской семьи и начало жизни в Смоленске.

1930—1931 — подвергается грубой демагогической критике, в особенности после «раскулачивания» и высылки семьи.

1931 — благодаря поддержке Э. Багрицкого в Москве выходит поэма «Путь к социализму».

1932 — поступает в Смоленский педагогический институт. В Смоленске выходит очерк «Дневник председателя колхоза».

1934 — участвует в работе Первого Всесоюзного съезда советских писателей (делегат с совещательным голосом) в Москве. Начинает работать над поэмой «Страна Муравия».

1935 — в Смоленске выходит «Сборник стихов (1930—1935)», высоко оцененный в рецензии В. Ф. Асмуса в «Известиях».

1936 — «Страна Муравия» публикуется в апрельском номере журнала «Красная новь», а позже выходит отдельным изданием. Поэт переезжает в Москву и поступает на четвертый курс Московского института истории, философии и литературы (МИФЛИ).

1938 — в Москве выходят книги «Дорога. Стихи. 1934—1935» и «Про деда Данилу».

1939 — выходит сборник «Сельская хроника. Стихи (1937—1938)». Поэт награжден орденом Ленина «за выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы». Оканчивает МИФЛИ.

1939—1940 — в качестве военного корреспондента участвует в походе Красной армии в Западную Белоруссию и Западную Украину и в войне с Финляндией.

1940 — начало работы над книгой о Василии Тёркине.

1941 — получает Сталинскую премию второй степени за поэму «Страна Муравия». Выходит сборник стихов «Загорье». С началом войны поэт отправляется работать во фронтовую газету «Красная Армия».

1942, сентябрь — публикуются первые главы «Василия Тёркина», сразу получившие широкую известность. Начинает работать над поэмой «Дом у дороги».

1945 — завершает «Василия Тёркина».

1946 — получает за поэму «Василий Тёркин» Сталинскую премию первой степени. В мае—июне публикует «Дом у дороги» в журнале «Знамя».

1947 — получает за эту поэму Сталинскую премию второй степени. Его книга «Родина и чужбина» подвергается несправедливым нападкам в прессе. Начало поездок в Сибирь, продолжавшихся в 1940—1950-е годы.

1949 — выходит «Книга лирики. 1934—1949».

1950 — назначается главным редактором журнала «Новый мир». Начинает работать над книгой «За далью — даль».

1951 — публикует статью «Как был написан “Василий Тёркин”».

1952 — выходит сборник «Послевоенные стихи. 1945—1952». В «Новом мире» (№ 9) напечатан очерк Валентина Овечкина «Районные будни», получивший широкий отклик.

1953 — публикуются первые главы книги «За далью — даль». «Новый мир» начинает печатать остро критические статьи о современной литературе, вызывающие негодование официозной критики.

1954 — Твардовский написал и хотел опубликовать сатирическую поэму «Тёркин на том свете» (была набрана для пятого номера «Нового мира»). Поэма была запрещена, а он снят с поста главного редактора.

1956 — в сборнике «Литературная Москва» опубликованы новые главы книги «За далью — даль», в том числе — «Друг детства».

1957 — в длительной беседе с Н. С. Хрущевым поэт критически высказывается о положении в литературе.

1958, июль — вновь назначен главным редактором «Нового мира» (однако цензура и идеологические отделы ЦК КПСС постоянно вмешиваются в дела журнала).

1960 — напечатаны заключительные главы книги «За далью — даль» благодаря поддержке Хрущева.

1961 — книга «За далью — даль» получает Ленинскую премию.

1962 — Твардовский добивается публикации в «Новом мире» (№ 11) повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», ставшей важной вехой в литературной и общественной жизни.

1963 — благодаря поддержке Хрущева опубликована поэма «Тёркин на том свете».

1965 — на основе поэмы московский Театр Сатиры ставит замечательный спектакль, который вскоре был снят с репертуара якобы по желанию... самих актеров.

1966 — Твардовский отказывается одобрить судебный приговор писателям А. Синявскому и Ю. Даниэлю, обвиненным в антисоветской деятельности.

1967 — выходит сборник стихов «Из лирики этих лет».

1968 — Твардовский отказывается подписать «коллективное» письмо, в котором писатели одобряют вторжение войск Варшавского договора в Чехословакию. Усиливаются нападки на «Новый мир». Цензура не пропускает поэму «По праву памяти» (будет опубликована только 17 лет спустя), которая без ведома автора печатается в зарубежной прессе (1969).

1970, февраль — после многомесячной критической кампании по поводу «Нового мира» в прессе руководство Союза писателей по прямой подсказке ЦК КПСС устраняет из редколлегии «Нового мира» ближайших сотрудников Твардовского и заменяет их чуждыми и враждебными ему людьми. Попытка обратиться к Л. И. Брежневу — безуспешна. Твардовский вынужден подать в отставку.

Июнь — вступается за генетика и диссидента Жореса Медведева, насильно помещенного в психиатрическую больницу.

22 сентября — Твардовского настигает инсульт, в октябре врачи диагностируют запущенный рак легких.

1971, 18 декабря — Александр Трифонович Твардовский умирает в подмосковном дачном поселке Пахра. Погребен на Новодевичьем кладбище в Москве.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Основные издания А. Т. Твардовского

Твардовский А. Т. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1976—1983.

Твардовский А. Т. Избранные сочинения. М., 1981.

Твардовский А. Т. Избранные произведения: В 3 т. М., 1990.

Твардовский А. Т. Василий Тёркин. Книга про бойца. М., 1976 (серия «Литературные памятники»).

Твардовский А. Т. Василий Тёркин. (Книга про бойца). Письма читателей «Василия Тёркина». Как был написан «Василий Тёркин» (Ответ читателям). М., 1976.

Твардовский А. Т. О литературе. М., 1973.

Твардовский А. Т. Проза. Статьи. Письма. М., 1974.

Твардовский А. Т. Письма о литературе. 1930—1970. М., 1985.

Твардовский А. Т. «Я в свою ходил атаку...». Дневники. Письма 1941—1945. М., 2005.

Твардовский А. Т. Рабочие тетради 50-х годов // Знамя. 1989. № 7—9.

Твардовский А. Т. Рабочие тетради 60-х годов // Знамя. 2000—2005.

Литература о жизни и творчестве А. Т. Твардовского

Акаткин В. Александр Твардовский. Страницы творчества. Работы разных лет. Воронеж, 2008.

Александров В. Три поэмы Твардовского. В его кн. «Люди и книги». М., 1956.

Аскольдова-Лунд М. Сюжет прорыва. Как начинался «Новый мир» Твардовского // Свободная мысль — XXI. 2002. № 1, 2.

Буртин Ю. «Вам, из другого поколенья...» // Октябрь. 1987. № 8.

Воспоминания об А. Твардовском. Сборник. М., 1978; 2-е изд. М., 1982.

Есипов В. Нелюбовный треугольник: Варлам Шаламов — Александр Твардовский — Александр Солженицын // *Есипов В.* Варлам Шаламов и его современники. Вологда, 2008.

Кондратович А. Александр Твардовский: Поэзия и личность. М., 1978.

Кондратович А. Новомирский дневник (1967—1970). М., 1991.

Лакшин В. «Новый мир» во времена Хрущева: Дневник и попутное (1953—64). М., 1991.

Лакшин В. Последний акт. Дневник 1969—1970 гг. // Дружба народов. 2003. № 4—6.

Лакшин В. После журнала. Дневник 1970 года // Дружба народов. 2004. № 9—11.

Левицкий Л. Утешение цирюльника. Дневник 1963—1977. СПб., 2005.

Македонов А. Творческий путь Твардовского: Дома и дороги. М., 1981.

Македонов А. В. Эпохи Твардовского. *Баевский В. С.* Смоленский Сократ. *Илькевич Н. Н.* «Дело» Македонова. Смоленск, 1996.

Маршак С. Ради жизни на Земле. М., 1961.

Турков А. Александр Твардовский. М., 1960; 2-е изд. М., 1971.

СОДЕРЖАНИЕ

Турков А. М.

Т 88 Александр Твардовский / Андрей Турков. — М.: Молодая гвардия, 2010. — 408[8] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 6)

ISBN 978-5-235-03330-6

Андрей Турков, известный критик, литературовед, представляет на суд читателей одно из первых в новейшее время жизнеописаний Александра Твардовского (1910—1971), свою версию его судьбы, вокруг которой не утихают споры. Как поэт, автор знаменитого «Василия Тёркина», самого духоподъемного произведения военных лет, Твардовский — всенародно любим. Как многолетний глава «Нового мира», при котором журнал взял курс на критику сталинского руководства страной, обнажение всей «правды, сущей, как бы ни была горька» о коллективизации, репрессиях и о самой войне, публиковавший «неуставные» произведения В. Некрасова, В. Гроссмана, А. Солженицына (не обойдена в книге и сложность взаимоотношений последнего с Твардовским), — он до сих пор находится в центре горячих дискуссий. В направлении журнала ряд критиков и партийных лидеров увидели «раздутое критиканство», умаление победы в войне и завоеваний социализма, расшатывание основ государства, а также «великое заблуждение поэта». А. М. Турков, отстаивая позицию Твардовского, показывает его страстным, честным, принципиальным литературно-общественным деятелем, думавшим о народных интересах. Книга полемична, как полемична до сих пор фигура ее героя, как полемична сама недавняя история нашей страны, эпическое осмысление которой впереди.

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8

Турков Андрей Михайлович
АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

Редактор **Л. С. Калюжная**
Художественный редактор **И. И. Суслов**
Технический редактор **М. П. Качурина**
Корректоры **Г. В. Платова, Т. В. Рахманина**

Лицензия ЛР № 040224 от 02.06.97 г.

Сдано в набор 18.12.2009. Подписано в печать 29.03.2010. Формат 70x100/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 16,9+0,65 вкл. Тираж 5000 экз. Заказ 93295

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127994, Москва, Сущевская ул., 21. Internet: http://gvardiya.ru. E-mail:dsel@gvardiya.ru

Типография АО «Молодая гвардия». Адрес типографии: 127994, Москва, Сущевская ул., 21

ISBN 978-5-235-03330-6


ISBN 978-5-235-03330-6
9 785235 033306 >

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ